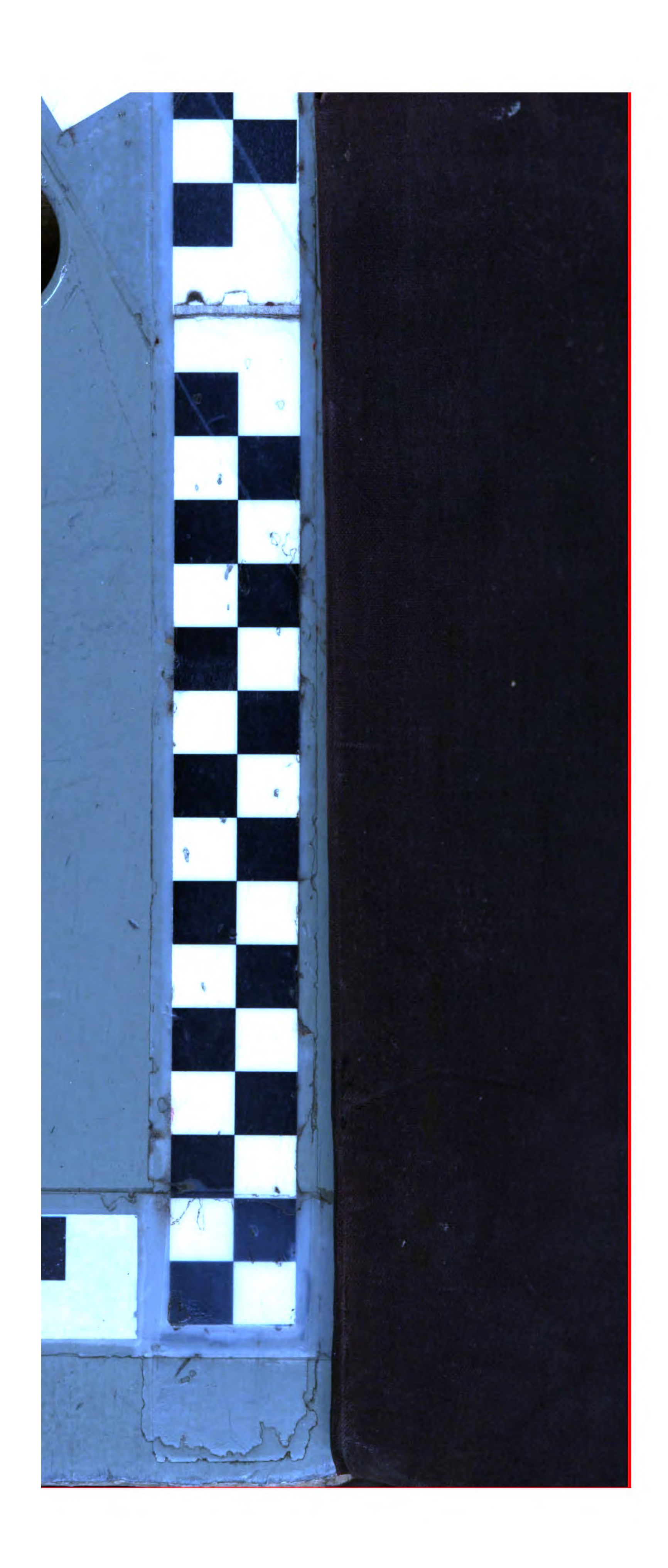
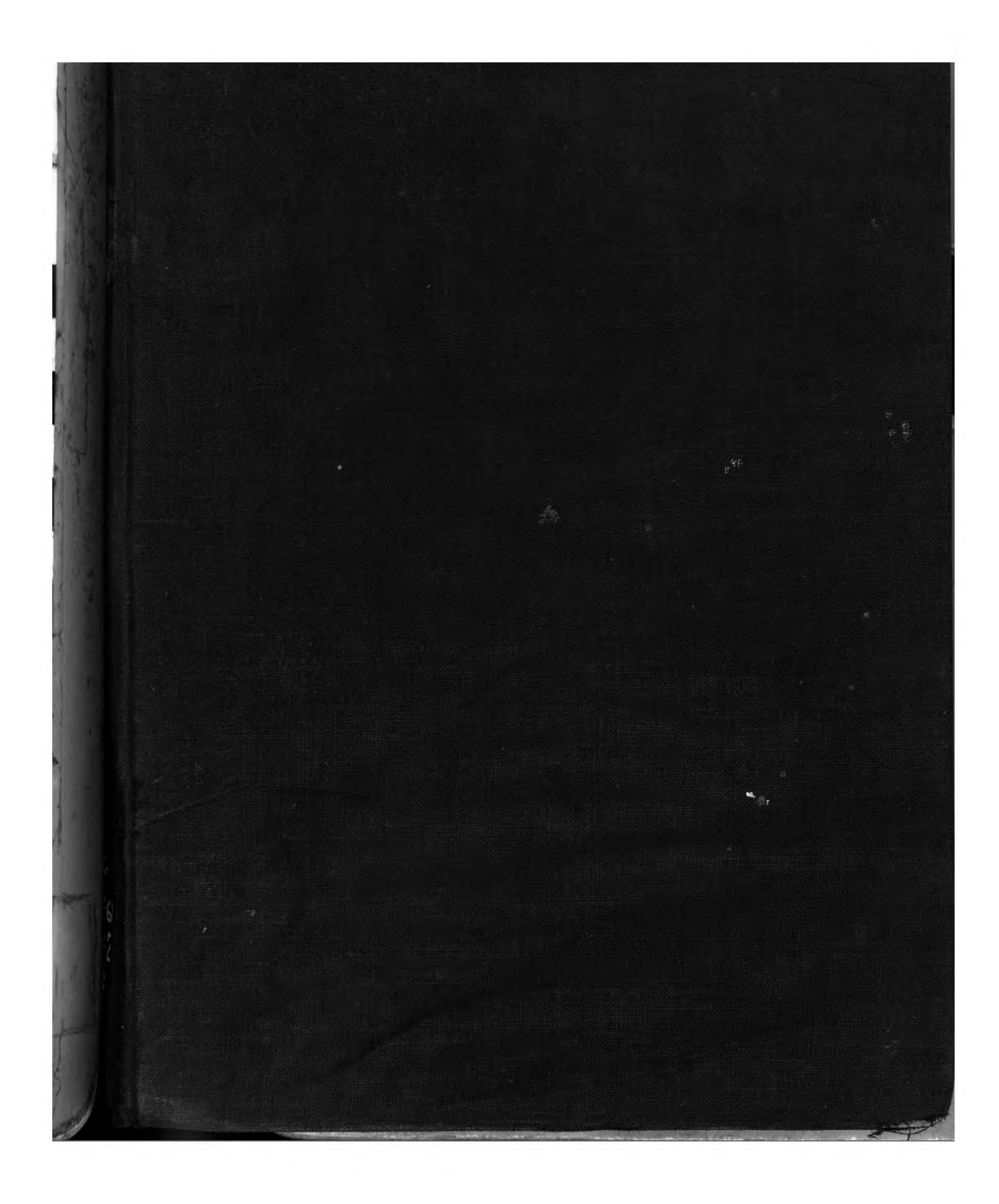
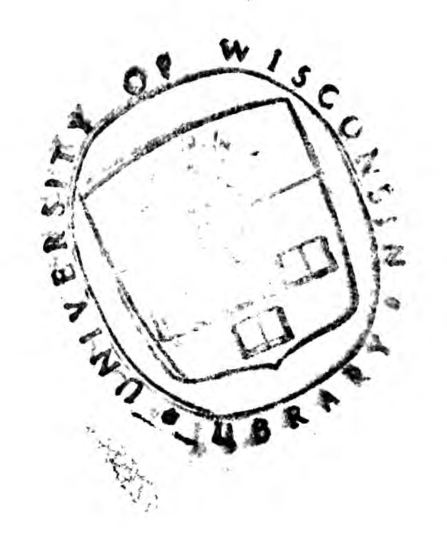


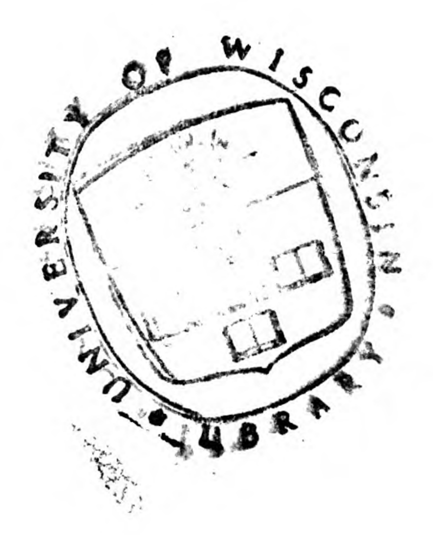





UNIVERSITY OF WISCONSIN LIBRARY


10


1712


UNIVERSITY OF WISCONSIN
LIBRARY




10

СОБРАНІЕ СОЧИНЕНІЙ

А. М. ѲЕДОРОВА.





ТОМЪ V.



# НАСЛѢДСТВО.

РОМАНЪ.




ИЗДАНІЕ
Н. Н. КЛОЧКОВА.
МОСКВА.
1912.

МОСКВА. Т-во „Печатня С. П. Яковлева“, Петровка, Салтыковскій пер., домъ № 9.

# НАСЛѢДСТВО.

## Романъ.

## ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.

### I.

Наконецъ-то стало разсвѣтать.

Минувшая ночь тянулась для Прасковьи Ильинишны безконечно долго. Недугъ и сосущая сердце тоска ни на минуту не давали ей сомкнуть глаза и забыться сномъ. Она лежала въ старинной кровати краснаго дерева, худая и длинная. Шелковое, стеганое одѣяло покрывало ее по самыя плечи и кое-гдѣ угловатыми складками обрисовывало слабые костлявые члены. Голова съ жидкими посѣдѣвшими волосами неподвижно покоилась на подушкѣ... На болѣзненномъ лицѣ выдавались прямой, совершенно правильный носъ и слегка заострившійся подбородокъ, да большіе каріе глаза подъ полукруглыми бровями. На помертвѣвшемъ отъ болѣзни и томленія лицѣ странно было видѣть эти все еще прекрасные, задумчивые глаза,—все, что осталось отъ красивой и величественной когда-то Прасковьи Ильинишны Похвистневой.

Больная всю ночь не отводила глазъ отъ тусклой полинявшей иконы Богоматери въ старинной серебряной ризѣ, передъ которой горѣла лампада, распро-

страняя по комнатѣ легкій запахъ деревяннаго масла. Порою лампадка потрескивала, точно сочувственно отвѣчая на вздохи больной. Тонкія губы больной шевелились и шептали молитву. Въ этой мертвой тишинѣ серьезно и внушительно маятникъ большихъ часовъ выстукивалъ свое: «тикъ-такъ, тикъ-такъ»... Къ этому выстукиванію прислушивались и больная, и ночь, и даже самая тишина, но время какъ-будто не двигалось, точно минуты не шли впередъ, а, какъ заколдованныя, выбивали свое «тикъ-такъ» на одномъ мѣстѣ.

Какая-то птичка за окномъ робко и отрывисто прочиликала первую утреннюю пѣсенку.

Когда же больная обратила глаза къ окну, уже совсѣмъ разсвѣло, и свѣтъ лампадки поблѣднѣлъ отъ утренней зари, пробивавшейся въ щели деревянныхъ тяжелыхъ ставней.

— Анфиса, — глухо простонала больная, не шевеля губами.

На этотъ стонъ изъ глубины комнаты выступила тщедушная дѣтская фигурка: дѣвочка лѣтъ восьми, съ некрасивымъ четырехъугольнымъ добрымъ лицомъ. Спросонья она проворно протерла маленькой рукой глаза и, босая, въ одной рубашонкѣ, появилась передъ кроватью больной.

— Я здѣсь, тетенька, — пропищала она, цѣлуя тонкіе пальцы больной.

Та положила дѣвочкѣ свою руку на голову и стала перебирать бѣлокурые спутанные во время сна волосы. Ни одинъ мускулъ не пошевелился на ея лицѣ, и, однако, чувствовалось, что лицо это ласково улыбается.

Чтобы облегчить больной движеніе руки, дѣвочка безотчетно поворачивала свою головку и то поднимала, то нагибала ее.

Въ неплотно притворенные ставни пробился яркій лучъ солнца и дрожащей бѣлой полосой протянулся

подъ косымъ угломъ, вплоть до кровати. Легкія пылинки задрожали и заиграли въ немъ.

— Отворить ставни, тетенька? — спросила Анфиса.

— Отвори.

Поднимаясь на цыпочки, дѣвочка вынула желѣзныя закрѣпки изъ болтовъ, накинула на себя мѣшковатое сѣренькое холстинковое платьице и проворно выбѣжала. Черезъ минуту снаружи звонко хлопнули тяжелые желѣзные болты, и волны яркаго весенняго свѣта хлынули въ комнату и сразу оживили ее. Они какъ-будто ободрили больную, по крайней мѣрѣ, при утреннемъ освѣщенiи она выглядѣла не такъ страшно, какъ ночью, при свѣтѣ лампады.

Глаза были обращены на дверь. Дѣвочка что-то позамѣшкалась.

Вмѣсто нея въ комнату осторожной лисьей походкой вошла довольно высокая, плотная и еще молодая, красивая женщина въ темно-синемъ шерстяномъ сарафанѣ. На головѣ ея была надѣта повязка изъ темно-синяго шелка, слегка залощенная и полинялая. Это была невѣстка Прасковьи Ильинишны—Глафира. Остановившись въ дверяхъ, Глафира слегка приподняла голову, точно нюхая воздухъ, и быстрымъ, холоднымъ взглядомъ окинула постель. Глаза ея встрѣтились съ открытыми глазами Прасковьи Ильинишны.

Лицо ея изъ враждебно любопытствующаго сразу сдѣлалось кроткимъ и смущеннымъ. Она поджала уголки своихъ полныхъ чувственныхъ губъ, и лицо ея приняло выраженiе угодливой покорности.

— Какъ изволили почивать, матушка Прасковья Ильинишна?—вкрадчиво обратилась къ ней Глафира.

— Не спала, — коротко отвѣтила больная, не глядя на Глафиру.

— Ахъ, ты, Господи-Спасъ!—сокрушенно закачала та головою.—А вѣдь лѣкарь-то какъ сонныя капли хвалилъ! Помогутъ, говоритъ, безпремѣнно помогутъ...

Больная ничего не отвѣтила. Она только искоса взглянула на Глафиру, и видъ ея розоваго, мягкаго лица съ слегка оплывшими отъ сна глазами вызвалъ въ ней непріязненное чувство.

Въ эту минуту въ комнату вбѣжала дѣвочка. Ея глазенки радостно блестѣли.

— Тетенька! Тетенька!—взволнованно и запыхавшись затараторила она.—А въ нашу скворешню скворцы прилетѣли. Ужъ такъ-то стрекочутъ, такъ-то стрекочутъ...

— Ахъ ты, баловница, — привѣтливо улыбаясь, закивала головой Глафира.—Сама-то ты чистый скворчикъ стрекочешь. Вотъ взять бы тебя, да въ скворешню-то и посадить вмѣсто ихъ.

— Вотъ ужъ нѣтъ, я и не похожа совсѣмъ на скворчика, — бойко отвѣтила дѣвочка. — Скворчики черные, а я бѣленькая.

— Она... касаточка...—съ слабой улыбкой вымолвила больная.

— Касаточка и есть! — подхватила Глафира и хотѣла притянуть къ себѣ дѣвочку, но та неловко уклонилась отъ этой ласки.

Несмотря на то, что Глафира, особенно въ присутствіи Прасковьи Ильинишны, была къ Анфисѣ всегда необыкновенно привѣтлива и дарила ей часто гостинцы, Анфиса какъ-то невольно сторонилась и даже боялась ее, и Глафирины гостинцы казались ей не сладки.

Какъ будто не замѣтивъ неохоты дѣвочки приближаться къ ней, Глафира все-таки обхватила ее одной рукою, а другой вынула изъ кармана гребешокъ и стала расчесывать дѣвочкѣ волосы, приговаривая:

— Ишь вѣдь, какіе волосики-то... бѣлые, да мягкіе... Словно ковыль, трава пушистая... Говорятъ, у кого мягкіе волосы, у того сердце доброе...

— Она у насъ добрая,— отозвалась больная.

— Добрая, добрая. Что и говорить!—поспѣшно со-

гласилась Глафира. — Онамеднись дѣвочкѣ Шабровой свою куклу отдала. Это дорогую-то!

Анфиса такъ вся и вспыхнула и виновато потупила глаза.

— Ну, это... лишнее, — замѣтила больная, — кукла денегъ стоитъ. Ее беречь надо было.

— То-то-жъ и я говорила ей, — прибавила Глафира. — Тетенькинъ, говорю, цѣнный подарокъ, ты бы дорожила имъ. А она...

— Я ей только поиграть ее дала!—готовая расплакаться, съ глазами, полными слезъ, едва выговорила дѣвочка.—А она не отдаетъ.

— Ничего, ничего,—поспѣшила утѣшить ее Прасковья Ильинишна.—Я тебѣ другую куплю.

— Мнѣ не надо. Я не люблю въ куклы играть.

— Во что же ты любишь? — шутливо спросила ее Глафира.

— Въ покойники, — все еще дрожащимъ голоскомъ отвѣчала дѣвочка.

Больная нахмурилась и какъ-будто еще больше поблѣднѣла. Въ глазахъ Глафиры мелькнулъ тревожный огонекъ.

— Кто-нибудь замѣсто покойника ложится, а его отпѣваютъ. А потомъ покойникъ воскреснетъ, а мы бѣжать. А онъ ловитъ. Стр-а-шно! — продолжала Анфиса, ежась.

— Ну, ладно, ладно. Послѣ разскажешь, — остановила ее Глафира.—Подойди-ка лучше къ Степанидѣ, да вели ей самоваръ скипятить. Не прикажете-ли вы еще чего-нибудь, матушка, Прасковья Ильинишна, сготовить вамъ? Яишенку, али-бо что еще?

— Нѣтъ, нѣтъ... ничего, — прошептала больная, слегка пошевеливъ правой рукой.

— А на завтракъ и обѣдъ, матушка, что прикажете? Изъ рыбнаго, изъ молочнаго, али изъ мясного?

— Нѣтъ, какъ можно изъ мясного! Что ты. Постъ великій въ исходѣ. Молоко-то и то грѣшно.

— Охъ, матушка Прасковья Ильинишна, Богъ проститъ вамъ. Вѣдь не по прихоти, а изъ-за недуга. За вашу ангельскую доброту все проститъ. Объ васъ мало-ли народа молится!—Сиротъ за собственныхъ дѣтей призрѣваете,—кивнула она головой въ ту сторону, куда скрылась Анфиса.—Бѣднымъ помогаете. Я хоть по старой вѣрѣ, а ежечасно о вашемъ здравіи Бога молю. Богъ-то одинъ.

Она подняла къ потолку глаза и заморгала рѣсницами. Глаза ея увлажнились.

Больная недовольно закачала головою. Она не любила, чтобы ей напоминали объ ея добрыхъ дѣлахъ. Глафира замѣтила это и сразу перешла въ другой озабоченный тонъ:

— Такъ что же прикажете, Прасковья Ильинишна, насчетъ завтрака и обѣда-то?

— Послѣ. Что хочешь,—поморщилась та.

— Вѣдь лѣкарь-то бульонъ изъ курицы приказывалъ.

— А Богъ съ нимъ, съ вашимъ лѣкарствомъ-то. Плохъ онъ, видно,—раздраженно отвѣтила Прасковья Ильинишна.—Съ тѣхъ поръ, какъ Акинфій Матвѣичъ умеръ... мужъ мой незабвенный.

Она хотѣла договорить и не могла, застонала и страдальчески откинула голову назадъ.

Глафира бросилась поддержать ей голову.

Та отдохнула и съ разстановкой продолжала:

— Съ тѣхъ поръ... Занедужилось... и все лѣчитъ... и все хуже... Почитай, годъ...

Глафира сокрушенно вздохнула.

— Въ Москву надо ѣхать лѣчиться. Тамъ вылѣчутъ,—неожиданно прошептала больная.—Тамъ у меня... есть... докторъ... Знакомый... Чать, живъ...

Глафира такъ вся и насторожилась.

— Онъ вылѣчитъ... Безпремѣнно. У меня вѣдь ни-

чего не болитъ, а сохну. Только вотъ подъ ложечкой... сосетъ все... сосетъ...

Она въ безсильи закрыла глаза, точно стараясь вникнуть въ сущность этого сосущаго безбольнаго недуга.

Глафира раскрыла было уже ротъ, чтобы сказать что-то, но въ комнату вошла баба съ подносомъ, на которомъ стоялъ чай, всякаго рода печенье и медъ. Глафира проворно отодвинула отъ кровати небольшой круглый столикъ со множествомъ пузырьковъ, коробочекъ и баночекъ и поставила вмѣсто него къ изголовью другой, на который и уставила подносъ.

— Выкушайте чайку-то, съ медкомъ,—заботливо обратилась Глафира къ Прасковьѣ Ильинишнѣ.

— Налей,—отвѣчала та.— А то все нутро высохло. Нѣтъ, прежде умыться дай.

Глафира принесла изъ угла фарфоровый тазъ и кувшинъ и, намочивъ полотенце, осторожно и ловко вытерла лицо и руки Прасковьи Ильинишны.

— Да позови Фису,—перекрестясь, сказала больная, откидываясь спиной на подушки.

Но дѣвочка пришла сама. Прасковья Ильинишна указала ей мѣсто возлѣ себя, на кровати. Глафира сѣла напротивъ, перекрестясь на образъ двуперстнымъ знаменіемъ. Анфиса тоже истово перекрестилась и взобралась на постель, сбросивъ предварительно башмачки.

— Не вкусно, — произнесла больная, сдѣлавъ нѣсколько глотковъ.

Глафира изъ приличія тоже перестала пить чай и поставила на столъ блюдечко. Только одна дѣвочка усердно отхлебывала глотокъ за глоткомъ.

— Да и душно здѣсь, — слабо продолжала больная. — Вишь, день какой солнечный, да теплый. Хорошо, чай, тамъ?—указала она глазами на окно.

— Да, по-вешнему, — отозвалась Глафира.

— Окно бы открыть,— продолжала больная,— да подышать свѣжимъ воздухомъ.

— Простудитесь, Прасковья Ильинишна.

— Нѣтъ, если закутаться, ничего.

— Боязно.

— Нѣтъ, открой,— настаивала больная.—Можетъ, я потому и ослабѣла-то такъ, что воздуха свѣжаго съ полгода не чувствовала. Открой. Тепло вѣдь.

— Лѣкарь пріѣдетъ, заругаетъ меня, — слабо возражала Глафира.

— Все-равно... Его прогнать надо. Я въ Москву поѣду.

Чтобы не показать Прасковьѣ Ильинишнѣ своего лица, Глафира наклонилась съ боку надъ ней, обернула ее одѣяломъ, а поверхъ еще закутала мягкой пуховой шалью. Потомъ подошла къ окну и, точно противъ воли, стала отворять его.

Въ комнату сразу ворвалась волна свѣжаго весенняго воздуха, еще влажнаго, но теплаго, полнаго землянымъ ароматомъ и звономъ птицъ.

Больная сразу точно испугалась этой свѣжести.

— Затвори. Затвори,— зашептала она.

Окно захлопнулось.

— Я говорила вамъ, Прасковья Ильинишна,— смиренно замѣтила Глафира.

Больная снова упала на подушки. Глафира бросилась къ ней и стала ее укладывать.

На минуту наступило молчаніе. Вдругъ больная спросила Глафиру:

— Что еще Мисаилъ не уѣхалъ на пріиски?

— Нѣтъ еще. Нынче собирался.

— И Кириллъ дома?

— И онъ дома. Тоже нонеча собираются.

— Позови-ка ихъ ко мнѣ. Посовѣтоваться надо.

Глафира не стала ни о чемъ разспрашивать и вышла той же тихой лисьей походкой. Но лишь только она очутилась за дверью, лицо ея сразу приняло настоящее свое выраженіе, и она быстро, размашисто, прошла че-

резъ посыпанный мелкимъ щебнемъ дворъ къ деревянному флигелю направо.

— Ну, что?— встрѣтилъ ее на крыльцѣ мужъ, Мисаилъ Матвѣичъ, лѣтъ сорока пяти, высокій коренастый, въ лаковыхъ сапогахъ, въ рубахѣ на выпускъ, поверхъ которой красовалась жилетка съ золотой цѣпью на лѣвомъ боку.

Въ волосахъ, остриженныхъ въ скобку, не было ни одной сѣдинки. Густая русая борода падала на грудь. Его, пожалуй, можно было бы назвать красивымъ, если бы не безпокойно бѣгающіе маленькіе глаза и тонкій хрящеватый носъ, придававшіе его лицу хищное и жестокое выраженіе.

— Васъ съ Кирилломъ зоветъ,—отозвалась Глафира.

— Зачѣмъ?

— Чего-то посовѣтоваться хочетъ.

— Да говори толкомъ, чего?—встревожился Мисаилъ.

— Ну, а я почемъ знаю,—огрызнулась Глафира.—Въ Москву, что-ли хочетъ ѣхать.

— Въ Москву-у?! Зачѣмъ?

— Лѣчиться, слышь,—фыркнула та.—Не налѣчилась еще здѣсь. Докторъ, слышь, у нея тамъ есть знакомый. Ей, видно, ужъ давно это въ голову-то втемяшилось. «Вылѣчусь, говоритъ тамъ».

— Ну, это шалишь,— круто повернувшись, отрѣзалъ Мисаилъ и прошелъ въ горницу къ брату Кириллу, чтобы, въ свою очередь, предпринять свой совѣтъ.

Меньше чѣмъ черезъ часъ въ ворота дома Похвистневыхъ въѣхала плетенка, въ которой сидѣлъ четвертый членъ этого совѣта—Кондратій Игнатьевичъ Минцевичъ, человѣкъ неопредѣленныхъ лѣтъ, облѣзлый, въ очкахъ, поверхъ которыхъ глядѣли глаза съ красными вѣками, въ енотовой шубѣ, несмотря на весеннее апрѣльское тепло.

— Васъ-то, панъ добродзію, и ждали!—грубовато, но озабоченно привѣтствовалъ его Мисаилъ, сжимая своею

сильною волосатою рукою веснущатую потную руку доктора и усаживая его со своимъ старшимъ братомъ Кирилломъ рядомъ.

Кириллъ заморгалъ маленькими глазками, почти лишенными вѣкъ, и завертѣлъ на животѣ, низко подпоясанномъ тесемочкой, одинъ палецъ вокругъ другого.

Въ противоположность Мисаилу Кириллъ былъ малъ ростомъ, плѣшивъ, имѣлъ бороду, похожую на растрепанную мочалку, но, несмотря на все это, лицо его было довольно добродушно и даже симпатично, когда, улыбаясь, онъ открывалъ ротъ и показывалъ два ряда ровныхъ, здоровыхъ зубовъ.

Онъ казался, по крайней мѣрѣ, лѣтъ на двадцать старше своего брата. Онъ только кивнулъ доктору, не подавая ему руки и все продолжая вертѣть пальцами. Несмотря на то, что двери были на глухо притворены, разговоръ велся шопотомъ. Говорили по преимуществу Мисаилъ и докторъ. Глафира изрѣдка вставляла въ разговоръ свои замѣчанія. Кириллъ же только моргалъ глазами и вскидывалъ ихъ поочередно на всѣхъ присутствующихъ.

— Доѣхать-то она до Москвы доѣдетъ,—не шепталъ, а какъ-то свистѣлъ сквозь гнилые зубы докторъ,— но тамъ ей не долго придется просуществовать... клянусь!

— Ну, а тамъ-то врачъ не узнаетъ, отъ какой болѣзни она умерла? Чѣмъ ее упоштовали?—сощуривъ острые глаза и вонзаясь ими въ Минцевича, задалъ вопросъ Мисаилъ.

— Ой-ой. Какъ можно! Клянусь нѣтъ. Я-жъ не дуракъ.

— Ну, а вдругъ? Умретъ, а тутъ подозрѣніе. Вспотрошатъ и найдутъ гостинецъ. Кто прописалъ? Докторъ Минцевичъ:—щерилъ уже съ насмѣшкой, сквозь которую, однако, пробивалось замѣтное безпокойство, твердые и слегка выпирающіе впередъ зубы Мисаилъ.

Минцевичъ захихикалъ.

— Ой же, клянусь! Какой вы шутникъ,—тряся головою, цѣдилъ онъ сквозь зубы.—Конечно, лучше бы не ѣхать, но и ѣхать недурно. Вы понимаете, дорога, вѣтеръ продуетъ.

Глафира захохотала.

Кириллъ строго и съ удивленіемъ посмотрѣлъ на нее мигающими глазами.

— А на всякій случай я могу дать вамъ не безполезныя инструкціи. Онѣ могутъ пригодиться. Клянусь. Прежде всего, захватите рецепты тѣ, по которымъ заказываются лѣкарства... показные...

— Ну, ладно, ладно. Это послѣ!—оборвалъ его инструкціи Мисаилъ и, разгладивъ рукою волосы, обратился къ брату, кивнувъ на дверь:—ну, что-жъ, айда.

Лѣниво опершись руками на столъ, тотъ привсталъ и заколыхался по направленію къ двери на толстыхъ, короткихъ ногахъ.

За нимъ послѣдовала Глафира, а затѣмъ вышелъ, но ужъ на этотъ разъ въ поддевкѣ, Мисаилъ.

— Ну, что-жъ прійдешь нынче ко мнѣ?—смѣясь глазами, обратился къ Глафирѣ Кириллъ.

— Прійду,—уронила та.

— Куда это?—раздался сзади вопросъ Мисаила.

— Въ моленную,—какъ ни въ чемъ не бывало отвѣтила Глафира, не оборачиваясь.

Мисаилъ испытующе посмотрѣлъ сначала на нее, а потомъ на брата и, поводя богатырскими плечами, зашагалъ впередъ.

На крыльцѣ имъ попался лѣтъ восемнадцати паренекъ съ бѣлокурыми волосами, кольцами выбивающимися изъ подъ засаленнаго картуза, съ ясными голубыми глазами и необыкновенно красивыми чертами лица. Это

былъ младшій пріисковый конторщикъ Петя, пріѣхавшій вмѣстѣ съ Кирилломъ. Онъ посторонился, чтобы дать дорогу хозяевамъ.

— Зачѣмъ?—подозрительно спросилъ его Мисаилъ.

— Хозяйку провѣдать,— мягко и пѣвуче отвѣтилъ тотъ, потупляя глаза.

Глафира отстала отъ мужа и деверя и, поровнявшись съ паренькомъ, шепнула ему, едва шевеля губами, не глядя на него:

— Жди подъ вечеръ у кирпичныхъ сараевъ.

Парень тоже не поднялъ глазъ и чинно пошелъ во дворъ. Тутъ онъ злобно стиснулъ зубы и искоса взглянулъ вслѣдъ ушедшимъ.

— У...—Постойте! Ужо!

Петръ вышелъ за ворота и побрелъ къ рѣкѣ, которая вотъ уже нѣсколько дней какъ тронулась и несла внизъ по теченію ноздреватыя, обглоданныя льдины, съ шумомъ разбивая ихъ порою одну о другую. Но Петръ не зналъ, какъ ему привести свою угрозу въ исполненіе. Сказать все хозяйкѣ Прасковьѣ Ильинишнѣ? Повѣритъ-ли она въ такую звѣрскую жестокость со стороны своихъ родныхъ, пожелавшихъ воспользоваться ея многомилліоннымъ имуществомъ? Ну, положимъ, повѣритъ. Такъ вѣдь тогда поднимется судъ, а развѣ ему, безпаспортному невѣдомому сиротѣ можно тягаться въ судѣ съ богачами Похвистневыми? Да имъ стоитъ дунуть, и его не будетъ. Стоитъ указать на него полиціи и заявить, что онъ на пріискахъ какой - то приблудный, какъ щенокъ, безъ роду безъ племени, съ однимъ только именемъ Петръ, да и то сомнительнымъ; стоитъ шепнуть объ этомъ, и его, какъ бродягу, упрячутъ въ тюрьму, а потомъ сошлютъ въ Сибирь...

Написать объ этомъ Прасковьѣ Ильинишнѣ письмо?.. Всѣ письма къ ней родные перехватываютъ. Узнаютъ его руку,— опять то же. Сказать кому-нибудь другому,—не повѣритъ, да пожалуй еще предастъ.

— Эхъ, горе, горе!—прошепталъ Петръ, медленно подвигаясь впередъ и кусая свою пухлую нижнюю губу, алую, какъ у дѣвушки.

Наряду съ этимъ его мучило и еще кое-что.

Прасковья Ильинишна наказала ему немедленно ѣхать за восемьдесятъ верстъ на заводъ и увѣдомить братьевъ Глафиры, Иннокентія и Павла Абросимовыхъ, чтобы они немедленно ѣхали къ Прасковьѣ Ильинишнѣ по дѣлу и проститься съ ней, такъ какъ она уѣзжаетъ завтра вечеромъ въ Москву, лѣчиться.

А тутъ Глафира просила вечеромъ ждать его у кирпичныхъ сараевъ.

Петру было уже не впервой встрѣчаться тамъ съ ней. При воспоминаніи о послѣднемъ свиданіи съ Глафирой кровь забродила въ сердцѣ, хлынула въ голову и залила краской все лицо.

Петръ даже остановился.

«Успѣю. Всю ночь проскачу верхомъ. На зарѣ буду. Успѣю».

Онъ сдѣлалъ нѣсколько шаговъ и тутъ снова остановился отъ пришедшей ему на умъ мысли: «Развѣ Абросимовымъ все открыть? Но вѣдь тутъ ихъ сестра замѣшана! Захотятъ ли они погубить ее! Наконецъ, самъ-то онъ захочетъ ли этого?»

Эта мысль и поразила, и испугала его. Онъ чувствовалъ, что ненавидитъ Глафиру и, вмѣстѣ съ тѣмъ, ощущалъ въ себѣ невольно пробужденную и раздразненную въ немъ ею же чувственную страсть.

## II.

Начинало вечерѣть, когда, накинувъ на голову теплый пуховый платокъ, Глафира собралась на условленное свиданіе.

— Куда? — спросилъ ее мужъ, встрѣтивъ у калитки.

— Къ Перепелихѣ. Больная она, такъ провѣдать передъ отъѣздомъ, — нашлась Глафира.

— Собраться надо.

— Не велики сборы-то. Завтра успѣю.

Мисаилъ ничего не отвѣтилъ.

Глафира предупредила плечами, точно поправляя на нихъ этимъ движеніемъ платокъ, и чуть не бѣгомъ выскочила за калитку. Тутъ она обернулась, желая знать, не слѣдятъ ли за ней, и услышала, какъ съ крыльца Мисаилъ отдавалъ караульщику приказаніе спустить на веревку собаку.

Глафира повернула направо и пошла пустынной и тихой улицей, потомъ около церкви снова повернула въ какой-то переулокъ, юркнула проходнымъ дворомъ и сразу очутилась на мосту, гдѣ пахло сыростью и навозомъ. Дальше шли уже совсѣмъ жалкія лачужки, а за ними — пустыри и, наконецъ, степь, холмистая и кое-гдѣ перерѣзанная неглубокими ложбинками. Тутъ было совсѣмъ ужъ тихо. Мирный и вялый шумъ глухого провинціальнаго городка совсѣмъ почти не былъ слышенъ, зато сверху, точно съ неба, уже затепливавшагося звѣздами, падали на землю звенящіе отрывистые звуки: это перекликались станицы журавлей вблизи знакомыхъ мѣстъ, готовясь опуститься на родимыя болота.

Неподалеку, въ сѣроватомъ сумракѣ темнѣли кирпичные сараи. Глафира взошла на холмъ и снова оглянулась. Зданія города смѣшались во мракѣ, и только двѣ-три колокольни церквей неуклюже тянулись кверху, просвѣчивая своими прорѣзами.

Навстрѣчу Глафирѣ выступила какая-то тѣнь. Глафира такъ и рванулась къ ней.

— Долго ждалъ? Милый ты мой! — зашептала она, прижимаясь къ Петру и цѣлуя его въ губы...

— Нѣтъ, не долго, — холодно отвѣтилъ онъ, хотя на самомъ дѣлѣ былъ уже здѣсь больше часа и любовался первыми загорающимися звѣздами, слушалъ переклич-

ку птицъ, и, вопреки тревожнымъ думамъ, отдавался смутному вечернему настроенію.

— Ну, не сердись, не сердись, — обнимая Петра и ластясь къ нему, зашептала Глафира. — Никакъ нельзя было раньше... Я и то не на долго. Сказалась Перепелиху навѣстить. Ой, устала. Почитай, бѣгомъ бѣжала къ тебѣ.

Глафира изогнулась, идя съ нимъ рядомъ и лицомъ къ лицу посмотрѣла ему прямо въ упоръ своими темными глазами. Она порывисто дышала, ротъ ея былъ полуоткрытъ, и жаркое дыханіе обдавало шею и лицо Петра.

— Красавецъ ты мой! Любый ты мой, — страстно срывалось съ ея губъ.

У Петра точно туманомъ заволокло глаза. Все, что онъ собирался ей холодно высказать за минуту передъ этимъ, уплыло куда-то. Губы его какъ-то сами прикоснулись къ ея губамъ, и оба они опустились на скамейку, стоявшую около одного изъ покинутыхъ шалашей.

— И ты ѣдешь? — слегка опомнясь, задалъ Петръ вопросъ Глафирѣ.

— И я. А ты почемъ знаешь, что мы ѣдемъ? — удивилась та.

— Прасковья Ильинишна говорила, — совралъ Петръ.

Глафира искоса на него взглянула испытующе.

— Ой-ли?

— Вотъ тебѣ и «ой-ли!» А то откуда же мнѣ вѣдать про то?

— А кто тебя знаетъ...

Петръ вспыхнулъ и отвернулся.

— И надолго ѣдешь? — вмѣсто отвѣта спросилъ онъ.

— Не знаю, — печально отвѣтила Глафира. — Какъ дѣло будетъ.

— Какое же это дѣло такое?

— А ужъ это дѣло не твоего ума. Ты еще въ такихъ

дѣлахъ не смысленышъ. Красная дѣвица. Младенецъ! — сощуривъ глаза, задумчиво говорила Глафира.

Петръ попробовалъ презрительно захохотать...

— Знаю, что думаешь, — улыбаясь, молвила Глафира. -- Думаешь, какъ же молъ ты младенца да несмысленыша-то полюбила? Оттого и полюбила такъ тебя, — съ какой-то широкой искренностью прибавила она, точно ей самой это только что открылось. — Оттого, видно, и полюбила такъ тебя, что у тебя душа-то, какъ у младенца, чистая, а у меня душа темная, грѣшная. И любовь-то у меня къ тебѣ потому такая, что-то мнѣ задушить тебя хочется, то на рукахъ потютюшкать, да пѣсенку тебѣ ласковую пропѣть, чтобы заснулъ ты на груди моей

— Не ѣзди, Глаша!

— Нельзя не ѣздить-то, красавецъ мой. Развѣ мнѣ тоже легко будетъ безъ тебя! Что травѣ безъ росы. Прасковья того хочетъ, а ужъ что ей въ голову втемяшилось, не выбьешь. А эта мысль, какъ я примѣтила, давно у ней была. А не ѣздить нельзя, потому отъ этого и мое, да и, пожалуй, твое счастье зависитъ.

— Мое?

— Да и твое. Только бы удалось все, какъ надо. Озолочу тогда тебя. Мужа для тебя брошу. Съ тобой убѣгу!

— Не надо мнѣ твоего золота, только не ѣзди. Золото-то съ грѣхомъ живетъ...

— Ну, какъ же тебя не назвать младенчикомъ. Безъ золотца-то развѣ жизнь для молодца? Да и для нашей сестрицы золото, что крылья для птицы. Куда съ нимъ хочу, туда и лечу.

— Ну, золото-то къ землѣ тянетъ. Не ѣзди.

— Э-эхъ, ничего-то ты, паренекъ, какъ я вижу, еще не понимаешь.

— А можетъ и все понимаю, — загадочно сорвалось у него съ языка.

Она обернулась къ нему всѣмъ лицомъ и сразу поблѣднѣла.

— Да, можетъ, и все понимаю, — еще настойчивѣе и даже съ нѣкоторой злобой произнесъ Петръ и, поднявъ голову, рѣшительно выдержалъ ея взглядъ.

Не отводя отъ его глазъ своихъ, полныхъ внутренняго испуга и изумленія, Глафира долго молчала, стараясь провѣрить свою мысль и, наконецъ, медленно и значительно произнесла:

— Не знаю, на что, парень, ты намекаешь, а только вотъ тебѣ мой совѣтъ: коль что знаешь, молчи; коль что видѣлъ, забудь; коль что слышалъ, заспи.

И, вдругъ, сразу перемѣнивъ тонъ, Глафира положила на плечи ему руки и, какъ ни въ чемъ не бывало, разсмѣялась и сказала:

— Охъ, ужъ и не хочется мнѣ разставаться съ тобой, голубь ты бѣлый. Такъ вотъ бы и унесла съ собой, да нельзя: ястреба заклюютъ...

Она слегка приподняла своей бѣлой рукой его нѣжный подбородокъ и прямо поцѣловала въ ямочку.

Петръ потянулъ было ее къ себѣ, но Глафира рѣшительно поднялась съ мѣста и удержала его руки въ своихъ.

— Нѣтъ, спѣшить надо: ждутъ...

— Такъ вѣдь мы теперь, значитъ, Богъ знаетъ, когда увидимся.

— Нонеча же увидимся. Я у Прасковьи Ильинишны въ хоромѣ ночевать нонѣ буду. Рядомъ съ ея горницей-то. Второе окно изъ сада. Чуешь?

— Нельзя мнѣ остаться, — вспомнилъ Петръ...

— Аль боишься?

— Чего мнѣ бояться? Не боюсь, а ѣхать надо.

— Куда это?

— На заводъ къ братьямъ твоимъ.

— Зачѣмъ? — насторожилась Глафира.

— Прасковья Ильинишна посылаетъ... Чтобы безпремѣнно оба пріѣхали къ обѣду завтра...

— А-а-а. Вотъ оно что, — точно про себя протянула Глафира и, оборотясь къ Петру, сказала рѣшительнымъ тономъ:

— Не зачѣмъ тебѣ туда ѣздить.

— Какъ же мнѣ не ѣздить, коли Прасковья Ильинишна велѣла?

— А такъ вотъ и не ѣздить. Не выпущу я тебя до зари нонѣ. Мой ты и меня долженъ слушаться. Для счастья твоего все это, птенчикъ ты мой!

Она перебирала его волосы правой рукой, а лѣвою прижала его къ себѣ. Вдругъ онъ вздрогнулъ всѣмъ тѣломъ и, уткнувшись ей въ колѣни, зарыдалъ.

Глафира опять быстро сѣла рядомъ съ нимъ и, стараясь поднять его голову, торопливо и безпомощно заговорила:

— Петя, дѣтко мое, что съ тобою? Что съ тобою? Господи!..

Она, наконецъ, подняла его голову и по этимъ полнымъ слезъ, все еще чистымъ голубымъ глазамъ, казалось, поняла что-то важное и страшное, что заставило ее невольно содрогнуться.

— Прости ты меня! Прости! Любовь моя! Красавецъ мой! Жизнь моя! — безсвязно шептала она, покрывая поцѣлуями все его заплаканное лицо и осушая мокрые отъ слезъ глаза.

Схватила его руку, и не успѣлъ Петръ опомниться, какъ она поднесла эту руку къ своимъ губамъ, упала передъ нимъ на колѣни и поклонилась.

Потомъ также быстро схватилась съ мѣста и почти побѣжала бѣгомъ домой.

Онъ рванулся за ней.

— Нѣтъ, нѣтъ, не надо, — обернулась къ нему Глафира съ испуганнымъ и растеряннымъ лицомъ. — Я од-

на. А только...— сдѣлавъ къ нему два шага, умоляюще добавила она, — а только ты все же нынче приходи, Я все тебѣ открою сама. Исповѣдаюсь. Приходи. Придешь? Какъ лампу увидишь на окнѣ, такъ и иди.

— Приду! — глухо отвѣтилъ Петръ, останавливаясь какъ вкопаный.

Глафира двинулась впередъ. Ея высокая, стройная фигура, казалось, не шла, а плавно скользила по мягкой еще сырой отъ недавно стаявшаго снѣга землѣ, скользила и вела за собою сѣдые покровы ночного мрака, то какъ бы окутываясь ими въ глазахъ Петра, то какъ бы стряхая ихъ и явственно выступая въ темнотѣ. Вотъ она какъ бы стала уходить въ землю: вѣрно, спускалась въ балку. Вотъ снова смутно появилась черезъ минуту на холмѣ и исчезла.

Петръ долго стоялъ неподвижно на одномъ мѣстѣ, все глядя по тому направленію, гдѣ пропала фигура Глафиры. Онъ былъ въ чаду и не могъ разобраться окончательно въ своихъ мысляхъ и чувствахъ. Особенно путала въ немъ все Глафира. Ея неожиданная вспышка, ея слезы и земной поклонъ совершенно сбивали его съ толку. «Притворяется, вѣрно,—думалъ Петръ, — хитритъ и опутать меня хочетъ, чтобы не выдалъ». Но это предположеніе сразу уступило мѣсто другой мысли. Глафирѣ не зачѣмъ притворяться. Ей-ли бояться Петра, когда онъ въ ея рукахъ то же, что щепочка въ рукахъ ребенка, которую тотъ пускаетъ по теченію ручейка, а потомъ ловитъ. Да и не такъ люди притворяются, какъ это у нея вышло. А если она точно грѣхъ свой чувствуетъ и мучитъ онъ ее, такъ чего же она не отступится отъ него? Жадность не допускаетъ? Поздно? Такой грѣхъ, что болото: попалъ въ него, такъ засосетъ.

Петръ содрогнулся. Ему стало вдругъ страшно здѣсь, въ темнотѣ, при одной мысли объ ужасномъ преступленіи, которое открылось ему нынче. Совѣсть толкала его на то, чтобы раскрыть это преступленіе, иначе оно бу-

детъ преслѣдовать его, словно онъ соучастникъ. Но съ другой стороны, онъ не могъ не предвидѣть, что для него оглашеніе этого преступленія будетъ роковымъ. А между тѣмъ теперь горше, чѣмъ когда-либо, лишиться ему съ такимъ трудомъ достигнутаго нѣкотораго благополучія. Съ самаго ранняго дѣтства, Богъ вѣсть какимъ чудомъ очутившись на пріискѣ, онъ познаіъ всю горечь нищеты, оскорбленій, побоевъ. Съ десяти лѣтъ онъ уже ходилъ на работы и добывалъ себѣ такимъ образомъ пропитаніе. Лѣтъ тринадцати онъ случайно выучился читать. Одинъ изъ пріисковыхъ рабочихъ, грамотный, читалъ порой вслухъ, съ трудомъ разбирая строки, разныя забавныя книжки. Петръ, стоя за его спиною и глядя ему черезъ плечо, жадно слушалъ, не сводя глазъ съ чудесныхъ буквъ и такимъ путемъ мало-по-малу началъ самъ разбирать слова. Это его такъ сильно обрадовало, что онъ выпросилъ книгу у грамотея, убѣжалъ съ нею какъ-то, въ праздникъ, вдаль отъ всякаго жилья и тутъ, на свободѣ, читалъ цѣлый день, забывъ даже объ ѣдѣ. Хороша или дурна была книжка, онъ и самъ не знаетъ. Его не столько занималъ смыслъ и содержаніе читаемаго, сколько успѣшность самаго процесса чтенія.

Впрочемъ, онъ помнилъ, что книжка называлась «Гуакъ».

Поощренный и обрадованный самъ этимъ успѣхомъ въ грамотѣ, Петръ сталъ учиться писать. Постоянными упражненіями онъ добился того, что сталъ писать недурно. Въ то же время выучился щелкать и на счетахъ. Мисаилъ обратилъ вниманіе на мальчугана и опредѣлилъ его на Суханскій заводъ состоять при конторѣ. Въ настоящее время Петръ получалъ уже довольно большое жалованье: 5 рублей въ мѣсяцъ и готовую квартиру съ обѣдомъ.

Но мечты парня шли дальше. Онъ мечталъ не только современемъ стать конторщикомъ, но и управляющимъ

на пріискахъ. Нужды нѣтъ, что у него не имѣется паспорта. На пріискахъ не мало работаетъ безпаспортныхъ бродягъ. А ужъ коли деньги будутъ, какой угодно можно паспортъ добыть.

Мысль о деньгахъ снова вернула его къ Глафирѣ и напомнила ему объ обѣщаніи той «озолотить» его. Искушеніе было велико. Но онъ далъ себѣ слово при помощи Глафиры только добыть себѣ паспортъ, а тамъ... тамъ— птица вольная. «Знай работай да не трусь»,—какъ помнилось ему изъ одного стихотворенія.

Издали до него донесся слабый лай собакъ. «Значитъ, Глафира ужъ вошла въ городъ и идетъ мимо дома купца Латрыгина: это лаетъ его Полкашка». Узналъ собачій голосъ Петръ и самъ двинулся по направленію къ городу, размышляя по пути: только прощусь съ Глафирой и на коня.

Чтобы не откладывать этого рѣшенія, Петръ хотѣлъ поспѣшить со свиданіемъ. На его стукъ въ желѣзное кольцо калитки раздался сначала трескъ колотушки: это бродилъ по особо воздвигнутой для него вышкѣ на дворѣ ночной караульщикъ и всю ночь напролетъ поколачивалъ въ колотушку. Одновременно съ этимъ во дворѣ загремѣло что-то, и около самой калитки раздался басистый хриплый лай собаки, спущенной на длинную веревку, перетянутую черезъ весь дворъ изъ конца въ конецъ.

Наконецъ-то, калитка была отворена.

Петръ вошелъ во дворъ и направился сначала въ людскую.

— Ишь полуношничаетъ, людей безпокоитъ! — гнусаво и сердито замѣтилъ ему сидѣвшій на крылечкѣ Кириллъ и замурлыкалъ въ носъ священную пѣснь, прерванную несвоевременнымъ приходомъ Петра:

Прекрасная мати пустыня,
Пришелъ азъ тебя соглядати.
Потщися мя воспріяти
И буди мнѣ, яко мати.

— Извините, Кириллъ Матвѣевичъ. Съ пріятелемъ засидѣлся,—приподымая съ головы картузъ, совралъ Петръ.

— Не съ пріятельницей-ли? — поправилъ Кириллъ и, прибавивъ при этомъ грубую шутку, продолжалъ какъ ни въ чемъ не бывало гнусить:

Пойду азъ въ лѣса разгулятися
Плодовитыя древа соглядати.

Его пальцы попрежнему вертѣлись одинъ вокругъ другого, а голова была слегка приподнята въ мечтательномъ настроеніи, и рыжая мочалка на его подбородкѣ тоже слегка приподнялась, такъ что профиль съ длиннымъ носомъ и этой рѣдкой, загнувшейся къ верху бороденкой отчетливо выдѣлялся во мракѣ.

«Вотъ еще, старый хрѣнъ сидитъ здѣсь», злобно подумалъ Петръ и прошелъ въ кухню.

Тамъ сидѣли и ужинали постной тюрей кучеръ Ларивонъ, необыкновенно глупый и смѣшливый мужикъ лѣтъ 45 съ птичьимъ лицомъ, кухарка Степанида и что-то въ родѣ горничной для обоихъ флигелей, полногрудая дѣвка Агафья.

Петръ перекрестился и сѣлъ за столъ. Но ложка не шла ему въ ротъ. Ларивонъ засмѣялся своимъ беззубымъ ртомъ и едва не подавился хлѣбомъ.

— Чего смѣешься за ѣдой-то, — наставительно замѣтила кухарка, но это замѣчаніе еще болѣе разсмѣшило Ларивона. Онъ поперхнулся квасомъ и безпомощно замахалъ руками, точно кто-то изъ присутствовавшихъ выкинулъ на глазахъ его нивѣсть какую смѣшную шутку.

Агафья тоже не выдержала и захохотала въ тонъ ему. Ларивонъ захохоталъ тонкимъ смѣхомъ, а Агафья какъ разъ наоборотъ чуть не басомъ, такъ что, ежели бы не видѣть ихъ, можно было бы приписать голосъ Ларивона Агафьѣ.

— Фу, ты, прости Господи, точно лѣшій! — отплюнулась кухарка.

— Чего вы смѣетесь? — спросилъ Петръ.

Агафья только указала своей жирной, круглой головой на Ларивона.

— Да какже... — едва въ состояніи былъ выговорить сквозь смѣхъ Ларивонъ. — Завтра наши господа хотятъ въ Москву ѣхать, а у тарандаса колесо сломамши.

Въ окнѣ Мисаиловой комнаты, гдѣ нѣсколько часовъ передъ этимъ происходило засѣданіе, свѣтился огонь, и на занавѣскѣ стояла длинная тѣнь. Это у своей конторки разбиралъ разныя бумаги Мисаилъ.

Чтобы видѣть условный знакъ въ окнѣ Глафирьиной комнаты, Петру надо было обойти большой главный флигель со стороны сада. Боясь быть кѣмъ-нибудь замѣченнымъ, онъ сталъ пробираться вдоль стѣны къ саду и, проходя мимо старой бесѣдки, обращавшейся лѣтомъ въ курятникъ, увидѣлъ двѣ тѣни. Онъ сразу угадалъ ихъ: Глафира и Кириллъ. Она сидѣла у него на колѣняхъ.

Петръ притаился за деревьями, пораженный. Онъ сталъ подкрадываться къ бесѣдкѣ, но по дорогѣ зацѣпилъ вѣтку и произвелъ шумъ.

Глафира быстро спрыгнула съ колѣнъ Кирилла, а тотъ, какъ ни въ чемъ не бывало, загнусилъ про себя.

Глафира взглянула изъ-за рѣшетки той бесѣдки во всѣ стороны зоркими глазами. Петръ притаился за стволомъ большого дуба.

— Ужъ не воры-ли? — оборвалъ свое пѣніе Кириллъ. — Трезора спустить съ цѣпи надо...

— Нѣтъ, это... кошка прошумѣла... Я видѣла ее сейчасъ, — съ усиліемъ выговорила Глафира. — До свиданья, Кириллъ Матвѣичъ.

Онъ было потянулся къ ней и зачмокалъ губами, но она пугливо замотала головой и вышла изъ бесѣдки.

Вслѣдъ за нею, напѣвая и трусливо оглядываясь по сторонамъ, вышелъ Кириллъ.

Петръ остался одинъ во мракѣ старыхъ деревьевъ, сквозь все еще голыя вѣтви которыхъ проглядывали звѣзды. Кровь такъ колотила ему въ голову, что онъ едва держался на ногахъ и думалъ, что сходитъ съ ума. Онъ ожидалъ чего угодно, но только не такой сцены. Въ одинъ день два такихъ открытія.

Онъ схватился за голову и сталъ спрашивать себя, не во снѣ ли ему все это привидѣлось. Что же все это значитъ?

Онъ взглянулъ на окно Глафирьиной комнаты. Тамъ горѣлъ условный огонекъ.

Злоба охватила Петра. Ему хотѣлось схватить камень и изо всей силы пустить въ эту комнату.

Онъ безпомощно прислонился къ дереву и съ ненавистью глядѣлъ въ окно. У окна появилась Глафира. Лицо ея было взволновано, а брови нахмурены. Она пристально всматривалась во мракъ.

Петру хотѣлось броситься къ ней, схватить ее, вырвать оттуда и избить, растоптать... Онъ весь дрожалъ и долженъ былъ ухватиться за дерево, чтобы не упасть.

«Нѣтъ, лучше не пойду: отъ грѣха подальше», — думалъ онъ съ злобной горечью. Рѣшилъ немедленно ѣхать прочь отъ этихъ проклятыхъ мѣстъ. Вскочить на коня и гнать его изо всей мочи.

Глафира долго ждала. Лицо ея изъ сосредоточеннаго стало задумчиво-грустнымъ. Оно какъ будто даже поблѣднѣло. Но вотъ, должно-быть, ей стало прохладно. Она притворила окно, отошла отъ него въ глубину комнаты и стала приготовляться ко сну.

И она еще молится! И у нея хватаетъ духу обращаться къ Богу послѣ того, какъ она каждую минуту попираетъ Его законъ! — изумлялся Петръ, но не дерзалъ все же нарушить ея молитвы.

Вдругъ, онъ почувствовалъ, какъ чья-то рука схвати-

ла его сбоку, такъ что онъ едва не упалъ навзничь отъ испуга и неожиданности.

Передъ нимъ стоялъ Мисаилъ.

Первой мыслью Петра было — бѣжать, но онъ тутъ же устыдился за нее и вызывающе-злобно взглянулъ на Мисаила.

— Это ты что же, голубчикъ, на охоту за чужимъ добромъ, что-ли, пустился? — злорадно обратился къ Петру Мисаилъ, схвативъ его за рукавъ.

Тотъ вырвалъ рукавъ и, задыхаясь, произнесъ:

— Да, за чужимъ добромъ.

— Ладно. На чистоту, значитъ, идешь. Можетъ, у тебя и сообщники есть, съ кѣмъ ты добро-то подѣлишь?

— Подѣлилъ ужъ.

— Съ кѣмъ же?

Петръ помолчалъ съ минуту. Лицо его искривилось и побѣлѣло. Онъ тихо, но отчетливо выговорилъ:

— Съ братцемъ вашимъ, Кирилломъ Матвѣевичемъ.

Мисаилъ, взглянувъ искоса на окно, за которымъ повидимому никто не слышалъ и не чувствовалъ этого разговора, скривилъ губы презрительной усмѣшкой.

— А если я тебя за такія рѣчи-то собаками сейчасъ велю затравить? Или своими собственными руками задушу, да швырну въ колодезь, какъ блудливаго щенка.

— Что-жъ, души... трави... Тебѣ травить-то не впервой... Кого собаками, кого ядомъ травишь.

Мисаилъ никакъ не ожидалъ подобнаго отпора. Онъ, вдругъ, какъ-то пригнулся, словно желалъ броситься на Петра и растерзать его, но Петромъ овладѣло бѣшеное отчаяніе.

— Если двинешься ко мнѣ! — почти закричалъ онъ, — сейчасъ же все людямъ разскажу. Давеча у окна слышалъ я, о чемъ вы вчетверомъ разговаривали. Кустъ я возлѣ окна окапывалъ и слышалъ... Да. Лучше не

двигайся, а то брошусь черезъ заборъ. На всю улицу закричу, какъ Похвистневы свою благодѣтельницу отравили.

— Молчи! — ринулся къ нему Мисаилъ.

Окно быстро отворилось. Ужъ Мисаилъ занесъ надъ головой Петра руку, но между ними очутилась мгновенно Глафира.

Она сильно оттолкнула Мисаила.

Тотъ, не помня себя, замахнулся было на нее, но она, не испугавшись, сама къ нему бросилась.

— Что ты? Убить его, что-ли, захотѣлъ? Бей и меня. Правду онъ сказалъ: любовникъ мой.

Мисаилъ остановился, ошеломленный.

Петръ ощущалъ теперь только тупую усталость и стыдъ за что-то.

— Ужъ коли такъ случилось, какъ есть, такъ надо такъ и улаживать, — прошептала Глафира Мисаилу.— Ты не младенецъ, значитъ, и губить попусту дѣла не не нужно. А его въ обиду я не дамъ.

Мисаилъ холодно и натянуто разсмѣялся.

— Ну, съ тобой-то моя война не долга. За косы, да объ полъ.

— Попробуй! — вызывающе отвѣтила на это Глафира.

— Это не уйдетъ. А молодчикъ завтра же въ тюрьмѣ будетъ.

— Полно пустое болтать! — насмѣшливо отозвалась Глафира.— Тебѣ тоже это не больно выгодно сдѣлать. А лучше давай-ка разойдемся во-свояси, какъ будто ничего не было. Не тебѣ за женину честь заступаться, коли ты меня черезъ два дня по свадьбѣ Кириллу за пять тысячъ продалъ. Такъ-то.

— А тебѣ, Петръ, тоже губить себя не за что. Тебѣ зла никто не дѣлалъ, а что было, то прошло. Таковъ мой бабій судъ.

Мисаилъ изъ-подлобья бросалъ на нее взгляды и, прошипѣвъ сквозь зубы:

— Ну, ладно. Завтра увидимъ...—проворно зашагалъ назадъ.

Глафира осталась вдвоемъ съ Петромъ.

— Ну, теперь тебѣ нечего бояться: отвоевала! — торжествуя, обратилась Глафира къ Петру. — Пойдемъ туда... ко мнѣ. Я тебѣ тамъ воды дамъ испить.

Она взяла было его за руки, но онъ съ отвращеніемъ вырвалъ у нее свою руку и оттолкнулъ ее.

— Не смѣй прикасаться ко мнѣ. Я пойду. Я все разскажу... Самъ погибну, а разскажу.

— Петя... Милый... Что съ тобой? Опомнись, — почти повисла у него на шеѣ Глафира, стараясь удержать его. — Петя!

Но онъ вырвался у нея изъ рукъ и сдѣлалъ нѣсколько шаговъ впередъ.

— Петя! — бросилась она за нимъ вдогонку.

Но онъ и самъ не могъ уже итти.

## III.

Похвистнева остановилась въ Москвѣ, въ Замоскворѣчьи, въ Сицкомъ переулкѣ, называемомъ иначе—Сицкимъ тупикомъ. Въ этомъ тупикѣ стоялъ старинный неуклюжій каменный домъ, двухъэтажный, нѣкогда окрашенный въ свѣтло-желтую краску, а теперь облупившійся и полинялый. Къ дому примыкалъ большой садъ, запущенный и старый, какъ самое зданіе, и вершины деревьевъ далеко превышали заборъ, тянувшійся по тупику, какъ высокая крѣпостная стѣна. Садъ какъ-то не подходилъ къ этому мрачному дому.

Домъ выглядѣлъ крайне непривѣтливо и сухо. Его даже избѣгали птицы, во множествѣ водившіяся въ саду, потому что всѣ окна и стѣны были утыканы гвоздями.

Домъ принадлежалъ купцу Тарыгину, старовѣру, у котораго была въ Никольскомъ желѣзная лавка. Турыгинъ на лѣто уѣхалъ на Волгу, въ свое имѣніе, и пре-

доставилъ квартиру Прасковьи Ильинишнѣ, которая застала его какъ разъ наканунѣ отъѣзда.

Прасковья Ильинишна пріѣхала не одна. Ее сопровождали Глафира и оба брата Похвистневы: Мисаилъ и Кириллъ.

Кромѣ этихъ лицъ Прасковья Ильинишна взяла съ собой дѣвочку Анфису, съ которой никогда не разставалась.

Вотъ уже вторую недѣлю Прасковья Ильинишна въ Москвѣ, а здоровье ея не только не улучшается, а наоборотъ, стало еще хуже. Доктора, который лѣчилъ ея мужа, теперь уже не было въ Москвѣ: онъ уѣхалъ за границу. Больная сразу упала духомъ и выражала недовольство приглашаемыми для нея врачами.

Не успѣла она выразить свое недовольство однимъ какимъ-нибудь врачомъ, какъ Глафира совѣтовала позвать другого. Звали другого, но случалось обыкновенно такъ, что и противъ этого возставала она. Каждый врачъ прописывалъ лѣкарство, бралъ за визиты и уходилъ, а больную сразу лѣчили всѣми средствами. Она покорялась молча, но сама уже утрачивала надежду на выздоровленіе.

Сейчасъ уходилъ чуть ли не пятый эскулапъ.

— Ну, что, докторъ? — озабоченно обратились къ знаменитости, провожая его, Похвистневы.

Тотъ вопросительно посмотрѣлъ на нихъ своими живыми небольшими глазками, точно хотѣлъ спросить: вы не въ шутку-ли задаете мнѣ этотъ вопросъ?

— А позвольте васъ спросить? — обратился онъ къ нимъ вмѣсто отвѣта, — больная вамъ какъ приходится, родственницей?

— Родственницей, родственницей, — скорбно отвѣтила Глафира. — Бѣдная родственница. Изъ провинціи привезли ее, денегъ не пожалѣли.

— А въ провинціи-то развѣ докторовъ нѣтъ, что вы ее сюда привезли?

— Ну, какіе тамъ доктора! — небрежно улыбнулся Мисаилъ. — Коновалы, можно сказать. Они и болѣзнь-то распознать не умѣютъ. Не угодно-ли я вамъ рецепты одного изъ нихъ покажу? Самый лучшій считается.

Докторъ кивнулъ головой въ знакъ согласія.

Мисаилъ принесъ ему цѣлую кипу рецептовъ.

Посмотрѣвъ два-три изъ нихъ, докторъ поджалъ губы.

— Гм... Странно... Я попробую, въ такомъ случаѣ, прописать такую штуку.

Онъ, не садясь, написалъ нѣсколько строкъ на бумажкѣ и, передавая ее Кириллу, прибавилъ:

— А завтра я зайду опять. Больная очень, очень плоха. Я бы совѣтовалъ собрать консиліумъ.

По уходѣ доктора всѣ они переглянулись, и лица у нихъ стали натянуто-торжественныя.

Кириллъ по обыкновенію замурлыкалъ что-то себѣ подъ носъ и не подалъ никакого вида, что замѣтилъ, какъ Мисаилъ, мигнувъ женѣ и заложивъ за спину руки, прошелъ въ сосѣднюю комнату.

Глафира постояла съ минуту молча, словно ожидая, что Кириллъ ей что-то скажетъ, но онъ только вздохнулъ.

— Что, али жалко, деверекъ? — насмѣшливо спросила его Глафира, скрестивъ на высокой груди руки и искоса взглядывая на Кирилла лукавыми глазами.

— Охъ, жалко, сестрица.

Глафира расхохоталась.

— Вамъ бы съ вашей добротой-то слѣпому поводыремъ надо быть, а не дѣла дѣлать, — все такъ же смѣясь, вымолвила Глафира.

— Совѣсть зазритъ, сестричка. Что подѣлаешь. Покоя, проклятая не даетъ. Такъ вотъ и скребетъ, такъ и скребетъ день и ночь.

Глафира недовѣрчиво на него посмотрѣла. Лицо Кирилла сохраняло полную неподвижность, и, пожалуй, трудно было разобрать, вправду-ли онъ говоритъ

или смѣется, если бы въ его мигающихъ глазахъ не бѣгалъ въ эту минуту безпокойный огонекъ.

— Повѣришь ли, сестричка, — наклонился онъ къ ней, шепча, — во снѣ стала мнѣ сниться. Приходитъ нынче во снѣ да и говоритъ: «Ахъ Кирилла, Кирилла! Акинфій Матвѣевичъ тебя душеприказчикомъ своимъ надъ мной сдѣлалъ, а ты...»

Кириллъ вздохнулъ и все тѣмъ же тономъ насмѣшки надъ собою, страха и досады прибавилъ:

— Совѣсть это моя ко мнѣ приходила. Вѣдь крестъ и святое Евангеліе цѣловалъ передъ Акинфіемъ. Волю его клялся исполнять. На завѣщаніи подписался, въ этомъ и Мисаилъ подписался.

— Ахъ, страсти какія, подумаешь! — все съ тѣмъ же насмѣшливымъ презрѣніемъ замѣтила Глафира. — Крестъ... Евангеліе... Да какой крестъ и Евангеліе-то, никоніанскіе.

— Никоніанскіе-то, никоніанскіе, да вѣдь...

Лицо Глафиры вспыхнуло досадой.

— А, да что тутъ толковать! — прервала она его рѣчь. — Если ужъ такъ совѣсть зазритъ, такъ шли бы къ прокурору, да повѣдали бы ему все. Али къ попу на исповѣдь.

— Ну, это зачѣмъ же. Да и поздно.

— То-то, что поздно! Раньше объ этомъ надо было думать.

— Ахъ, Глашенька, Глашенька, ты-ли объ этомъ говоришь? Отъ тебя-ли слышу.

Глафира горделиво отвернулась.

— Обошла ты меня; вокругъ пальца обмотала, какъ тряпку. Я для тебя не токмо что другихъ, — себя бы не пожалѣлъ. Вотъ ты теперь, чай, думаешь: вретъ, старый шутъ, притворяется: самъ хочетъ милліончики-то подграбастать. А я тебѣ по совѣсти скажу: тьфу они мнѣ, эти милліоны-то! Много-ли мнѣ на старости лѣтъ нужно. Проживу, да еще останется.

— Такъ откажитесь отъ своей части.

— Ну, нѣтъ, это зачѣмъ же. Ужъ ежели такъ вышло, зачѣмъ же мнѣ отъ своей доли отказываться. Я лучше ее на добрыя дѣла тогда отдамъ, во искупленіе грѣховъ своихъ.

— Будетъ вамъ ныть-то. Вы вотъ лучше скажите, получили ли отъ судебной палаты завѣщанія Акинѳія? Они вѣдь къ явкѣ туда были представлены.

— Были. Палата ужъ и свидѣтелей допросила, что на завѣщаніи подписывались. Въ своемъ ли, молъ, умѣ былъ покойникъ.

— Знаю. Нѣтъ, послѣ того, какъ запросъ о цѣнѣ-то имущества былъ сдѣланъ, послѣ этого изъ палаты не получалось еще завѣщанія?

— Нѣтъ, еще не получилось. Чай, я бы не утаилъ.

— То-то. На васъ вѣдь какой стихъ найдетъ,—усомнилась Глаѳира.

Кириллъ вздохнулъ.

— А ежели до ея конца прійдетъ завѣщаніе-то, такъ вы мнѣ его передайте.

Кириллъ завертѣлъ пальцами, поджалъ губы, словно хотѣлъ сказать: нѣтъ, это ужъ зачѣмъ же.

— Какъ угодно,— обиженно заявила Глаѳира и направилась въ комнату больной.

— Глашенька, — остановилъ ее въ дверяхъ Кириллъ.

Она черезъ плечо взглянула на него.

— Ну?

Кириллъ подошелъ къ ней мелкими шажками и шепнулъ что-то на ухо ей.

Глаѳира криво улыбнулась.

— А завѣщаніе?

— Все будетъ, — какъ-то съежившись и жуя губами, торопливо отвѣтилъ Кириллъ.

— Ну, ладно. Такъ и быть.

— А... Задаточекъ.

Она оглянулась вокругъ и подставила ему щеку.

Старикъ такъ и впился въ нее губами.

— Мусляй! Обмуслитъ только! — перешагнувъ порогъ комнаты, подумала Глафира и съ отвращеніемъ стерла съ своей полной, румяной щеки слѣды поцѣлуя.

Кириллъ посмотрѣлъ ей въ слѣдъ съ такимъ выраженіемъ въ лицѣ, точно сейчасъ только проглотилъ что-то необыкновенно вкусное, какъ пьяница, выпившій рюмку водки. Затѣмъ заложилъ руки за спину и пошелъ въ садъ.

День клонился къ вечеру. Липкіе, еще недавно распустившіеся листочки деревьевъ жадно впитывали въ себя послѣдніе лучи солнца и издавали ароматъ нѣжной свѣжести. На одной изъ дорожекъ сада возлѣ цѣлой горки золотистаго песочка стояла на колѣняхъ Анфиса, а рядомъ съ ней лѣтъ шестнадцати мальчикъ, блѣднолицій, бѣлокурый, съ странно спокойнымъ и вдумчивымъ лицомъ. Мальчикъ оживленно улыбался, покачивая головой, и рылъ въ пескѣ углубленіе, которое должно было изображать печь.

— Что вы это тутъ дѣлаете? — ласково обратился къ играющимъ Кириллъ.

— Въ кухню играемъ, — отвѣтила Фиса, заботливо выравнивая песокъ. — Я нарочно кухарка, а Вася — помощникъ мой.

— Ишь ты, въ кухню. Какъ бы тебѣ и вправду не попасть скоро въ кухню, — подумалъ Кириллъ, припомнивъ одинъ изъ послѣднихъ разговоровъ съ Глафирой о судьбѣ этого ребенка.

— А какія Вася славныя штуки умѣетъ дѣлать, — съ восторгомъ заявила дѣвочка, — какія корзиночки плететъ. Какія фигурки изъ воска лѣпитъ! Вотъ смотри, дядя.

Она показала Кириллу бережно сложенные въ травѣ вылѣпленные изъ воска птички и одного ангела съ распростертыми крыльями.

Кириллъ взглянулъ сначала на ангела, потомъ на дѣвочку и покачалъ головой. Ангелъ походилъ на Фису.

Глухонѣмой не спускалъ съ него глазъ и по выраженію его лица понялъ его мысль, понялъ и радостно-громко засмѣялся, махая за спиной дѣвочки руками на подобіе крыльевъ.

— Ишь ты, ловкачъ какой! — замѣтилъ Кириллъ. — Похоже. А только гдѣ ты воскъ-то досталъ?

Глухонѣмой продолжалъ радостно улыбаться, не слыша и не понимая вопроса.

— Ам... м... м... м... глухо мычалъ онъ.

— Онъ, дяденька, три свѣчки купилъ и изъ нихъ налѣпилъ мнѣ всего.

— Это грѣхъ! — строго замѣтилъ Кириллъ. — Свѣчка Божій даръ, она для Бога и предназначается. Да и ангела на человѣка грѣшно похожимъ дѣлать.

Глухонѣмой точно понялъ наставленіе, и его широкое, симпатичное лицо съ крупнымъ ртомъ и большими, сѣрыми глазами приняло недоумѣвающе-сконфуженное выраженіе.

Дѣвочка обидѣлась за своего товарища и ревниво спрятала снова въ траву дорогія ей фигурки.

Проходя мимо окна той комнаты, гдѣ лежала больная, Кириллъ пугливо покосился на это окно и прошелъ дальше. Но около кухонной двери, открытой настежь, онъ остановился и чутко прислушивался.

— Не пускать меня! Н-нѣтъ, это шалишь. Молода, въ Саксоніи не была! — выкрикивалъ чей-то пьяный голосъ оттуда. — Я больную родственницу пришелъ провѣдать, и кончено! Я своего родного сына пришелъ увидать и дважды кончено.

Кириллъ торопливо поднялся въ кухню. Онъ узналъ голосъ пьяницы Молоткова, отца Васи и родного брата Прасковьи Ильинишны.

Молотковъ стоялъ посреди кухни, а передъ нимъ — Мисаилъ съ нахмуреннымъ лицомъ и злыми глазами. Пьяный былъ въ рубищѣ, но лицо его, густо заросшее бородою, было гордо и надменно.

— Не шуми, не шуми, — холодно урезонивалъ пьянаго Мисаилъ. — Вотъ тебѣ цѣлковый на водку и уходи.

— Что? Цѣлковый! Мнѣ, Парфену Молоткову, цѣлковый! Да кто ты таковъ, чтобы мнѣ цѣлковые-то на подачку швырять. Кто ты таковъ, я тебя спрашиваю! Похвистневъ или Прихвостневъ тамъ какой-то! А я Парфенъ Молотковъ. Молотокъ-то тебя расшибить еще можетъ. А онъ мнѣ цѣлковый! Сундучникъ! Пустые сундуки ты дѣлалъ. Съ пустыми бы ты и отался, если-бъ не моя сестра.

Пьяный даже плюнулъ въ порывѣ презрительнаго негодованія.

— Я такихъ Прихвостневыхъ-то замѣсто шутовъ держалъ и цѣлковые-то сотнями пошвыривалъ.

— Ну, было да прошло. Пошвыривалъ, пошвыривалъ, да и расшвырялъ все, — съ насмѣшливой кротостью замѣтилъ ему Кириллъ, входя въ кухню.

Пьяный обернулся.

— А-а-а! Господинъ душеприказчикъ! — поклонился ему насмѣшливо въ поясъ Молотковъ. — Вѣрно вы изволили замѣтить: все расшвырялъ, да за то — свое. Молотковы чужимъ никогда не пользовались. А вотъ вы на молотковскія денежки живете, молотковскую кровь пьете.

— Будетъ тебѣ съ нимъ разговаривать! — замѣтилъ брату Мисаилъ, швырнувъ деньги на столъ. — Пусть по добру по здорову убирается, а то дворника пошлю за полиціей.

— Что тутъ за шумъ? — входя въ кухню изъ внутреннихъ комнатъ, спросила недовольно Глафира и при видѣ Молоткова поняла все.

— Эхъ, вы, умники, — презрительно огрызнулась она

на братьевъ и съ привѣтливой улыбкой подошла къ Молоткову и подала ему руку.

— Здравствуйте, Парфенъ Ильичъ. Садитесь, пожалуйста.

Молотковъ сѣлъ на табуретъ возлѣ выскобленнаго начисто кухоннаго стола.

— Водочки не хотите-ли? Закусить.

— Вотъ это такъ! Вотъ это я люблю. Парфенъ Молотковъ любитъ обращеніе. Съ обращеніемъ изъ Парфена Молоткова можно веревку свить и его же на ней повѣсить. Я пришелъ только больную сестру провѣдать, а онъ меня гонитъ.

Глафира взяла со стола рубль и, увидѣвъ въ окно проходящаго мальчишку, сына дворника, приказала ему сходить за водкой, за колбасой, а сама сдѣлала знакъ обоимъ братьямъ, чтобы они уходили.

— Ну, и король-баба! — замѣтилъ Кириллъ, оставшись наединѣ съ Мисаиломъ. — Въ два слова утихомирила. Напоитъ его пьянымъ и баста!

— Откупи, — цинично отвѣтилъ на это Мисаилъ, ухмыляясь въ бороду.

— Не пойдетъ.

— Пойдетъ. Ей все равно. Лишь бы деньги. Самъ знаешь.

— Сколько?

— Изъ твоей доли послѣ Прасковьи — половину. По рукамъ?

Если бы въ это время въ дверяхъ показалась Глафира, Кириллъ протянулъ бы въ знакъ согласія руку, но тутъ его взяло раздумье.

— Гм... Но вѣдь тогда ты вдвое богаче меня будешь, значитъ, и она съ тобой останется.

— Не останется. Только бы дѣло сдѣлать поскорѣе, а то не останется!

Кириллъ засмѣялся мелкимъ, гнусавымъ смѣхомъ, придавая такимъ образомъ этому разговору шутливый

характеръ. Его животъ заколыхался и одутловатыя щеки задрожали.

— Ну, братъ, тебѣ безъ такой бабы тоже плохо будетъ,— все еще смѣясь, замѣтилъ онъ.

— Проживемъ какъ-нибудь! — тоже улыбнулся для вида Мисаилъ. — Она для меня умна больно, а женѣ умнѣй мужа по закону быть не подобаетъ.

— Поучи.

Мисаилъ ничего не отвѣтилъ. Вошла Глафира.

— Эхъ, вы, слѣпни! Съ покойниками, видно, вамъ только управляться! — сорвался шепотъ съ ея губъ.— Замѣсто того, чтобы человѣка принять, какъ слѣдуетъ, они съ нимъ въ драку лѣзутъ. Вы бы его еще отъ пьянства полечили, чтобы онъ съ вами наслѣдство подѣлилъ.

Мисаилъ злобно посмотрѣлъ на жену.

— Ай, батюшки, страшно какъ! Глазами застрѣлишь! — презрительно засмѣялась Глафира, покачивая своимъ гибкимъ, упругимъ станомъ, и направилась въ комнату больной.

— Ну, подожди! — процѣдилъ ей вслѣдъ сквозь зубы Мисаилъ. — Я тебѣ все припомню.

Кириллъ захихикалъ, уходя въ плечи головой.

Братья стояли въ огромной столовой другъ противъ друга, какъ самые злѣйшіе враги.

Съ дѣтскихъ лѣтъ Кириллъ и Мисаилъ ненавидѣли другъ друга, но обстоятельства сковали ихъ жизнь вмѣстѣ. Эта общая цѣпь сковалась изъ тысячи мелкихъ звеньевъ, но самымъ важнымъ и крѣпкимъ изъ нихъ было послѣднее звено,— общее преступленіе.

— Вотъ что, братецъ,— глухо началъ, наконецъ, онъ, дѣлая шага два впередъ и не сводя глазъ съ Кирилла.— Я полагаю, что довольно намъ въ жмурки-то играть.

Кириллъ смущенно закашлялся въ отвѣтъ, прикры-

вая ротъ ладонью, и заморгалъ глазами. До сихъ поръ братья избѣгали на этотъ счетъ разговоровъ между собою и посредницей между ними была Глафира.

Обойдя столъ, Мисаилъ всталъ на другой сторонѣ и оперся на него сзади руками, откинувшись всѣмъ корпусомъ назадъ и выпятивъ свою богатырскую грудь.

— Не нынче-завтра она умретъ,— кивнулъ онъ головой въ сторону той комнаты, гдѣ покоилась больная.— Надо во благовремени намъ все приготовить, а то какъ бы на бобахъ не остаться. На духовное завѣщаніе-то плоха надежда. Не больно-то она насъ долюбливаетъ. Врядъ-ли намъ что и перепадетъ отъ нея.

— А безъ духовнаго и того хуже,— замѣтилъ Кириллъ.— Безъ духовнаго все къ Парфену Молоткову перейдетъ: онъ вѣдь прямой наслѣдникъ-то.

— Парфена Молоткова надо на тотъ свѣтъ спровадить,— равнодушно покачивая корпусомъ, произнесъ Мисаилъ.— Мы работали съ Глафирой надъ Прасковьей, а ты оборудой его.

— Что ты, что ты! — замахалъ руками Кириллъ.— Довольно съ меня и одного грѣха, и этотъ измучилъ.

— Слякоть,— прошепталъ про себя Мисаилъ.— Ну, коли такъ не согласенъ, такъ возьми его съ собой на пріискъ, да спои поскорѣй.

— Когда же это?

— Да хоть теперь.

— Это, чтобы васъ съ Глашей-то двоихъ оставить здѣсь орудовать. Благодарю покорно,— подумалъ Кириллъ, но не выразилъ этого подозрѣнія.

— Мнѣ, какъ душеприказчику-то, неудобно уѣхать теперь. Вотъ для тебя это дѣло-то было бы способнѣе,— съ видимымъ простодушіемъ замѣтилъ Кириллъ.

Мисаилъ испытующе посмотрѣлъ на брата.

— Ну, а вамъ извѣстно, гдѣ ея документы денежные хранятся?

— Въ несгораемой щикатулкѣ!

— А несгораемая щикатулка гдѣ?

— А въ томъ желѣзномъ шкапу, который она здѣсь раздобыла. Ключи же у нея на шеѣ висятъ.

— Такъ вотъ я хотѣлъ предупредить васъ, чтобы вы не поторопились кого пригласить опечатать всѣ вещи послѣ покойницы.

— Да какъ же безъ охраны-то? Вѣдь меня безъ этого, ежели узнаютъ, засудятъ.

— Кто узнаетъ-то? Кто?— взъѣлся на него Мисаилъ, сильно жестикулируя правой рукой.— Никто ничего не узнаетъ, а если и узнаютъ случаемъ, всегда можно увильнуть: — нечего, молъ, было и опечатывать-то. Нищей умерла, мы ее на свои средства и въ Москву-то лѣчиться привезли.

Кириллъ завздыхалъ и закачалъ головой.

— Охъ, Матерь Господняя, когда же это кончится! — вырвалось у него невольно.

— Будетъ хныкать-то! — рѣзко оборвалъ его Мисаилъ. — Заварили кашу, такъ надо и расхлебывать. Не останавливаться же на послѣдней ложкѣ.

— Охъ, силушки нѣтъ!

Мисаилъ сверкнулъ глазами и сжалъ кулаки.

Кириллъ ни разу въ жизни до сихъ поръ не видѣлъ своего брата въ такомъ возбужденномъ и странномъ настроеніи. Онъ глядѣлъ на него почти съ испугомъ и изумленіемъ, смѣшаннымъ съ любопытствомъ. Въ темнотѣ теперь лица Мисаила совсѣмъ не было видно, но по смѣху и по голосу можно было подумать, что у него какое-то дьявольское выраженіе.

— Шутникъ ты, какъ я вижу! — пересиливъ свое настроеніе, нашелся только сказать Мисаилу Кириллъ и, чтобы не оставаться долѣе въ этомъ настроеніи, проворно схватилъ со стола спички и зажегъ лампу.

— Шутникъ-то я шутникъ, а все же то, что я сказалъ

тебѣ здѣсь, запомни накрѣпко, — многозначительно уронилъ онъ, барабаня пальцами по столу и покачивая взадъ и впередъ своей здоровой, стройной ногой.

Кириллъ еще не успѣлъ ничего ему отвѣтить на это, какъ съ балкона, въ распахнувшуюся стеклянную дверь, вмѣстѣ съ волной свѣжаго воздуха, ворвалась Анфиса, а за ней глухонѣмой.

Дѣти неожиданно налетѣли на Мисаила, стоявшаго у стола, какъ разъ противъ двери. Мисаилъ растопырилъ свои длинныя руки и поймалъ ихъ обоихъ.

— Куда?

— Къ тетенькѣ,— робко произнесла дѣвочка.— Въ окно насъ кликнули.

Анфиса испуганно хотѣла броситься въ комнату больной, но Мисаилъ удержалъ ее лѣвой рукою и привлекъ къ себѣ. Глухонѣмой оказался по правую руку его.

Мисаилъ и его притянулъ къ себѣ.

— А о нихъ-то и забылъ, —съ нескрываемой злобой къ Мисаилу пробормоталъ Кириллъ, точно хотѣлъ сказать этими словами: и ихъ ужъ губи за одно. Ты вѣдь и дѣтей не пощадишь.

Мисаилъ, холодно улыбаясь и покачивая головою, посмотрѣлъ сначала на Фису, потомъ на глухонѣмого. Дѣвочка едва достигала Мисаилу по талію. Мальчикъ былъ нѣсколько выше. Мисаилъ обѣими руками обвилъ шейки дѣтей, точно толстыми черными кольцами и, поигрывая своими здоровыми красными пальцами по дѣтскимъ кадычкамъ, какъ бы ощупывая ихъ твердость, неопредѣленно продолжалъ улыбаться, щеря выдающіеся впередъ верхніе зубы.

Настала зловѣщая тишина.

— Нѣтъ, не забылъ... не забылъ...— саркастически произнесъ Мисаилъ, продолжая свою страшную игру съ дѣтьми и краснорѣчиво посматривая на Кирилла.

Кириллъ съ безмолвнымъ ужасомъ слѣдилъ за слегка дрожавшими пальцами Мисаила.

— Холодно, дядя. Пусти. — прошептала дѣвочка, выходя изъ своего оцѣпенѣнія и пытаясь своей крошечной бѣлой ручкой отвести холодную волосатую руку Мисаила отъ своей шеи. Пусти. Меня тетенька ждетъ.

— Да пусти ты ихъ! — почти взвизгнулъ Кириллъ, рванувшись всѣмъ своимъ рыхлымъ тѣломъ впередъ.

Дѣвочка, словно оцѣпенѣвъ, все еще не двигалась. Глухонѣмой широко-открытыми глазами глядѣлъ на Мисаила. Его худощавое личико еще болѣе поблѣднѣло.

Онъ взялъ дѣвочку за руку и торопливо повелъ ее въ комнату больной.

— Извергъ! Извергъ!..— съ отвращеніемъ и ненавистью повторилъ Кириллъ, потрясая опущенными руками, точно удерживаясь, чтобы не вцѣпиться ими въ ненавистное лицо.

— Слякоть! — швырнулъ ему въ отвѣтъ сквозь зубы Мисаилъ.

## IV.

Въ комнатѣ больной все еще находился священникъ.

По личной просьбѣ больной онъ не только подписался за нее подъ ея духовнымъ завѣщаніемъ, но и исповѣдалъ, и причастилъ ее.

Прасковья Ильинишна чувствовала близость смерти и примирилась съ этою мыслью. Она сохраняла полную ясность ума и свѣжесть памяти.

На бѣлыхъ подушкахъ, съ высоко-поднятой головой, она казалась истаявшею на солнцѣ восковою статуею.

Этотъ священникъ, старинный другъ Прасковьи Ильинишны, зналъ ее лѣтъ тридцать. Онъ вѣнчалъ ее съ Молотковымъ, а потомъ, по смерти Молоткова, съ Акинфіемъ Похвистневымъ. Теперь ему приходилось напутствовать ее въ иной міръ.

Больная лежала совсѣмъ, какъ мертвецъ, и глаза ея были закрыты.

Священникъ поднялся осторожно съ своего стула, чтобы закрыть окно занавѣской, но больная точно догадалась о его намѣреніи...

— Не надо, — прошептали ея блѣдныя губы. — Такъ лучше... Слава... Тебѣ... показавшему намъ... свѣтъ...

Она съ усиліемъ открыла глаза и по ея лицу дѣйствительно разлился внутренній свѣтъ.

— А не страшно... умирать. Я думала... страшно, — слабо улыбнулась она.

Священникъ не нашелся ничего отвѣтить на это сразу. Потомъ въ голову ему пришли слова: живой о живомъ и думаетъ. Онъ находился при умирающей съ утра и еще ничего не ѣлъ. Посему, выждавъ еще минутъ пять, онъ привсталъ и хотѣлъ проститься съ Прасковьей Ильинишной.

— Подож...дите... — остановила она его. — Позовите Глафиру... Фису... Василія... Скажу при васъ...

Священникъ подошелъ тихо къ тяжелой двери и отворилъ ее.

Кто-то быстро отпрянулъ въ сторону. Священникъ оглянулся вправо и увидѣлъ Глафиру, которая дѣлала видъ, что поднимаетъ гири часовъ. Нетрудно было догадаться, что она подслушивала.

— Больная зоветъ васъ къ себѣ, — тихо обратился къ Глафирѣ священникъ.

Лицо Глафиры вспыхнуло, но она мгновенно овладѣла собой и придала ему скорбящее выраженіе.

— Иди же! — строго раздалось съ другой стороны.

Священникъ взглянулъ влѣво и увидѣлъ тамъ Мисаила и Кирилла. Оба брата казались очень взволнованными и блѣдными.

— Больная просила еще позвать...

Они думали, что ихъ, и уже двинулись было впередъ.

— Анфису и Василія! — докончилъ священникъ.

Кириллъ бросился къ балконной двери.

Мисаилъ замеръ на мѣстѣ. Онъ догадался обо всемъ.

Его губы злобно искривились. Случилось то, чего онъ ждалъ. Тѣмъ лучше. Умирающая какъ бы мстила ему за свою смерть инстинктивно, и такимъ образомъ Мисаилъ считалъ, что они теперь поквитались.

Мимо него на цыпочкахъ безотчетно чувствуя всю важность момента, прошли Анфиса и Василій.

Кириллъ проводилъ ихъ до самой двери и съ напряженнымъ лицомъ отошелъ назадъ, стараясь не стучать сапогами.

— Чуешь? — почти довольный своей проницательностью, обратился къ нему Мисаилъ.

— Что? — притворился тотъ ничего непонимающимъ.

— Обошла насъ, вотъ что. Я тебѣ говорилъ. Тѣмъ лучше.

— Еще неизвѣстно, — проговорилъ тотъ, стараясь не глядѣть брату въ глаза.

Мисаилъ не ошибался.

Лишь только за Глафирой и вошедшими дѣтьми затворилась дверь, больная глазами подозвала къ себѣ Анфису, которая степенно стала у ея изголовья. Глухонѣмой — рядомъ съ ней. Глафира съ внезапно покраснѣвшими глазами подошла къ больной и поцѣловала ее въ плечо.

— Сядь... здѣсь... — указала ей Прасковья Ильинишна мѣсто около себя на широкой кровати.

Глафира сѣла на кончикъ кровати и обняла одной рукой Фису, другой Василія.

— Прочтите... батюшка... — прошептала больная.

Священникъ принялъ лежавшій на груди умирающей листъ бумаги и сталъ читать его, одѣвъ большія очки въ простой, черной оправѣ...

«Завѣщаю все свое имущество, движимое и недвижимое, перешедшее ко мнѣ послѣ мужа и лично мнѣ принадлежащее... — съ чувствомъ читалъ нѣсколько нараспѣвъ священникъ своимъ надтреснутымъ голоскомъ, точно это былъ не дѣловой документъ, а молитва. —

1) Заявленную площадь съ золотой рудой, находящуюся въ Троицкой губ., Посланскаго уѣзда, при Барскомъ поселкѣ. 2) Имущество, завѣщанное мужемъ моимъ Акинфіемъ Похвистневымъ, заключающееся въ пріискахъ, домахъ и прочемъ, движимомъ и недвижимомъ имуществѣ; 3) наличныхъ денегъ, 4) векселей и другихъ документовъ; 5) платежныхъ расписокъ, разныхъ актовъ, оплаченныхъ счетовъ и расписокъ; 6) брилліантовъ, золотыхъ, серебряныхъ и мѣховыхъ вещей, бѣлья, мебели, экипажей, лошадей и проч.»...— ловила Глафира слова. — «Слѣдующимъ 6 лицамъ: Глафирѣ Похвистневой, моей бывшей воспитанницѣ, $^1/_7$ наслѣдства»...

Какъ сквозь сонъ донеслось до нея.

«Ея роднымъ братьямъ — Иннокентію и Павлу Абросимовымъ $^2/_7$; и Парфену Молоткову съ сыномъ Василіемъ $^3/_7$».

Священникъ еще читалъ что-то дальше, но Глафира уже ничего не слышала. Ея сердце колотилось въ груди, кровь стучала въ виски и разливалась по всему лицу; она чувствовала на себѣ тусклый, неподвижный взглядъ своей умирающей благодѣтельницы и знала, что сейчасъ ей надо будетъ собрать всѣ свои силы, чтобы не выдать того волненія, тѣхъ чувствъ, которыя кипѣли и клокотали въ ней...

Священникъ кончилъ читать, снялъ очки и, держа бумагу въ рукахъ, обвелъ всѣхъ присутствующихъ добрымъ и яснымъ взглядомъ.

— Благодѣтельница! Матушка! За что такая милость! — опустившись съ кровати на колѣни и уронивъ на постель голову, заплакала Глафира. — Ничего мнѣ не надо, ничего. Только ты живи, выздоравливай... Свое все на свѣчи изожгу, слезами изольюся, Бога моля. Только бы даровалъ Онъ тебѣ здоровія;— причитала Глафира, всхлипывая.

Анфиса долго стояла неподвижно, повидимому, ни-

чего не понимая и, вдругъ, уткнувшись своимъ личикомъ въ подушку, на которой покоилась голова умирающей, зарыдала.

Даже священникъ прослезился. Только глухонѣмой стоялъ безъ слезъ, хотя лицо его изображало напряженное страданіе.

— Полно, полно. Все еще въ Божьей волѣ, — слабо сталъ успокоивать священникъ плачущихъ. — На Бога надо надѣяться.

Глафира вздохнула сквозь слезы.

— Глаша... — какъ вздохъ, слабо слетѣло съ губъ умирающей.

Глафира обратила печальные и опухшіе сразу отъ слезъ глаза на этотъ голосъ.

— Я... тебя воспитала... берегла... замужъ выдала... Какъ мать... Не оставь ее... — она указала глазами на дѣвочку. — Сиротка вѣдь...

Голосъ умирающей оборвался. Она стиснула пожелтѣвшіе за болѣзнь зубы и, тяжело дыша, закрыла глаза.

— Господи! Да я! — дрожащимъ голосомъ воскликнула Глафира, рванувшись на колѣняхъ къ дѣвочкѣ и прижимая ее къ себѣ.

— Она добрая... умница... — продолжала больная, собравшись съ силами. — Будь ей... матерью... какъ я...

— А васъ не благословилъ Господь дѣтками-то? — обратился къ Глафирѣ священникъ.

— Не благословилъ.

— Люби ее, — шептала больная, ласково переводя глаза съ Анфисы на Глафиру. — Богъ наградитъ за это. Что деньги, когда материнской заботы о ней не будетъ.

— Все, все исполню, матушка моя, благодѣтельница! — прижимая къ себѣ дѣвочку и покрывая поцѣлуями ея волосы и лицо, повторяла Глафира. — Только вы-то живите. Не покидайте насъ, сиротъ.

Она опять зарыдала и, прильнувъ головой къ ногамъ умирающей, вздрагивая плечами, всхлипывала, какъ бы не въ силахъ унять своего горя.

— Полно, не надо, — говорила больная, стараясь высвободить изъ-подъ одѣяла руку.

Глафира подняла голову и торопливо помогла ей положить сначала одну, потомъ другую руку на бѣлокурую дѣтскую головку.

— И ты...

Глафира соединила на головѣ Анфисы свои полныя здоровыя руки съ тонкими, какъ вѣтки, сухими руками Прасковьи Ильинишны.

— Клянись... быть ей... вмѣсто... матери... — строго и довольно твердо выговорила больная.

— Клянусь! — благоговѣйно произнесла Глафира.

— Благословите дитя! — сказалъ священникъ и за одно подвелъ къ больной глухонѣмого.

Дѣти встали на колѣни.

Больная зашептала благословеніе. Вдругъ, ея большіе, устремленные кверху въ молитвенномъ экстазѣ глаза наполнились снова слезами и губы задрожали, шепча:

— Во имя Отца и Сына и Святого Духа...

— Аминь! — торжественно докончилъ священникъ.

Руки больной соскользнули съ дѣтскихъ головокъ и упали, какъ плети, быстро перебирая пальцами концы одѣяла.

Дѣвочка, растерявшись, блѣдная и дрожащая, стояла у изголовья, смутно чувствуя ужасное торжество происходящаго.

— Поцѣлуй руку благодѣтельницы, — шепнулъ священникъ, поднявъ ея безсильныя руки на постель.

Дѣвочка молча повиновалась.

Глафира припала къ другой рукѣ, обливая ее слезами.

Больная на нѣсколько мгновеній закрыла глаза, потомъ снова открыла ихъ и слабо прошептала Глафирѣ:

— Поклянись въ томъ же передъ крестомъ... евангеліемъ...

Священникъ взялъ въ руки то и другое.

Глафира повторила клятву.

Настала тишина. Слышно было, какъ со свистомъ вырывалось дыханіе изъ груди умирающей, билась муха въ стекло съ жужжаньемъ, да за окномъ чиликали и щебетали птицы.

Лицо больной стало неподвижно и спокойно.

— Устала. Отдохнуть дать надо,— наклонился къ Глафирѣ священникъ.

Но больная услышала его шепотъ.

— Ничего... Завѣщаніе... спрячьте... Ключи... здѣсь...

Она слегка шевельнула головой, и Глафира поняла, что ключъ подъ подушкой.

Завѣщаніе тотчасъ же было заперто въ желѣзную шкатулку, гдѣ хранились и другіе документы, и спрятано на ключъ въ несгораемый шкафъ. Ключъ больная пожелала взять себѣ. Послѣ этого она снова откинулась на подушку и замерла съ закрытыми глазами.

На этотъ разъ больная не шевельнула ни однимъ мускуломъ. Утомленная пережитыми тревогами она очевидно уснула. Дыханія ея совсѣмъ не было слышно. Если бы не едва замѣтно шевелившееся около плечъ одѣяло, можно было бы подумать, что она не дышетъ.

Лицо ея было торжественно и почти спокойно, но жизнь сказывалась въ немъ едва уловимыми слѣдами усталости, пережитаго волненія и еще не совсѣмъ остывшей напряженности, — всѣмъ тѣмъ, что отличаетъ лица спящихъ отъ мертвыхъ. Всѣ эти угасающіе проблески жизни таились въ каждой черточкѣ лица, въ каждой морщинкѣ. Это былъ сонъ безъ грезъ, послѣдній сонъ жизни.

Глафира и священникъ переглянулись и, кивнувъ другъ другу, медленно поднялись съ своихъ мѣстъ и подали знакъ дѣтямъ итти изъ комнаты. Священникъ

собралъ въ шелковый зеленый узелокъ причастную церковную утварь. Всѣ, затаивъ дыханіе, на ципочкахъ вышли.

Мисаилъ такъ и впился глазами въ Глафиру.

Онъ сразу понялъ, что предсказаніе его сбылось и, соболѣзнующе проводивъ священника, въ передней схватилъ Глафиру за руку.

Глафира быстрымъ и взволнованнымъ шепотомъ передала ему содержаніе завѣщанія.

— Ага... Тѣмъ лучше... Гдѣ оно?

— Въ шкатулкѣ... Заперто. Тамъ и документы... Векселя наши. Деньги...

— Много? — жадно спросилъ Мисаилъ.

— Тысячъ десять, должно быть.

— Ключъ?

— У нея.

— А... — досадливо поморщился Мисаилъ. — Ну, а умретъ скоро она?

— А я почемъ знаю.

— Надоѣло ужъ. Подушкой что-ли ее притиснуть?

— Еще чего! — злобно возразила Глафира.

— Ну, удвой ей нынче порцію.

Глафиру какъ-то передернуло всю. Она съ нескрываемымъ отвращеніемъ взглянула на мужа.

— Будетъ ужъ: теперь и безъ этого обойдется.

— Нѣтъ, видно, не обойдется, — мрачно и настойчиво проговорилъ Мисаилъ. — Давеча докторъ прямо сказалъ: что-то, говоритъ, подозрительное; надо консиліумъ собрать. Мы будемъ медлить, а слухъ пойдетъ, такъ его не остановишь. Все-равно, что комъ снѣжный. Насъ же задавитъ потомъ.

Глафира подумала что-то и отвѣтила уклончиво:

— Ладно. Посмотримъ. А ты вотъ поскорѣе сплавь отсюда Парфена подальше, а то онъ хоть и пропойца, а задорный. Пронюхаетъ о наслѣдствѣ, такъ съ нимъ, пожалуй, и не справишься.

— А того...— кивнулъ Мисаилъ въ садъ, гдѣ показалась фигура Кирилла, — надо тоже къ рукамъ прибрать, чтобы не брыкался. Это уже твое дѣло.

Глафира только рукой махнула въ отвѣтъ на это и направилась къ больной.

Къ вечеру ей стало хуже.

Глафира не отходила отъ нея и старалась угадать малѣйшее ея желаніе по глазамъ, по слабымъ движеніямъ мускуловъ рта.

Чаще всего больной приходилось давать пить. Но она была уже такъ слаба, что не могла сама открыть рта. Вода каплями попадала ей между зубовъ и большая часть ея проливалась мимо.

Глаза то въ безсильи закрывались, то открывались. Вдругъ, Глафира прочла въ этихъ глазахъ, обращенныхъ къ ней, какую-то мольбу.

— Анфису? — заботливо спросила она.

Во взорѣ больной сверкнула блѣдная искорка. Ее поняли.

Глафира съ радостью пошла исполнить послѣднее желаніе умирающей. Въ эти послѣднія мгновенія ей искренно хотѣлось ловить налету и исполнять малѣйшія желанія ея, словно она глубоко и суевѣрно дорожила тѣмъ впечатлѣніемъ, которое та унесетъ о ней съ собою въ могилу.

Глафира почти бѣгомъ выбѣжала изъ комнаты и сама бросилась искать ребенка. Дѣвочка, утомленная за весь продолжительный майскій день, уже дремала и готовилась лечь спать, когда Глафира схватила ее за руку и повлекла къ умирающей.

По обыкновенію сторожившій, какъ часовой, въ столовой, Мисаилъ очевидно понялъ все и, ни слова не говоря, проводилъ насмѣшливымъ взглядомъ свою жену съ ребенкомъ.

Чтобы не потревожить умирающей, Глафира вошла въ комнату почти затаивъ дыханіе и на ципочкахъ.

Въ комнатѣ былъ полумракъ, только горѣла большая лампадка въ переднемъ углу, задумчиво и слабо освѣщая изможденное лицо, неподвижное и изжелто-сѣрое, и двумя точками отражаясь въ открытыхъ тоже неподвижныхъ глазахъ.

И въ этомъ лицѣ, и въ этихъ глазахъ теперь уже нельзя было замѣтить ни тѣни безпокойства. Оно было внушительно важно, мирно, величаво и вмѣстѣ съ тѣмъ просто.

Поздно. Меня теперь ничѣмъ нельзя уже ни обрадовать, ни опечалить, ни удивить, ни испугать, — казалось, говорило это лицо.

Глафира вздрогнула, помертвѣла и выпустила изъ своей руки руку дѣвочки. Она сразу точно не поняла того, что совершилось, или не вѣрила себѣ.

Дѣвочка ничего не понимала, но дрожала, какъ въ лихорадкѣ.

Глафира почувствовала, какъ этотъ ледяной взглядъ съ головы до ногъ обдалъ ее непріятнымъ подкожнымъ холодомъ. На одно мгновеніе ей показалось, что этотъ взглядъ приковалъ ее къ себѣ и она не въ состояніи будетъ двигаться съ мѣста, крикнуть.

Быстрымъ усиліемъ она закрыла глаза и отскочила къ двери.

Дѣвочка съ крикомъ также бросилась вонъ, испуганная страшнымъ видомъ Глафиры.

Въ дверяхъ Глафира столкнулась съ Мисаиломъ. Если бы онъ не стиснулъ ей въ этотъ моментъ руку, у нея вырвался бы изъ груди крикъ ужаса.

Мисаилу не надо было словъ, чтобы угадать все сразу.

Быстро подавъ Глафирѣ стаканъ съ водой, Мисаилъ согнулся къ ней и нервно прошепталъ:

— Стой здѣсь. Не пускай никого. Ключъ у нея?

Но Глафира все еще не могла говорить и дрожащей рукой подносила стаканъ къ губамъ.

Челюсти ея прыгали, зубы стучали о стекло, и вода брызгала на лицо и подбородокъ. Вмѣсто отвѣта она только судорожно качала головой.

Мисаилъ бокомъ юркнулъ въ дверь, плотно затворилъ ее за собою и бросился къ умершей, вытянувъ голову впередъ, боясь, не ошиблась ли Глафира.

Большіе мертвые глаза встрѣтились съ его глазами. Онъ поспѣшилъ отвести отъ нихъ свой взглядъ и, стараясь не глядѣть на трупъ, сунулъ руку подъ подушки, шаря ключи, согнувъ свою большую, здоровую спину.

Безжизненная голова то поднималась, то опускалась отъ движеній его руки, какъ-будто равнодушно кивала въ знакъ согласія, подтверждая то, что ясно говорило все лицо: меня нельзя теперь ни обрадовать, ни огорчить, ни удивить, ни испугать.

Подъ подушкой ключа не было.

Мисаилъ опустился на колѣни передъ трупомъ, словно молилъ его отдать то, что теперь ему уже было не нужно... ключи. Руки его нетерпѣливо скользнули вдоль трупа. Онъ почувствовалъ что-то холодное и жесткое. Содрогнувшись, онъ отдернулъ руки. Затѣмъ, снова сдѣлавъ надъ собой страшное усиліе, засунувъ ихъ подъ тѣло покойницы и слегка приподнявъ его, развелъ руки въ обѣ стороны. Тѣло казалось ему страшно тяжелымъ и какъ бы хотѣло прищемить къ постели его руку, но это ему не удалось.

Ключей все не было. Онъ вырвалъ руки.

Его охватило отчаяніе, ужасъ и злоба. Онъ готовъ былъ швырнуть трупъ съ кровати. Ему казалось, что покойница издѣвается надъ нимъ, чувствуя свою силу, силу смерти, и невыносимо растягиваетъ время, чтобы истерзать его жесткимъ упорствомъ.

Ему казалось, что прошло уже очень много времени, что съ мгновенія на мгновеніе должно совершиться что-то чудовищно страшное. Каждый ничтожный звукъ принималъ для его слуха ужасающую силу и смыслъ.

Онъ сдернулъ съ покойницы одѣяло.

Передъ нимъ лежало костлявое тѣло, худое и длинное, необыкновенно длинное. Вытянутыя голыя ноги и руки особенно удлиняли его. Ему внезапно представилось, что тѣло это сейчасъ подпрыгнетъ и, ощеривъ желтые зубы, покойница вскочитъ на худыя голыя ноги и съ дикимъ хохотомъ вцѣпится въ него острыми, отросшими за болѣзнь ногтями.

Мисаилу захотѣлось убѣжать. Но при видѣ костлявыхъ пальцевъ, которые онъ представлялъ вцѣпившимися въ свою шею, остановился.

Въ лѣвой рукѣ, на указательномъ скрюченномъ пальцѣ висѣли оба ключа.

Мисаилъ бросился къ шкафу и сразу попалъ соотвѣтствующимъ ключомъ въ скважину.

Раздался легкій звонъ, но Мисаилу показалось, что надъ ухомъ его ударили въ пронзительно-сильный колоколъ. Онъ выхватилъ оттуда шкатулку и сталъ отпирать ее тутъ же вторымъ ключомъ. Но рука дрожала и прыгала. Ключъ не попадалъ въ отверстіе.

Онъ хотѣлъ броситься со шкатулкой вонъ, но за дверью ему показался разговоръ.

Онъ собралъ послѣднія усилія и счастливо попалъ въ отверстіе ключомъ.

Опять раздался звонъ, но ужъ слабѣе, и шкатулка открылась.

Мисаилъ, ничего не разбирая, засунулъ туда обѣ руки.

Вдругъ, дверь отворилась.

Первой мыслью Мисаила была выпрыгнуть въ окно, но окно было закрыто.

Онъ прижалъ бумаги подъ мышку, подъ поддевку, и устремилъ почти безумный взглядъ на дверь, готовый убить всякаго, кто попробуетъ отнять у него драгоцѣнную добычу.

Передъ нимъ, пугливо косясь на покойницу, стоялъ Кириллъ.

— Такъ-то, — шепталъ онъ дрожащими посинѣлыми губами.— Такъ-то. Одинъ хотѣлъ всѣмъ завладѣть. Злодѣй... не допущу.

Онъ весь трясся и брызгалъ слюной.

Мисаилу все это показалось въ первое мгновеніе бредомъ, но Кириллъ потянулся къ шкатулкѣ и жадно схватилъ лежавшія на днѣ радужныя бумажки.

— Не тронь, убью! — прошипѣлъ, задыхаясь, Мисаилъ. — Все мое!

Онъ схватилъ тяжелую желѣзную шкатулку и поднялъ ее съ размаха надъ головой Кирилла.

Тотъ съежился въ комокъ и грузно присѣлъ, закрывая лицо руками.

Захваченныя Мисаиломъ бумаги упали у него изъ-подъ мышки и кучей разсыпались по полу, вмѣстѣ съ кипой радужныхъ кредитныхъ билетовъ.

Глафира, онѣмѣвшая въ дверяхъ въ ожиданіи убійства, при видѣ разсыпавшихся по полу денегъ и документовъ, бросилась на полъ и стала порывисто сгребать ихъ къ себѣ обѣими руками.

Около нея мгновенно очутился Мисаилъ и, хватая то одинъ, то другой драгоцѣнный листокъ, судорожно мялъ его, запихивая въ карманы.

Кириллъ тоже ухватился было за какія-то бумаги, но Мисаилъ отшвырнулъ его, и тотъ упалъ навзничь тяжело и грузно, какъ мѣшокъ съ мукой.

— Изверги! Злодѣи! Кричать буду... Ограбили... Ограбили...

— Пикни... Убью. — сверкнулъ на него глазами Мисаилъ.

Лицо Кирилла изъ злобно испуганнаго мгновенно стало жалкимъ и униженно-молящимъ. Только въ глазахъ по-прежнему свѣтилась ненасытная жадность.

— Братецъ... Глаша... Пожалѣйте... За что же оби-

дѣли? Вмѣстѣ вѣдь. Подѣлитесь хоть крохами. Пригожусь. Вѣдь векселя мои тамъ. Самъ видѣлъ.—Бормоталъ онъ, всхлипывая, опускаясь на колѣни и ползая передъ Глафирой и Мисаиломъ.

— Такъ-то оно лучше, — сквозь зубы процѣдилъ съ злорадствомъ Мисаилъ, торопливо одергивая свою одежду съ оттопыренными, набитыми деньгами и бумагами карманами.— Будешь покоренъ, не обижу.

Теперь онъ вполнѣ овладѣлъ собой и, быстро сунувъ желѣзную шкатулку въ шкапъ, проворно затворилъ его и замкнулъ оставшимся въ скважинѣ ключомъ, въ то время какъ Глафира покрывала покойницу одѣяломъ.

— Такъ-то оно лучше будетъ, — все еще тяжело дыша, повторилъ Мисаилъ и, съ горделивымъ сознаніемъ ловко сдѣланнаго огромной важности дѣла, однако, все еще не безъ опаски, оглянулся кругомъ.

Чья-то тѣнь мелькнула за окномъ. Онъ бросился туда, проворно открывъ его и высунувъ наружу голову.

Изъ сада влажной волной хлынулъ въ комнату свѣжій воздухъ, полный аромата сирени и еще какихъ-то ласковыхъ и нѣжныхъ запаховъ. Вмѣстѣ съ этимъ благоухающимъ дыханіемъ майской ночи въ окно проникли смутные шорохи и звуки. Пламя лампадки пугливо заколебалось, и уродливыя тѣни запрыгали по угламъ и стѣнамъ комнаты. Пронзительнымъ взглядомъ окинулъ Мисаилъ садъ: никого не было. Ничего не было видно кромѣ свѣтляковъ, свѣтящихся въ травѣ, какъ волшебные фонарики гномовъ. Мисаилъ жадно вздохнулъ нѣсколько разъ полной грудью и подставилъ разгоряченное, пылавшее лицо прохладному вѣтерку.

— Это, видно, мнѣ такъ показалось, — рѣшилъ онъ, все болѣе и болѣе успокаиваясь.

Обернувшись, онъ прежде всего увидѣлъ напряженно-вопросительные взгляды Кирилла и Глафиры...

— Ничего... Это такъ... Померещилось мнѣ...— неб-

режно и устало уронилъ онъ и ужъ готовъ былъ улыбнуться, какъ, вдругъ, увидѣлъ, какъ Глафира, въ ужасѣ, широко открыла глаза, не сводя ихъ съ лица покойницы и изъ ея полуоткрытаго рта вырвалось невольное восклицаніе.

— Ну, что тамъ еще? — невольно и тревожно воскликнулъ Мисаилъ, отходя отъ окна и приглядываясь къ лицу покойницы.

— Пятна! Пятна!.. Господи, спаси и помилуй!—простоналъ Кириллъ, съ трепетомъ закрывая одутловатое и еще мокрое отъ слезъ лицо руками.

Мисаилъ поблѣднѣлъ и почувствовалъ, что его точно кто-то ударилъ въ голову.

Лицо покойницы все было покрыто какими-то зловѣщими синими пятнами...

Улика... Ядъ! угрожающей догадкой пронеслись у него въ умѣ эти два слова, и онъ схватился за желѣзный прутъ кровати, чтобы не упасть.

## V.

Это неожиданное открытіе страшно поразило Похвисневыхъ.

Покойница точно пожелала отмстить своимъ убійцамъ послѣ смерти.

Передъ ними, какъ пугающій призракъ, сразу выросъ вопросъ, какъ скрыть теперь, хоть на время, отъ подозрительныхъ глазъ постороннихъ людей это высохшее недвижное тѣло и лицо, покрытое предательскими пятнами. Одинъ случайный взглядъ чужого человѣка, даже взглядъ прислуги, могъ погубить ихъ и выдать съ головой.

Такимъ образомъ, неожиданно выросшая опасность, грозившая всѣмъ троимъ, заставляла ихъ забыть о

только что происходившихъ раздорахъ и опять соединиться вмѣстѣ для дружнаго огражденія себя отъ угрожающей имъ кары.

Кириллъ до того растерялся, что почти не могъ говорить. Онъ заикался, взмахивалъ руками и безнадежно крутилъ головой. На нѣсколько мгновеній онъ даже расхныкался было совсѣмъ и чуть-ли не намекнулъ, что лучше ужъ самимъ пойти, куда слѣдуетъ, и покаяться.

— Нечего хныкать-то, — круто отрѣзалъ Мисаилъ. — Любилъ кататься, люби и саночки возить.

Глафира враждебно и насмѣшливо поджала губы.

— Ну, ты коренникъ, тебѣ и впрягаться теперь пристало, — обратилась она къ Мисаилу. — А мы что-же... Мы на пристяжкѣ все время шли.

— Ты хоть и пристяжка, а по трое коренниковъ за собой ведешь, — грубо отвѣтилъ Мисаилъ. — Жалко, что теперь не время намъ разбираться, ну да это не уйдетъ. Дѣло важнѣе есть. Вотъ что, — таинственно окинулъ онъ обоихъ взглядами. — Завтра я буду хлопотать о томъ, чтобы намъ покойницу разрѣшили въ свинцовый гробъ замуравить и на родину отвезти.

— О-охъ, Мати Царица Небесная! — вздохнулъ Кириллъ.

— Сколько бы мнѣ это ни стоило, а я своего добьюсь! — категорически заявилъ Мисаилъ.

— А нельзя ли докторское свидѣтельство добыть? — нерѣшительно спросила Глафира. — Это было бы куда скорѣе, да и хлопотъ меньше.

— Скоро да не споро. На какого доктора нарвешься. Другой такое свидѣтельство дастъ, что вмѣсто покойницы-то себя съ нимъ похоронишь.

— На деньги все можно купить, — возразила Глафира. — Золотой ключикъ всѣ замки отпираетъ. Да можетъ статься еще *это* и не такъ страшно. Можетъ, это отъ болѣзни, а не отъ лѣкарства нашего.

— А вправду, можетъ, и отъ болѣзни, — обрадовался Кириллъ.

Мисаилъ разсмѣялся какъ-то себѣ въ носъ:

— Отъ болѣзни. А болѣзнь-то отъ чего, коли не отъ лѣкарства нашего! Э, да что попусту языкомъ зубы чесать. Отъ болѣзни или отъ чего прочаго, а намъ не подходитъ объ этомъ не только доктора спрашивать, а и заикаться-то другимъ. До тѣхъ поръ, пока я не добьюсь разрѣшенія, не смѣть впускать къ ней никого. Это на твоей обязанности лежитъ, — обратился онъ къ Глафирѣ. — Попъ ли придетъ, докторъ-ли, — все едино, не пускать.

— Какъ же мнѣ сказать имъ?

— Какъ сказать! Хитрость-то не велика. Сказать: спитъ, молъ. — Доктору скажи, что спитъ, да и не велѣли никого впускать, окромя священника, а попу — никого, окромя доктора.

Разговоръ этотъ происходилъ сдержаннымъ полушопотомъ въ столовой, гдѣ на столѣ, уставленномъ по обыкновенію тарелками съ дымящимся ужиномъ, кипѣлъ самоваръ.

Никто изъ присутствующихъ такъ и не притронулся ни къ кушаньямъ, ни къ чаю.

— Какъ хотите, такъ и дѣлайте, — покорно соглашался со всѣми Кириллъ. — Его терзала и грызла мысль, что векселя, данные имъ Прасковьѣ Ильинишнѣ, находятся теперь у Мисаила. Онъ украдкой поглядывалъ порой на оттопырившіеся карманы брата и въ груди его закипала горькая злоба и обида. Богъ знаетъ, на чье имя были переписаны эти векселя. Вѣрнѣе всего, на имя Глафиры, какъ ближайшее къ Кириллу лицо.

Обѣщаніе Мисаила не забыть брата, въ случаѣ если онъ поведетъ себя тише воды, ниже травы, мало утѣшало Кирилла. Онъ отлично зналъ, что Мисаилъ не поступится ни однимъ грошемъ изъ того, что ему удастся сорвать въ наслѣдствѣ Прасковьи Ильинишны, а

также Кириллъ не сомнѣвался въ томъ, что въ случаѣ благополучныхъ похоронъ, Мисаилъ все наслѣдство, всю эту чортову дюжину милліоновъ, приберетъ къ рукамъ своимъ вмѣстѣ съ Глафирой, а, пожалуй, въ концѣ-концовъ, отмститъ Кириллу за то, что тотъ, когда-то, въ свою очередь, благодаря имѣющимся у него деньгамъ, главенствовалъ надъ братомъ и даже заставилъ его ради денегъ поступиться своей женой.

Между тѣмъ, время незамѣтно приближалось къ полночи. Самоваръ давно простылъ, также какъ и кушанья. Кухарка, единственная прислуга на весь домъ, съ удивленіемъ стала убирать со стола.

Когда она унесла послѣднюю чашку, Мисаилъ замѣтилъ какъ бы про себя:

— Завтра же поутру эту дуру прогнать надо. Все лишній человѣкъ. Сказать, что пропало что-нибудь, и прогнать.

Глафира не могла не согласиться съ этимъ замѣчаніемъ. При этомъ она вспомнила о двухъ другихъ лишнихъ людяхъ — Анфисѣ и Василіѣ. Конечно, относительно этихъ нечего было особенно безпокоиться. Глухонѣмой ужъ по самой природѣ своей безопасенъ, а Анфиса? Ее очень скоро можно будетъ заставить забыть о шестилѣтней нѣгѣ и холѣ около Прасковьи Ильинишны въ качествѣ ея пріемной дочери, тѣмъ болѣе что дѣвочка сама изъ низкой среды: отецъ ея работалъ на Похвистневскихъ пріискахъ старателемъ, мать — тоже. Дѣвочка была круглая сирота.

Глафира еще ранѣе рѣшила круто измѣнить судьбу Анфисы и отправить ее на «свое мѣсто», то-есть на кухню, тотчасъ же по смерти Прасковьи Ильинишны, а потомъ? Потомъ выдастъ замужъ за надежнаго и безопаснаго человѣка, хотя бы за того же самаго глухонѣмого.

Однако, вспомнивъ о дѣвочкѣ, Глафира нѣсколько встревожилась при мысли, что оставила ее безъ вниманія

какъ разъ тогда, когда испуганно вскрикнула въ комнатѣ покойницы, впервые увидавъ ее мертвой. Дѣвочка могла разсказать кому-нибудь объ этомъ событіи тотчасъ же, или завтра. Хотя бы той же кухаркѣ, которая завтра, когда ее выгонятъ, можетъ со злобы создать изъ этого разсказа большую опасность для нихъ. А, можетъ быть, дѣвочка не сообразила даже ничего, заспитъ это событіе и завтра даже не вспомнитъ о немъ?

Глафира встала и направилась въ ту комнату, гдѣ спала Анфиса, посмотрѣть на нее.

— Куда? — остановилъ ее мужъ.

— Къ Анфисѣ Николаевнѣ, — презрительно-насмѣшливо отвѣтила Глафира. — Къ сонаслѣдницѣ моей.

Кириллъ такъ и встрепенулся при этомъ. Его возбужденному воображенію уже почудилось новое преступленіе.

— Зачѣмъ? Не тревожь! Вѣдь спитъ она, — встревоженно и безсвязно забормоталъ онъ, привставая со стула.

Глафира поняла его и захохотала.

— Ахъ, Аника воинъ! Тебѣ бы повойникъ на голову и просвиры печь.

— Приходи сейчасъ же, — строго приказалъ мужъ.

— Зачѣмъ это?

— Караулить покойницу будешь.

— Не убѣжитъ.

— Не объ томъ рѣчь.

— И не украдутъ.

— Дура!

Глафира только пренебрежительно передернула плечами.

— Такъ ты съ умомъ-то своимъ и карауль ее.

— Мнѣ завтра поутру надо рано вставать, да дѣло дѣлать.

— Ну, пускай Кириллъ караулитъ.

Кириллъ поблѣднѣлъ.

При послѣднихъ словахъ Глафиры онъ и руками, и ногами запротестовалъ.

— Нѣтъ, нѣтъ! Спаси Господи и помилуй. Мнѣ подъ одной крышей-то съ ней и то не въ моготу оставаться: все мерещится, да мерещится... Куда же ужъ тутъ въ одной комнатѣ съ ней спать. Да я ума рѣшусь.

— Зачѣмъ же въ одной комнатѣ, ты можешь здѣсь, у двери лечь.

— Нѣтъ, нѣтъ.

— Да запереть ее снаружи, вотъ и все. Никто не войдетъ,— отвѣтила Глафира. — А окна-то занавѣской закрыли?

— Закрыли.

— И заперли?

— И заперли.

— Ну, вотъ и ладно. А теперь и вправду спать надо расходиться. Утро вечера мудренѣе. Утромъ, можетъ быть, отъ пятенъ-то и слѣда не останется.

Глафира оставила братьевъ вдвоемъ. Мисаилъ поднялся, чтобы уходить, и даже потянулся, желая показать, что ему спать хочется, но Кириллу не хотѣлось отпускать его. Онъ жаждалъ имѣть около себя хоть одну живую душу и вплоть до самаго разсвѣта не смыкать глазъ. Поэтому, когда Мисаилъ вознамѣрился уходить, Кириллъ остановилъ его:

— Братъ.

Мисаилъ молча обернулся.

— Пожалѣй меня, братъ,— двинулся къ нему Кириллъ. Лицо его было безпомощно и жалко. Вся фигура казалась какой-то придавленной и измятой.

— Ладно. Сказалъ, что не обижу,— снисходительно отвѣтилъ тотъ, — и векселя возвращу тебѣ, и окромя того не оставлю, только условіе: какъ прійдутъ завѣщанія Иннокентія къ тебѣ,— мнѣ ихъ отдай.

— Я ужъ обѣщалъ Глафирѣ.

— Да не Глафирѣ, а мнѣ. Это большая разница.

Кириллу это было рѣшительно все-равно. Онъ не дерзнулъ бы огласить эти завѣщанія, такъ какъ страшился мести со стороны Мисаила. Онъ до сихъ поръ не могъ забыть, какъ въ дѣтствѣ Мисаилъ отрубилъ ему, какъ бы нечаянно, палецъ въ отместку за то, что Кириллъ обнаружилъ украденные Мисаиломъ у отца серебряные часы.

— Насъ съ тобой Прасковья обидѣла, — пояснилъ Мисаилъ,— а Глафирѣ седьмую часть завѣщала, такъ она пожалуй, чего добраго, на попятный вздумаетъ итти, а насъ оставитъ съ носомъ. Чуешь?

Но Кириллъ такъ усталъ отъ перенесенныхъ страданій, что едва-ли даже понималъ то, что объяснялъ ему Мисаилъ. Онъ только слышалъ слова и видѣлъ высокую плотную фигуру Мисаила, и ему казалось, что онъ все видитъ и слышитъ во снѣ.

— Ты жди Глафиру здѣсь,— услышалъ онъ послѣднія слова Мисаила. — Уходить отсюда все же нельзя.

Кириллъ тяжело опустился на стулъ, закрылъ лицо руками и уронилъ голову на столъ. Онъ не то плакалъ, не то дремалъ.

Между тѣмъ Глафира, покинувъ столовую, подошла къ двери своей спальни, гдѣ спала и Анфиса, и осторожно отворила ее.

Въ комнатѣ былъ полумракъ, и свѣтилась въ образницѣ по обыкновенію лампада. При слабомъ свѣтѣ ея Глафира разглядѣла на большой кровати тщедушное тѣло Анфисы. Лицо ея было обращено къ Глафирѣ и смутно рисовалось во мракѣ своими кроткими и чистыми чертами.

Не притворяется ли ужъ? — шевельнулось подозрѣніе у Глафиры, и она пытливо взглянула въ лицо дѣвочки.

Но дѣвочка несомнѣнно спала... Ея дыханіе было тихо и ровно. При сіяніи блѣдной лампады личико казалось неземнымъ.

У Глафиры въ душѣ шевельнулось что-то похожее

на умиленіе и жалость къ этому слабому, безпомощному созданію. Она не могла отвести взгляда отъ свѣтлаго дѣтскаго лица, и, мало-по-малу, ея большіе, красивые и холодные глаза подернулись легкимъ туманомъ.

Въ Глафирѣ пробуждалось новое для нея чувство нѣжности къ ребенку. Черты ея лица стали мягки и пріятны. Она осторожно приблизилась къ дѣвочкѣ, благословила ее и, тихо склонившись къ ея кроткому, доброму личику, поцѣловала ее въ лобъ и затѣмъ также осторожно удалилась.

Въ столовой она уже не застала Мисаила и была этимъ очень довольна, такъ какъ не удержалась бы, чтобы не высказать ему свое рѣшеніе относительно Анфисы, а на это предвидѣлись съ его стороны неизбѣжныя возраженія, которыя могли бы привести къ ссорѣ.

Кириллъ грузно сидѣлъ на стулѣ; голова его утонула въ рукахъ и плечахъ, покоившихся на столѣ. Очевидно онъ спалъ. Глафира прошла мимо него въ балконную дверь и очутилась на ступенькахъ, выходившихъ въ садъ.

Ночь была теплая, тихая и ясная. Темно-синее небо сверкало, переливалось и дрожало звѣздами, крупными и маленькими, серебряными и золотыми, голубоватыми и оранжевыми. Онѣ казались мохнатыми брилліантовыми паучками, которые шевелили своими лучами, какъ лапками и ткали въ воздухѣ тонкую, неуловимую паутину воздушныхъ нитей, окутывая ею всю дремотную землю, весь огромный городъ, шумъ котораго доносился въ этотъ глухой уголокъ, какъ далекій прибой волнъ, засыпающихъ подъ сіяніемъ луны.

Сочные ароматы сада, среди которыхъ преобладалъ запахъ распустившихся листьевъ и сирени, бодрящій и ласковый,— эти ароматы такъ и хлынули въ грудь Глафиры, точно хотѣли спрятаться тамъ отъ луннаго свѣта и разлиться въ крови по всему тѣлу томящею нѣгой и лѣнью.

У Глафиры голова слегка закружилась отъ этого аромата. Она прислонилась къ деревянному столбу, поддерживавшему навѣсъ подъ террасой, и обхватила его рукою. Тихія и сладостныя мысли забродили въ ея головѣ. Ей захотѣлось счастія, такого же мирнаго, какъ эта ночь, поцѣлуевъ и ласкъ, такихъ же сладостныхъ и теплыхъ, какъ прикосновеніе этого вѣтра къ щекамъ, губамъ, глазамъ, шеѣ, волосамъ. Красивое и ясное лицо Петра промелькнуло передъ ея глазами. Глафирѣ страстно захотѣлось, чтобы онъ былъ сейчасъ здѣсь съ нею.

— Красавецъ мой! Жизнь моя! Счастье мое! Дѣтка моя! — зашептали ея губы. Черты Петра опять промелькнули передъ нею, но собрать ихъ воедино она не могла. Она представляла себѣ его глаза, синіе, большіе глаза съ длинными рѣсницами, губы, лобъ, носъ, кудри, но все лицо сразу она представить себѣ не могла, и это ее мучило.

Хоть бы на минутку увидать, прижаться къ нему, поцѣловать его: грезила она въ полузабытьи. Какое бы это теперь было счастіе! Да, именно теперь, когда ей особенно была бы драгоцѣнна ласка любимаго человѣка.

Луна поднялась довольно высоко. Она была не полная, а какъ бы съ легка стаявшимъ краемъ. Вершины деревьевъ, кудрявившіяся молодыми, еще не совсѣмъ расправившимися листиками, казались облитыми серебристой влагою и блестѣли. Лунныя полосы пробивались сквозь листву и падали какъ разъ передъ Глафирой на усыпанную пескомъ дорожку, какъ узорчатыя пятна.

Каждый листикъ и вѣточка, захваченные полосами луннаго свѣта, видѣлись въ воздухѣ съ необычайной ясностью. Кажется, можно было разсмотрѣть каждый ихъ зубчикъ, каждый изгибъ.

— Господи, какъ хорошо! — сорвалось у Глафиры и,

заломивъ надъ головою руки, она стала спускаться въ аллею по ступенькамъ, еле передвигая ноги и волоча шуршащее о ступени платье.

Изъ аллеи на нее пахнуло влажнымъ сумракомъ и тишиной.

Глафира сдѣлала нѣсколько шаговъ и, вздрогнувъ, невольно остановилась.

На аллеѣ, въ полосѣ луннаго свѣта, неподвижно стояла на колѣняхъ какая-то фигура. Въ первую минуту Глафирѣ показалось, что это видѣніе, но, вглядѣвшись въ эту фигуру пристальнѣе, она узнала ее: глухонѣмой.

Что онъ тутъ дѣлаетъ? Молится. Но нѣтъ, его движенія нисколько не похожи на движенія молящагося человѣка. Онъ то воздѣвалъ руки къ небу, то безпомощно опускалъ ихъ, или стискивалъ на груди до того, что пальцы его хрустѣли. Глаза его были обращены къ небу. Порою изъ груди его вырывались смутные, страстные звуки, похожіе на мычанье. Казалось, онъ по своему разговаривалъ съ звѣздами, просилъ отъ нихъ отвѣта, и онѣ какъ-будто отвѣчали ему своими разноцвѣтными лучами.

Лицо глухонѣмого въ лунномъ свѣтѣ казалось мертвенно-блѣднымъ, взволнованнымъ и торжественно-свѣтлымъ. Когда онъ воздѣвалъ руки къ небу, можно было думать, что вотъ-вотъ онъ поднимется и улетитъ въ этой полосѣ луннаго свѣта туда, къ далекимъ блистающимъ звѣздамъ.

Глафирѣ стало страшно. Она боялась вслушаться въ это глухое и прерывистое мычаніе, потому что ей чудился въ немъ трагическій и ужасающій смыслъ.

— М-м... м-м-м...— звучалъ голосъ глухонѣмого, и ночь какъ-будто понимала его, затаила дыханіе и внимательно прислушивалась, боясь потерять хотя бы одинъ звукъ при переходѣ отъ одного тона къ другому.

Глафира сдѣлала почти сверхъестественное усиліе и шевельнулась. Ей хотѣлось бѣжать скорѣе прочь отсюда, отъ этого мѣста, гдѣ совершалось недоступное ей, но великое таинство. Глухонѣмой поднялся съ колѣнъ, выпрямился и, потрясая руками въ воздухѣ, издалъ жалобный вопль, въ которомъ слышалось столько страданія, отчаянія и тоски, что Глафира задрожала съ ногъ до головы. Не успѣла она опомниться отъ этого страха, какъ глухонѣмой упалъ ницъ на землю и изъ груди его вырвалось глухое и мучительное рыданіе. Глафира не выдержала и бросилась къ нему, порывисто дыша и повторяя:

— Что съ тобой, Вася? Мальчикъ... Бѣдный... успокойся...

Она встала рядомъ съ нимъ на колѣни и стала поднимать мальчика. Но съ первымъ же ея прикосновеніемъ глухонѣмой оборвалъ рыданіе и быстро поднялся на ноги.

Поднялась и Глафира. Они стояли теперь не больше чѣмъ шага на два другъ отъ друга.

Глухонѣмой нисколько не удивился, что въ такой неурочный часъ видитъ передъ собой Глафиру. Его глубокіе и проникающіе въ самую душу глаза остановились на Глафирѣ. Онъ стоялъ по-прежнему въ полосѣ луннаго свѣта и еще больше, чѣмъ прежде, показался Глафирѣ видѣніемъ.

— Мм... м-м-м... м-м.. — вырвалось у него и, протягивая лѣвую руку по направленію къ дому, гдѣ лежала покойница, онъ потрясалъ этою рукою и въ его жестѣ было что-то торжественное и грозное.

Его лицо было полно неземнымъ вдохновеніемъ и ясностью. Онъ точно указывалъ ей на ея жертву и призывалъ къ покаянію. Затѣмъ онъ перевелъ свою руку къ звѣздамъ и, указывая то на нихъ, то на пріютъ покойницы, словно призывалъ эти звѣзды въ свидѣтели надъ головою этой несчастной, или хотѣлъ ихъ призвать къ

себѣ на помощь, чтобы убѣдить эту слабую женщину покаяться и спасти себя.

У Глафиры дрогнуло сердце. Еще моментъ, и она, рыдая, упала бы къ его ногамъ или выбѣжала на улицу, чтобы закричать всѣмъ о своемъ преступленіи.

## VI.

Черезъ два дня на станцію Рязанской желѣзной дороги прибылъ свинцовый гробъ, который сопровождалъ Мисаилъ. Жену и брата онъ отправилъ во-свояси домой, такъ какъ они могли только помѣшать ему послѣдніе концы спрятать въ землю.

Вѣсть о смерти Прасковьи Ильинишны была встрѣчена въ городѣ знакомыми, которыхъ впрочемъ было немного у Похвистневой, почти равнодушно. Зато на пріискахъ всѣ, начиная съ самыхъ бѣдныхъ и незамѣтныхъ рабочихъ, были очень огорчены, особенно когда узнали, что пріиски и вообще все имущество Похвистневой перешли въ руки Мисаила и Кирилла.

Анфису и глухонѣмого Глафира поселила въ хоромахъ Прасковьи Ильинишны, куда переселилась и сама. Глухонѣмой былъ взятъ изъ училища только на вакаціонное время. Въ августѣ же онъ снова долженъ былъ возвратиться въ Москву.

Кириллъ отказался поселиться въ томъ домѣ, гдѣ поселилась Глафира, и остался тамъ же, гдѣ жилъ и прежде. Онъ замѣтно похудѣлъ въ теченіе нѣсколькихъ дней. Его жидкая борода посѣдѣла и какъ бы повылѣзла. Глаза приняли такое выраженіе, точно онъ каждую минуту боялся увидѣть что-то страшное.

Цѣлые дни онъ не выходилъ изъ своей комнаты и, надѣвъ бѣлый балахонъ, молился по цѣлымъ часамъ, клалъ земные поклоны и колотилъ себя въ грудь руками.

У Кирилла теперь зародился безпокойный страхъ по

отношенію къ брату. Даже при одной мысли о немъ онъ чувствовалъ въ тѣлѣ и особенно на шеѣ томящее ощущеніе, точно горло ему слегка сдавливали жесткіе желѣзные пальцы Мисаила.

Только по вечерамъ Кириллъ выходилъ на крылечко, гнусилъ про себя священные стихи и кормилъ собакъ корочками сухого хлѣба.

По ночамъ онъ не спалъ. Кромѣ лампады въ его горницѣ постоянно свѣтилась лампа. Засыпалъ онъ тогда, когда всѣ начинали пробуждаться, на разсвѣтѣ, но сны его больше походили на дрему, чѣмъ на сонъ, и не приносили освѣженія утомленному тѣлу и душѣ.

Одновременно съ этимъ у него возросла недовѣрчивость и подозрительность къ людямъ.

Прежде, бывало, онъ любилъ принимать у себя разныхъ старцевъ, странниковъ и странницъ. Теперь онъ подозрительно посматривалъ на каждаго нищаго. А ихъ, какъ нарочно, въ послѣднее время являлось много на дворъ, потому что Глафира не жалѣла милостыни на поминъ души усопшей новопреставленной рабы Параскевы.

Отношеніе къ нему Глафиры давило его, какъ бремя. Глафира первые два дня на себя была не похожа: мрачна, печальна и раздражительна до-нельзя. Кириллъ приписывалъ ея душевное состояніе тѣмъ же причинамъ, которыя заставляли томиться и тосковать его самого, но онъ ошибался.

Глафиру прежде всего мучило то, что, несмотря на посланное Петру въ день ея пріѣзда увѣдомленіе, конторщикъ не являлся вотъ уже цѣлыхъ два дня. Каждый часъ ожиданія приносилъ ей новыя и новыя мученія; она то доводила до бѣшенства себя подозрѣніями, что Петръ могъ измѣнить ей, забыть ее, хотя времени ихъ разлуки прошло такъ мало, что это казалось невѣроятнымъ, то ей приходило въ голову, что онъ заболѣлъ, и, можетъ быть, въ тѣ самыя минуты, онъ лежитъ тамъ,

одинокій, при смерти, когда она негодуетъ на него за его медленность.

Мисаилъ могъ пріѣхать еще не скоро, такъ какъ въ Сибири ему нужно было обдѣлать дѣла по имѣнію умершей, находившемся тамъ, но все же Глафирѣ было до боли обидно, что у нея пропадаютъ такіе чудные, свободные дни, когда ни она, ни Петръ не могли ничѣмъ быть стѣснены и пользовались бы своей любовью широко и свободно, такъ какъ Мисаилъ все же стѣснялъ Глафиру, а особенно ея возлюбленнаго.

Въ концѣ-концовъ, Глафира не выдержала и рѣшила, что завтра же отправится на пріиски. Третью ночь ей предстояло провести одной въ томленіи и безплодныхъ лихорадочныхъ грезахъ. Въ этотъ день, по утру, явился посланный Глафирою съ пріиска, проведя тамъ цѣлыя лишнія сутки, и привезъ отъ Петра отвѣтъ, что онъ будетъ, какъ только кончитъ разсчетъ съ рабочими, пожелавшими перейти на другой пріискъ съ переходомъ владѣній Похвистневой въ другія руки.

Глафиру это возмутило. Она сочла отвѣтъ Петра за пустую отговорку. Но теперь ничто уже не могло поколебать ея рѣшенія самой отправиться рано по утру на пріискъ, буде Петръ не предупредитъ ее. Къ тому же и предлогъ былъ уважительный: умиротворить рабочихъ, собравшихся уходить въ горячее лѣтнее время и выговорить за ослушаніе Петру.

Чтобы какъ-нибудь скрасть у себя время, Глафира въ эту ночь рѣшила раньше лечь спать. Передъ сномъ она прошла прогуляться, чтобы хоть этою прогулкой утомить себя и пришла на то мѣсто, гдѣ они видѣлись съ Петромъ въ послѣдній разъ.

Эти воспоминанія растомили ее. Она легла навзничь, заложивъ руки за голову, на скудную траву, пахнувшую полынью, богородициными слезками и еще какими-то дикими травами, которыя странно успокаивали расходившуюся кровь и, вмѣсто жаркихъ порывовъ къ

любви и чувственнымъ наслажденіямъ, возбуждали смутное сожалѣніе о неизвѣстномъ и жажду тихаго блаженства и ласкъ, такихъ же мягкихъ и нетревожныхъ, какъ вѣтеръ, облетавшій степь и боязливо вѣявшій въ лицо Глафиры.

Глафира открыла широко свои темные, большіе глаза и посмотрѣла на небо, гдѣ окрашенные закатомъ въ пурпуръ, таяли облачка.

Она слѣдила, какъ измѣнялись ихъ очертанія, напоминавшія то корабль, то ангеловъ, то какихъ-то фантастическихъ чудовищъ. Небо все приняло золотистый оттѣнокъ, переходившій на закатѣ въ фіолетовые тона. Высоко надъ нею жаворонки допѣвали свои трели, словно прощались съ солнцемъ, но они скоро затихли.

Тутъ ей вспомнилась ночь въ саду въ Москвѣ и глухонѣмой. Ей стало какъ-то скучно и почти тошно. Она объяснила себѣ это непріятное состояніе тоской о Петрѣ. Образъ его и мысли о немъ постепенно вытѣсняли изъ ея ума всѣ другія мысли. Она потянулась. Уснуть бы, да во снѣ хоть его увидать: съ раздраженіемъ подумала она и закрыла глаза, но, несмотря на утомленіе, сонъ не приходилъ.

А, можетъ быть, пока я здѣсь лежу, онъ уже пріѣхать успѣлъ: вдругъ, озарила ее надежда.

Глафира быстро открыла глаза и прямо надъ собою увидала кротко мигавшую звѣздочку на успѣвшемъ потемнѣть, но все еще водянисто-синемъ небѣ. Свѣтъ этой звѣздочки еще болѣе укрѣпилъ въ ней эту слабую надежду. Она поднялась на ноги, стряхнула съ платья приставшіе къ нему былинки и листики и, охваченная этой надеждой, заспѣшила домой, дорожа и оберегая то настроеніе, которое овладѣло ею, которымъ она была обязана Петру, обязана своей любовью къ нему. Она хотѣла принести ему это настроеніе, какъ заслуженную дань и, можетъ быть, никогда не жаждала такъ встрѣчи съ нимъ.

Глафира прошла мимо двухъ сараевъ. Около третьяго бродила тощая, паршивая, облѣзлая собака. При видѣ Глафиры собака не испугалась, не залаяла, вообще, не выразила ни своего удовольствія, ни неудовольствія. Она посмотрѣла на неизвѣстную гостью и двинулась къ ней.

Глафира немного испугалась сначала. Ей пришло въ голову, что собака могла быть бѣшеной, она наклонилась, чтобы поднять камень и отогнать отъ себя животное, но собака была отъ нея уже не болѣе, какъ въ двухъ шагахъ.

Глафира остановилась, намѣреваясь швырнуть въ собаку камень.

Собака остановилась также и съ такимъ жалкимъ, умоляющимъ видомъ смотрѣла на Глафиру, что та сразу успокоилась и пошла своимъ путемъ, не выпуская однако же камня изъ руки.

Собака продолжала слѣдовать за нею въ двухъ шагахъ, не смѣя приблизиться.

Затѣмъ животное вяло подошло къ камню, вѣроятно, надѣясь встрѣтить что-нибудь съѣдобное, но, понюхавъ камень, разочарованно отошла и опять послѣдовала за Глафирой. Собака очевидно была голодна.

Глафира искренно пожалѣла, что у нея нѣтъ ни куска хлѣба, чтобы бросить собакѣ, хотя бы затѣмъ, чтобы отвязаться отъ нея. Въ вечернемъ полумракѣ эта худая едва бредущая за нею тѣнь внушала суевѣрное непріятное чувство, не позволявшее ей при этомъ отогнать или обидѣть животное.

Глафира прибавила шагу.

Городъ былъ уже теперь весь на виду. Тамъ и сямъ горѣли огни керосиновыхъ уличныхъ фонарей. Въ домахъ тоже кое-гдѣ свѣтились огни, и они казались звѣздами. Лай собакъ, отрывистая пѣсня, крикъ, звонъ колокольчика, трескъ рѣдкихъ экипажей по мостовой,—

все это вмѣстѣ и порознь доносилось оттуда, смягчаемое разстояніемъ. Казалось, что тамъ былъ другой міръ, отличный отъ того, которымъ дышала эта степь, но Глафира рвалась туда. Она почти и не сомнѣвалась, что Петръ уже ждетъ тамъ ее.

Глафира стала рисовать себѣ картину встрѣчи, представлять себѣ лицо Петра и заранѣе приготовляться къ свиданію съ нимъ.

Какъ ей держать себя съ нимъ въ первыя минуты? Представиться недовольной и холодной, чтобы наказать его за промедленіе? Броситься ему на шею? Глафира была убѣждена, что сдѣлаетъ послѣднее, если при этомъ не будетъ постороннихъ.

Радость ожиданія омрачалась въ ней только мыслью о томъ, какъ непріятно будетъ пораженъ Петръ извѣстіемъ о смерти Прасковьи Ильинишны. Что она отвѣтитъ на его неизбѣжные вопросы? Постарается выгородить себя и свалить всю вину на мужа и деверя? Доказать, что если она и сдѣлала все это, то только для него, для Петра? Или просто заставить его забыть объ этомъ своими ласками и поцѣлуями и такъ до тѣхъ поръ, пока онъ совсѣмъ не примирится съ этимъ обстоятельствомъ и не выброситъ его вонъ изъ головы?

А, будь, что будетъ, — рѣшила Глафира. — Какъ Богъ на душу положитъ, такъ и скажу! — Тамъ видно будетъ!

Эти мысли такъ охватили Глафиру, что она едва не наткнулась на какую-то огромную, страшную фигуру, которая стояла передъ нею на холмѣ и оттого казалась еще выше.

Глафира испуганно шарахнулась въ сторону, бормоча:

— Съ нами крестная сила! Святъ-святъ Господь Богъ!

Собака метнулась около нея и бросилась къ гиганту съ радостнымъ визгомъ.

— На небѣ власть, сила Господня, на землѣ адъ-преисподня! — глухо забормоталъ гигантъ, тяжело ворочая языкомъ, скосивъ свои огромныя плечи, такъ что правое плечо, черезъ которое была перевѣшена сумка, было чуть-ли не вровень съ лохматой непокрытой головой.

Глафиру охватилъ морозъ, хотя она и узнала сразу этого огромнаго нищаго въ лохмотьяхъ, послѣ обычной фразы, которой онъ начиналъ каждую свою рѣчь. Это былъ юродивый Гриша, извѣстный всему Смиренску, кроткое и доброе существо, чуть-ли не самое уважаемое во всемъ городѣ, особенно простымъ народомъ и купечествомъ, любимое дѣтьми, птицами и животными.

Многіе считали его Божьимъ человѣкомъ и находили въ его словахъ пророческій смыслъ. Особенно онъ эту славу укрѣпилъ за собою лѣтъ десять тому назадъ, когда, по словамъ обывателей, предсказалъ своими безсвязными рѣчами появленіе холеры.

«Летитъ черная птица-верещица, клювъ желѣзный... Сердце клюнетъ. Гу-лю-лю... Твердь, смерть... Зернь... Смертная чернь».

Правда, эту безсвязную фразу онъ съ тѣхъ поръ повторялъ всегда, но вѣра въ него отъ этого не пошатнулась.

Всюду, гдѣ приключалось какое-нибудь несчастіе, Гриша былъ первымъ, точно онъ чуялъ его издалека. Умретъ-ли кто нибудь въ Смиренскѣ, Гриша ужъ тутъ какъ тутъ, кладетъ свои поклоны и бормочетъ безсвязныя рѣчи; пожаръ-ли, иное-ли какое несчастіе, Гриша уже все знаетъ. Кромѣ того Гриша обладалъ удивительною способностью необыкновенно быстро переходить изъ одного мѣста въ другое, часто за десятки верстъ, при чемъ иные суевѣрные люди даже утверждали, что Гриша въ одно и то же время бываетъ чуть-ли ни въ нѣсколькихъ мѣстахъ.

— Здравствуй, Гриша,—ласково обратилась къ юро-

дивому Глафира, но онъ, вмѣсто всякаго привѣтствія, продолжалъ бормотать, не глядя на Глафиру:

— Летитъ черная птица-верещица. Клювъ желѣзный... Сердце клюнетъ. Гу-лю-лю...

У Глафиры снова мурашки забѣгали по тѣлу.

— Шумъ-шумара... Каменъ-юдара...— не двигаясь съ мѣста, бормоталъ юродивый и, доставъ изъ сумки кость длинной, какъ у обезьяны, рукой, далъ ее собакѣ, приговаривая:

— Малыхъ сихъ, малыхъ сихъ... Смерть... Зернь... Смертная чернь... Птица-верещица... Клювъ желѣзный!

— О какой ты птицѣ съ длиннымъ клювомъ говоришь?— тихо спросила юродиваго Глафира, сама не понимая, какъ этотъ вопросъ вырвался у нея.

— О тебѣ... Ты черная птица-верещица,— безсмысленно улыбаясь, отвѣтилъ юродивый.

У Глафиры снова мурашки забѣгали по тѣлу, но она, едва пересиливая себя, спросила:

— За что же ты меня, Гриша, такъ называешь?

— Смерть... Зернь... Смертная чернь...— забормоталъ юродивый:

Все знаетъ: страшной молніей прорѣзала сознаніе Глафиры суевѣрная мысль.

Юродивый стоялъ на холмѣ и палкой чертилъ что-то по землѣ, не спуская своихъ дѣтскихъ и вмѣстѣ съ тѣмъ таинственныхъ глазъ съ лица Глафиры. Она едва могла различить въ темнотѣ черты этого лица, на которомъ большая, всклокоченная, черная борода сбилась въ сторону, но оно рисовалось ей не похожимъ на земныя лица.

— Скажи, Божій человѣкъ, простится ли мнѣ грѣхъ мой?

Она сказала это такъ тихо, что юродивый врядъ ли даже разслышалъ ее, но ей самой казалось, что голосъ ея слышали самыя звѣзды.

— На небѣ власть — сила Господня, на землѣ — адъ

преисподня, — послышался снова голосъ великана, и глаза его взглянули на Глафиру изъ-подъ нахмуренныхъ клочковатыхъ бровей.

Этотъ взглядъ безнадежнымъ холодомъ пахнулъ на Глафиру. Она хотѣла засмѣяться прямо въ глаза юродивому и крикнуть, что не боится его, что не вѣритъ его безсмысленнымъ словамъ, и не могла.

У нея отъ страха подкашивались ноги, но она пересилила его и, дрожащею рукою доставъ изъ кармана серебряную монету, протянула ее юродивому, по привычкѣ прибавляя:

— Помяни, Гриша, Божій человѣкъ, усопшую рабу Параскеву.

Гриша принялъ монету, поглядѣлъ на нее своими маленькими, косыми глазами и бросилъ монету собакѣ.

— Смерть... Чернь... Камень юдара... Шумъ-шумара...

Собака на минуту оторвалась отъ кости, которую жадно глодала, понюхала монету, а затѣмъ снова принялась за ѣду.

Юродивый покачалъ головою и, продолжая бормотать что-то и смѣяться, побрелъ по направленію къ кирпичнымъ сараямъ, покачиваясь въ темнотѣ всѣмъ своимъ огромнымъ тѣломъ.

Собака пошла рядомъ съ нимъ.

— На небѣ власть — сила Господня, на землѣ — адъ преисподня... — донеслись издали до Глафиры глухія слова юродиваго.

Глафира дрожала. Она сама не могла отдать себѣ отчета, почему такъ испугалась Гриши, который никогда комара не обидитъ. Сердце ея колотилось, и она не могла отвести глазъ отъ огромной фигуры до тѣхъ поръ, пока эта фигура съ собакой не слилась съ ночнымъ безлуннымъ сумракомъ.

Тогда Глафира рванулась впередъ и побѣжала въ городъ, какъ безумная, спотыкаясь и задыхаясь отъ волненія и усталости.

Только войдя въ одну изъ людныхъ городскихъ улицъ, она замедлила шагъ и, съ трудомъ переводя дыханіе, присѣла на лавочку.

У своей калитки она снова замедлила шагъ и не сразу постучалась въ кольцо.

Петръ не пріѣзжалъ.

Это извѣстіе такъ поразило Глафиру, что она не хотѣла вѣрить ему. Остатки ея разумнаго и добраго настроенія разлетѣлись сразу. Въ ней закипѣла злоба, и она захотѣла чѣмъ-нибудь отомстить Петру за его жестокое отсутствіе и причиняемыя этимъ мученія ей.

Отказалась отъ ужина и вошла въ спальню.

Вмѣстѣ съ ней въ спальнѣ спала и Анфиса.

Взглядъ Глафиры упалъ на дѣвочку. Она вспомнила, что Петръ любилъ этого ребенка, и ей захотѣлось сорвать на ней свое недовольство Петромъ и страхъ, вызванный юродивымъ.

Дѣвочка спокойно спала. Въ комнатѣ было душно, несмотря на открытыя окна, и она разметалась въ постелькѣ, сбросивъ съ себя одѣяло.

Глафира съ силою хлопнула дверью.

Анфиса испуганно вскрикнула и проснулась.

— Ну, что ты, что орешь? — набросилась на нее Глафира, приближая къ ея лицу свои возбужденные и сверкающіе злобой глаза.

Дѣвочка испуганно запрепетала.

Глафира обернула вокругъ пальца ея волосы и рванула ихъ.

— Ай! — вырвался крикъ у ребенка.

— Опять кричать! Такъ вотъ же тебѣ! Вотъ!

Она правой рукой продолжала рвать волосы дѣвочки, а лѣвой нѣсколько разъ ударила ее по щекѣ.

Дѣвочка перестала отъ испуга кричать. Она только всѣмъ нутромъ всхлипывала при каждомъ ударѣ и болѣзненно вздрагивала плечами.

— Ну, что-жъ ты здѣсь валяешься, котенокъ дох-

лый? — почти въ бѣшенствѣ вскрикнула Глафира, чувствуя, что ей мало этого страдальческаго, полнаго невыразимаго ужаса дѣтскаго личика, чтобы сорвать на ней свою досаду и заглушить свою тоску. — Вонъ отсюда!

Ничего не понимая, дѣвочка вскочила и бросилась къ двери.

— Ку-у-да? — схватила ее за руку Глафира. — Туда иди, гдѣ покойница умирала. Туда. Она теперь тамъ, навѣрное, бродитъ. Иди къ ней. Она тебя приласкаетъ. Ты вѣдь любила въ покойники-то играть, поиграй съ ней.

Глафира быстро отперла дверь, ведущую въ комнату Прасковьи Ильинишны, окна въ которой были теперь заколочены, и, съ силой захлопнувъ ее, повернула дважды ключъ въ замкѣ.

Она не забыла, что дѣвочка до безпамятства боится мертвецовъ, и сознаніе, что это приведетъ ее въ безпредѣльный ужасъ, странно удовлетворяло Графиру, словно чужое страданіе уравновѣшивало ея собственное.

Дверь была массивная, и сквозь нея почти не проникали звуки, но Глафира все же прислушивалась, не раздается ли стоновъ, плача или криковъ за дверью. Тамъ, повидимому, было все тихо.

Можетъ быть, дѣвочка лишилась чувствъ.

Въ душѣ Глафиры шевельнулось острое сожалѣніе къ ребенку, но ей доставило наслажденіе побороть это чувство. Она стала спокойно раздѣваться и легла въ постель, все еще не закрывая оконъ. Съ минуту она лежала, не шевелясь и не сводя глазъ съ трепещущихъ отъ свѣта лампадки тѣней.

Въ комнатѣ царила мертвая тишина.

Но тоска и злоба не засыпала въ душѣ Глафиры. Она чувствовала, что не вполнѣ еще отомстила Петру. Для этого мало было издѣвательства надъ несчастнымъ ребенкомъ, надо было надругаться и надъ хорошими

чувствами, которыя были пробуждены Петромъ въ ея почти очерствѣвшемъ сердцѣ.

Тишина начинала томить и еще болѣе раздражать ее.

Хоть бы дѣвочка забилась и закричала! — стискивая зубы, подумала Глафира и, вдругъ, услышала стукъ.

Стукъ былъ осторожный и легкій. Но это стучала не дѣвочка.

Во-первыхъ, стукъ былъ не съ правой стороны, а съ лѣвой, во-вторыхъ, стучала не дѣтская рука.

У Глафиры мелькнула внезапная надежда. Она привстала на постели, но стукъ не повторялся.

— Нѣтъ, это не онъ, — почти съ отчаяніемъ прошептала Глафира, — это, вѣроятно, прислуга толкнулась, чтобы испросить приказаній на завтра по хозяйству.

Однако Глафира опустила ноги съ постели и въ этотъ мигъ услышала новый стукъ.

Она смѣло подошла къ двери и открыла ее.

На порогѣ, скорченная и жалкая, появилась фигура Кирилла съ выраженіемъ виновности и униженной мольбы во всемъ существѣ.

Первой мыслью Глафиры было захлопнуть у него передъ носомъ дверь, но потомъ она злорадно усмѣхнулась и, пропустивъ въ спальню Кирилла, плотно притворила дверь.

— Лапушка моя, красавица! — захныкалъ Кириллъ, падая къ ея ногамъ и обнимая ихъ. — Пальчики, пальчики на ножкахъ позволь поцѣловать.

— Цѣлуй, да не откуси, — съ холоднымъ отвращеніемъ процѣдила сквозь зубы Глафира, садясь на постель и протягивая старику голыя ноги.

— Ишь, какъ впился. Точно пчела въ медъ.

Она глядѣла на него сверху внизъ, на лысину, съ завивавшимися рѣдкими волосами, на которой бѣлымъ бликомъ дрожалъ свѣтъ лампадки, и едва удержалась, чтобы не ударить его ногой въ лицо. И она сдѣлала бы это, если бы не желаніе отмстить Петру.

— Холесенькіе мои... Сахальные мои... Пальчушечки!.. — захлебываясь, сюсюкалъ на дѣтскій ладъ старикъ, впиваясь поочередно въ каждый палецъ ногъ, которыя Глафира слегка раскачивала, сидя на постели. Никогда еще этотъ жалкій старикъ не являлся ей такимъ отвратительнымъ и презрѣннымъ, но въ этотъ мигъ ей казалось, что чѣмъ хуже, тѣмъ лучше для нея, тѣмъ полнѣе ея месть, тѣмъ съ большимъ злорадствомъ она завтра сама, пріѣхавъ на пріиски, разскажетъ объ этомъ Петру, если онъ потому не хочетъ пріѣхать къ ней, несмотря на экстренно посланнаго нарочнаго, что охладѣлъ, разлюбилъ, можетъ быть, полюбилъ другую.

А если нѣтъ? Если дѣйствительно его задержало что-нибудь важное?

Эта мысль ударила ей въ голову. Въ этотъ мигъ она почти желала, чтобы подозрѣнія ея оправдались, чтобы Петръ жестоко провинился передъ ней.

Вдругъ, Кириллъ вздрогнулъ всѣмъ тѣломъ и, косясь на дверь комнаты Похвистневой, присѣлъ.

Оттуда послышался стукъ.

Глафира поняла причину испуга Кирилла, и ей захотѣлось подшутить надъ нимъ и полюбоваться его ужасомъ.

Она притворно задрожала и насторожилась.

Стукъ повторился, а вслѣдъ за нимъ изъ-за двери доносился слабый не то крикъ, не то стонъ

Старикъ обратилъ поблѣднѣвшее лицо къ Глафирѣ и, встрѣтивъ также испугъ на ея лицѣ, который онъ принялъ за настоящій, забормоталъ что-то, пятясь назадъ.

— Куд-да? — замѣтила Глафира, впиваясь въ его похолодѣвшую руку ногтями.

Но онъ не чувствовалъ боли и тянулъ ее за собою съ постели, бормоча не то молитву, не то заклинанія.

— Нѣтъ, пришелъ такъ терпи, какъ я каждый день терплю! — едва удерживаясь отъ злораднаго смѣха, говорила Глафира, удержавая его на мѣстѣ.

— Покойница... Воротилась... Сорокъ дней душа въ мытарствахъ на землѣ...— бормоталъ Кириллъ.— Да воскреснетъ Богъ!..

Онъ съежился и дрожалъ всѣмъ тѣломъ.

— Да, покойница... Да, сорокъ дней...— шипѣла Глафира, не сводя своихъ глазъ съ почти обезумѣвшаго отъ страха лица Кирилла и, вдругъ, какъ кошка, соскочивъ съ постели, заперла дверь, бросилась къ другой двери, погасила по пути лампадку и отперла замокъ въ комнату, гдѣ, очнувшись, билась и рыдала дѣвочка.

Лишь только дверь открылась, и Кириллъ увидѣлъ, какъ изъ мрака второй комнаты рванулась въ спальню Глафиры чья-то бѣлая тѣнь, онъ, какъ заяцъ, метнулся въ сторону и въ одинъ мигъ очутился за окномъ, кубаремъ скатившись на землю.

Глафира не выдержала и захохотала ему въ слѣдъ, а дѣвочкѣ приказала убираться вонъ и пинкомъ вытолкнула ее въ входную дверь.

Анфиса, даже не вскрикнувъ, выбѣжала въ темныя сѣни, оказавшіяся открытыми, и въ одной рубашенкѣ побѣжала во флигель Мисаила, гдѣ жилъ глухонѣмой.

Послѣдній еще не спалъ, и дѣвочка, вбѣжавъ въ его комнату, съ громкимъ рыданіемъ бросилась къ нему на грудь и обвила его шею руками, дрожа всѣмъ тѣломъ, какъ птичка съ перебитыми крыльями.

— Ахъ, какая тоска. Какая тоска! — почти простонала Глафира, упавъ на постель и уткнувъ лицо въ мягкія пуховыя подушки.

Если бы въ эту минуту покойница дѣйствительно предстала ей на порогѣ комнаты, Глафира была бы довольна ея появленіемъ, чтобы хоть страхомъ подавить свое мучительное чувство.

Пьяной, что-ли, напиться: пришло ей въ голову, и, пошатываясь отъ безсилья бороться съ собой, она отыскала спички, зажгла свѣчу и отправилась къ буфету, гдѣ стояли разныхъ сортовъ наливки и вина.



## VII.

На другой день, почти на разсвѣтѣ, Глафира приказала заложить тройку лошадей и къ вечеру была на суханскихъ пріискахъ.

Пріискъ стоялъ на правомъ берегу рѣченки Яслы, гдѣ помѣщалась золотопромывная мельница. Берега рѣки были глинистые, то желтые, то красноватые. Кромѣ мельницы, работали еще бутары, машины для промывки песка. Виднѣлись кое-гдѣ казеннаго вида сараи, казармы, сторожки, корпуса и направо, какъ красный указательный палецъ великана, высокая кирпичная труба. Кое-гдѣ круглился воротъ. Деревянныя бадьи съ визгомъ поднимались на немъ изъ огромныхъ ямъ. Откатчики свозили песокъ по деревяннымъ доскамъ. Бабы и дѣвки промывали песокъ и визжали какія-то противныя пѣсни... Штейгеръ сбиралъ золото на желѣзную лопатку и ссыпалъ въ желѣзную кружку, съ которой объѣзжалъ шахты надсмотрщикъ.

Вдали чрезвычайно жалкое впечатлѣніе производили заброшенныя шахты, изъ которыхъ были вынуты кое-гдѣ крѣпы, и онѣ обвалились, какъ дудки, и были залиты водою. И возлѣ рабочихъ, и возлѣ покинутыхъ шахтъ виднѣлись кучи шлака, полученнаго отъ протолочки кварца.

На другомъ берегу виднѣлась деревня, довольно жалкая и убогая, несмотря на видимую близость свою къ богатству. Избенки, казалось, бѣжали внизъ къ рѣкѣ, чтобы съ голода и отчаянія утопиться въ ней.

Въ этихъ избушкахъ жили рабочіе съ пріисковъ, со своими семьями. Впрочемъ, собственно семейныхъ-то рабочихъ было тамъ мало. Всѣ большею частію жили одиноко и «баловались» съ нѣсколькими бабами, которыя переходили отъ одного къ другому, больше по соображеніямъ практическаго свойства, чѣмъ какого бы

то ни было другого, такъ что по этому случаю изъ-за нихъ даже и раздоровъ почти не было.

Въ конторѣ она не застала Петра. Онъ былъ на фабрикѣ, но Глафира рѣшила выдержать характеръ и дождаться его здѣсь или, въ крайнемъ случаѣ, потребовать его къ себѣ, якобы по дѣлу.

Старшій приказчикъ Ларивонъ, юркій мужичекъ лѣтъ сорока, въ длинномъ сюртукѣ, въ сапогахъ бутылками, встрѣтилъ хозяйку съ униженною почтительностью и сталъ докладывать ей пріисковыя новости.

Между прочимъ, онъ доложилъ ей, что старатель Марухинъ при новой шуфровкѣ [1]) нашелъ руду.

— Хороша?

— Золотниковъ 5 на таратайку [2]).

— Давно работаютъ?

— Съ мѣсяцъ ужъ будетъ.

— Шахту прорыли?

— Прорыли.

— Отобрать и поставить наши работы.

— Я такъ и хотѣлъ сдѣлать, да Петръ Митричъ говорилъ повременить.

При имени Петра Глафира почувствовала, какъ къ лицу ея прилила краска.

— Это что за новость. Какъ же это онъ посмѣлъ распоряжаться! — вспыхнула Глафира. — Пусть свои пріиски заведетъ, да распоряжается.

Приказчикъ сконфуженно съежился и сталъ мять въ рукахъ картузъ, не глядя на хозяйку.

— Онъ говорилъ, что самъ доложитъ вашей милости объ этомъ. Сегодня хотѣлъ ѣхать къ вамъ въ городъ на этотъ счетъ, да и о рабочихъ перетолковать.

— А съ рабочими что такое за безпорядки?

— Уходятъ многіе!

---

[1]) Зондированіе почвы острыми прутьямм.

[2]) Каждые 25 пудовъ земли, вырываемой при добываніи золота.

— Почему?

— Богъ знаетъ-съ...— уклончиво отвѣтилъ приказчикъ.

Оглянулся на дверь и сталъ таинственно сообщать, что смуту среди рабочихъ поселяетъ чуть-ли не самъ Петръ, что онъ читаетъ имъ какія-то книжки, бесѣдуетъ съ ними и внушаетъ имъ мысли.

— Какія мысли? О чемъ?

— Да о томъ, что быдто рабочіе такіе же люди, какъ господа, что они мало за свою работу получаютъ, что на заводѣ надо школу устроить и грамотѣ учить не токмо ребятъ, а и взрослыхъ.

— Откуда же онъ набрался такихъ мыслей?

— А, говорятъ, изъ города. Тамъ у него одинъ баринъ знакомый есть. Надо полагать сифилистъ?

— Кто?

— Сифилистъ!

— Это что же такое? Что-то не слыхала я этакого слова.

— А въ газетахъ его часто нонѣ пишутъ. Сифилистъ, значитъ... кто противъ закона идетъ. Вотъ, къ примѣру, рабочему человѣку терпѣть надо и дѣло свое дѣлать до скончанія жизни, а сифилистъ ему внушаетъ, что, дескать, пусть господа работаютъ, а ты книжку читай, да деньги получай.

— Что за вздоръ!

— Подлинно. Въ Бога даже не вѣруютъ: говорятъ, никакого Бога нѣтъ, а только воздухъ. И даже самъ этотъ сифилистъ однажды сюды пріѣзжалъ съ дочерью

Глафира насторожилась.

— Самъ-то, видно, хоть и сифилистъ, а богачъ. Лошади — львы.

— Какъ его фамилія?

— Вотъ запамятовалъ. Аблакатъ онъ, слышно. Смѣтовъ, што-ль, не Смѣтовъ, а въ родѣ того.

— Дочь у него красивая?

— Нѣтъ, щуплая такая, точно спичка. Лицо бѣлое, какъ мука, глаза большіе. Развѣ такія красивыя-то бываютъ.

— А какія же?

— А вотъ, какъ твоя милость.

Глафира не могла не улыбнуться этому признанію своей красоты, продолжая въ то же время размышлять.

Ужъ это не адвокатъ-ли Улыбышевъ съ дочерью? Только у того дочь, говорятъ, красавица.

Глафира еще не видѣла ее, потому что дѣвушка только недавно пріѣхала изъ Петербурга изъ Смольнаго института, гдѣ окончила курсъ.

— Фамилія этого сифилиста не Улыбышевъ? — спросила она.

— Онъ, онъ самый! Улыбышевъ. Черный такой. Съ большой бородой, лысоватый.

Глафира поджала губы.

— Позвать мнѣ сюда Петра.

Приказчикъ ушелъ за Петромъ, а она перешла въ сосѣднюю съ конторой комнату, предназначенную спеціально для хозяевъ. Тамъ она умылась, переодѣлась и, взглянувъ въ зеркало, осталась недовольна своимъ лицомъ.

Глаза ея послѣ минувшей ночи слегка опухли, и лицо утратило свою свѣжесть. Тогда Глафира выпила захваченнаго съ собою вина и сразу раскраснѣлась.

За тонкой деревянной стѣной послышался сначала стукъ двери, скрипъ шаговъ, затѣмъ легкое покашливаніе приказчика и голосъ Петра.

— Гдѣ же хозяйка?

— Здѣсь. Сейчасъ! — Не могла не отозваться Глафира

Сердце ея сильно заколотилось въ груди, такъ что

она прижала даже къ нему руку. Затѣмъ, выпивъ еще нѣсколько глотковъ вина прямо изъ горлышка бутылки, она двинулась къ двери.

Но на порогѣ остановилась и собрала растерянное лицо въ хмурое и спокойное выраженіе.

Петръ стоялъ у конторки, въ высокихъ, выпачканныхъ землею сапогахъ и синей блузѣ. Его ясные голубые глаза какъ-будто смотрѣли и въ то же время не смотрѣли на хозяйку.

— Здравствуйте, Глафира Николаевна, — привѣтствовалъ онъ ее.

— Здравствуй, — отвѣтила Глафира, чувствуя, что голосъ ея дрожитъ.

Петръ молчалъ и ждалъ разспросовъ, которыми успѣлъ уже взбудоражить его приказчикъ.

Но Глафира тоже не могла вымолвить ни слова. Она даже боялась взглянуть пристально на Петра, чтобы не измѣнить себѣ, да еще въ присутствіи посторонняго человѣка. Правда, ей стоило шевельнуть рукою, повести глазомъ, и этотъ посторонній человѣкъ очутился бы за порогомъ, но она не забыла сообщенія объ Улыбышевой, заставившее вспыхнуть въ ея сердцѣ таившееся подозрѣніе. Желаніе унизить Петра въ присутствіи этого человѣка поддержало ее. Она подняла глаза на Петра и довольно рѣзко сказала:

— Что это ты своевольничаешь тутъ? Ларивонъ говорилъ, — кивнула она на приказчика, — что ты въ порядки вмѣшиваешься, народъ смущаешь.

Петръ съ недоумѣніемъ взглянулъ на нее, но не удостоилъ ни однимъ взглядомъ приказчика.

— Я не своевольничаю и никого не смущаю, — просто отвѣтилъ онъ безъ малѣйшаго признака дерзости или самоувѣренности, словно былъ по отношенію къ Глафирѣ дѣйствительно не болѣе какъ конторщикомъ.

— А касательно Марухина? — ядовито замѣтилъ Ларивонъ.

— Касательно Марухина я только хотѣлъ доложить Глафирѣ Николаевнѣ, что съ человѣкомъ несправедливо поступаютъ. Хотѣлъ для Марухина попросить хозяйской милости.

— Какая тамъ милость! — отозвалась Глафира.—Руда наша, вотъ и все. Таковъ обычай. Ежели свыше шестнадцати золотниковъ въ сажени руды золота, значитъ — шахта наша.

— Но вѣдь это безчеловѣчно! Марухинъ все свое состоянiе убилъ, разыскивая на вашихъ земляхъ золото, какъ старатель; всю землю верстъ на пять исковырялъ, наконецъ, напалъ на свое счастiе, а у него его отнять хотятъ!

— Кто его тянулъ? Самъ пошелъ.

— Слабый человѣкъ и пошелъ. Разбогатѣть еще больше хотѣлъ...

— Пусть и казнится. Не онъ одинъ разорился.

— Да, вѣдь, у него семья. Нельзя не пожалѣть его. Вѣдь если его отсюда выгонятъ, онъ по мiру долженъ будетъ итти и вся семья его тоже. Если бы вы видѣли его горе, вы сами бы не поступили такъ жестоко.

— Другiе тоже о чужомъ счастiи не справляются, — вырвалось у Глафиры.— Рушатъ его и не жалѣютъ.

Но Петръ не понялъ ее. Его нѣжное лицо покраснѣло, глаза сверкнули презрительнымъ огонькомъ.

— Онъ не перенесетъ, если его выгонятъ съ его шахты, и покончитъ съ собой. Что вамъ стоитъ дать человѣку встать на ноги. Вы отъ этой шахты не Богъ знаетъ какъ разбогатѣете. Довольно ужъ съ васъ. А брать на себя еще грѣхъ. Зачѣмъ? Нельзя всю жизнь купаться въ человѣческихъ слезахъ. Отольются вѣдь онѣ когда-нибудь, слезы-то.

— Какъ ты смѣешь такъ со мной разговаривать! — почти взвизгнула Глафира.— Кто ты здѣсь такой? Конторщикъ. Изъ милости взятъ и насъ же осуждаешь. Народъ здѣсь сталъ тоже смущать. Съ сифилистами

спознался. Знаю я, откуда вѣтеръ-то дуетъ. Знаю, кто занозилъ тебѣ сердце-то!

Петръ никакъ не ожидалъ подобнаго отпора со стороны Глафиры. Ему показалось, что каждое ея слово, какъ пощечина, ударяетъ его. Онъ выпрямился и поблѣднѣлъ. Кулаки его сжались. Казалось, вотъ-вотъ онъ сорвется съ мѣста и бросится на Глафиру.

Глафирѣ мгновенно кинулись въ глаза и эта блѣдность, и этотъ вспыхнувшій оскорбленною гордостью взглядъ. Она сдѣлала приказчику знакъ, чтобы онъ вышелъ вонъ, и лишь только затворилась за нимъ дверь, самоувѣренность Глафиры сразу пропала. Видя, что Петръ тоже протянулъ руку къ картузу съ намѣреніемъ уйти, она бросилась къ нему и, упавъ передъ нимъ на колѣни, схватила его за руки.

— Петя... Жизнь моя! Прости!.. Истерзалась я!.. Измучилась!..

Петръ, не глядя на нее, подвигался къ двери, но она не выпускала изъ своей руки его руку и тащилась за нимъ по полу, рыдая и не сводя съ его лица умоляющихъ глазъ.

— Избей меня, исколоти... Ногами избей, только не уходи... Не бросай... Не разлюби.

Она обняла его ноги и припала губами къ его грязнымъ сапогамъ. Петръ остановился у двери, тщетно пытаясь высвободить ноги.

— Пусти.

— Нѣтъ.

— Пусти!

— Нѣтъ!

— О, проклятая!

Онъ рванулъ ногу, но Глафира подставила свое лицо, и ударъ носкомъ сапога пришелся ей какъ разъ въ зубы. На губахъ ея показалась кровь.

— Бей. Убей. Только люби. Только скажи, что по прежнему любишь, что не разлюбилъ, что не забылъ для нея, для той... для дѣвчонки.

Петръ понялъ все, понялъ, что ея бѣшенство и упреки были вызваны ревностью, поднятою въ ней какими-нибудь сплетнями.

Она обвилась руками вокругъ его ногъ и припала губами къ его рукѣ.

Онъ почувствовалъ на своей рукѣ что-то теплое и, взглянувъ въ лицо Глафиры, увидѣлъ на ея губахъ кровь и кровь на своей рукѣ отъ ея поцѣлуя.

Поднялъ Глафиру съ пола и бросился въ сосѣднюю комнату за водой. Глафира послѣдовала за нимъ.

— Не надо мнѣ. Не надо! — расплескивала она воду, отталкивая протянутый ей Петромъ стаканъ.— Мнѣ и боль отъ тебя сладка! Милый... Милый!.. Мой! Вѣдь мой? Да? — задыхаясь, шептала она, прижимаясь къ Петру.

У Петра закружилась голова. Онъ все еще не могъ забыть нанесеннаго ему оскорбленія и обиды, хотѣлъ оттолкнуть ее, но вмѣсто того сжалъ ее въ своихъ объятіяхъ.

Подозрѣнія Глафиры сразу рухнули.

— Прости меня. Съ ума я сошла отъ любви. Любовь моя! Люблю я тебя!

— Развѣ это любовь?

— Да какъ же не любовь-то?

— Грѣхъ это, а не любовь. Зло это.

— Въ чемъ зло? Въ чемъ грѣхъ?

— Какая же это любовь, когда я боюсь ее. Любовь отъ Бога, любовь — счастіе и радость, а то, что межъ нами, зло одно. Страхъ одинъ. Обманъ.

Глафира не понимала, о какомъ страхѣ онъ говоритъ.

— Мужа, что-ли, ты боишься? Такъ вѣдь онъ уже все знаетъ. Значитъ, никакого обмана здѣсь нѣтъ, и бояться тебѣ нечего.

— Ахъ, не о томъ я говорю, тебя я боюсь.

— Меня!

— Ну да, тебя, тебя!

— Опомнись, что ты говоришь? Тебѣ ли меня бояться? Да я тебѣ душу свою отдала. Жить не могу безъ тебя.

— Лучше бы ты не отдавала мнѣ ее. Знаю я это, и мнѣ кажется, что, любя тебя, я становлюсь такимъ же преступникомъ, какъ ты, сообщникомъ твоимъ. Прасковья Ильнишна умерла?

— Умерла.

— Вы ее убили. Вашихъ рукъ это дѣло. А меня совѣсть мучитъ.

— Будетъ тебѣ объ этомъ. Это въ любовь нашу не входитъ. Я выкуплю этотъ грѣхъ, замолю его. Я поневолѣ въ немъ виновата. Мнѣ самой тяжко теперь.

— Тяжко, а сама зло дѣлаешь. Такую тягость-то не молитвой снимаютъ съ души, не выкупомъ, а добромъ, а ты не успѣла пріѣхать, ужъ зло творишь. У Марухина послѣднюю надежду отнимаешь.

— Для тебя я сдѣлаю послабленіе ему. Не отобью шахты.

— Какое же тутъ послабленіе, да еще для меня. Это только справедливость требуетъ. Да и одинъ-ли Марухинъ въ такомъ несчастьи черезъ васъ съ тѣхъ поръ, какъ Мисаилъ при болѣзни Прасковьи Ильинишны сталъ пріисками управлять. У меня сердце изболѣлось глядѣть на то, что творится здѣсь. Грабежъ! Рабочихъ обсчитываютъ. Сдуваютъ при покупкѣ золота, обвѣшиваютъ на золотѣ, душатъ штрафами. Вѣдь они, бѣдные, какъ животные здѣсь живутъ. Хуже даже! А вѣдь тоже люди.

— Да тебѣ-то что до нихъ? Каждый живетъ для себя— за себя. Всѣ такъ живутъ.

Петръ стиснулъ руками голову.

— Ахъ, не понимаешь ты меня. Вѣдь такъ-то и звѣри живутъ и чувствуютъ. Оттого-то и любовь между нами не человѣческая, а звѣриная.

Онъ опустился на стулъ и уронилъ голову на руки.

Мысленно Глафира считала всѣ рѣчи Петра ребячествомъ, но что-то и удержало ее отъ возраженій. Она опустилась на колѣни рядомъ съ Петромъ и, отнимая руки его отъ лица, заглядывала ему въ глаза и говорила:

— Петя, соколикъ ты мой, только люби ты меня, и все будетъ по твоему. Я и добра буду и снисходительна къ людямъ. Вѣдь я сама не злая по природѣ. Жизнь меня озлобила. Люди ожесточили. Я отъ тебя отъ перваго такія рѣчи-то слышу. Голубь ты мой, солнышко ты мое.

Она припала къ его рукамъ и стала цѣловать ихъ.

Въ глазахъ Петра стояли слезы.

При видѣ ихъ Глафира почувствовала, что душа ея переполнилась небывалымъ тепломъ. Она тихо поцѣловала сначала лѣвый, а потомъ правый глазъ его и торжественно объявила:

— Слушай, помни мое слово. Какъ только все уладится и въ моихъ рукахъ капиталъ будетъ, не узнаешь ты меня. Не токмо что притѣснять бѣдняковъ,— сама помогать имъ буду. Только ты люби меня.

— Капиталъ! — съ укоромъ проговорилъ Петръ. — Проклятый этотъ капиталъ. Не по добру онъ достался и не на добро пойдетъ. Откажись лучше отъ него. Добро и безъ денегъ можно дѣлать.

— Отказаться отъ капитала? Ахъ, Петя, Петя, какой еще несмысленышъ ты. Не для того я всю жизнь у порога Прасковьи Ильинишны пресмыкалась, не для того ломала себя во всемъ и выносила разныя тяготы изъ-за этого капитала. Я ужъ молчу о дѣлѣ, на которое пошла. Не для того, чтобы отказаться отъ капитала тогда, когда этотъ капиталъ въ рукахъ у меня.

— Но вѣдь наслѣдники-то живы.

— Какіе наслѣдники?

— Абросимовы... Анфиса... Глухонѣмой... Отецъ его. Здѣсь вѣдь онъ.

— Знаю. Сюда его прислали. Пьяница. Зачѣмъ ему деньги-то: все-равно пропьетъ, а на это ему здѣсь сколько угодно дадимъ. Пей не хочу.

— Спаиваютъ его здѣсь.

— Нечего и спаивать, когда онъ и безъ того спился.

— Ахъ, Глафира, Глафира! Вотъ и опять зло.

— А откуда ты узналъ, что Анфисѣ и глухонѣмому деньги завѣщаны?

— Онъ же говорилъ, Молотковъ. Онъ прямо говорилъ здѣсь: захочу, говоритъ, наслѣдство все мое будетъ.

Глафира презрительно засмѣялась.

— Ну, ему глотку ничего не стоитъ косушкой залить.

— А дѣти?

— Что дѣти? Развѣ они понимаютъ что въ деньгахъ? Деньги нужны тому, кто въ нихъ толкъ понимаетъ. Да и мало-ли что пьяница Молотковъ говоритъ о завѣщаніи какомъ-то. Нѣтъ никакого завѣщанія и денегъ нѣтъ никакихъ. Комаръ носа не подточитъ.

— Отъ Бога не скроешь.

— Богъ на томъ свѣтѣ будетъ судить, а на этомъ свѣтѣ я хочу жить такъ, какъ натура велитъ. Хочу любить тебя, а для жизни и любви деньги нужны, какъ масло для машины. Больше, — какъ колеса. Не корить ты меня долженъ за то, что я своего добилась, а спасибо сказать. Такъ-то. Мы теперь съ тобою, какъ орлы, подъ самое небо на золотыхъ крыльяхъ взлетимъ.

Глафира воодушевилась. Ея глаза блестѣли, и красивое, полное лицо пылало румянцемъ.

Но на Петра эта горячая, убѣжденная рѣчь не произвела никакого впечатлѣнія.

— Такъ неужели же ты такъ-таки по міру пустишь настоящихъ наслѣдниковъ-то, сиротъ?

— Зачѣмъ по міру? Я ихъ облагодѣтельствую. Не оставлю. Да что о нихъ толковать, когда у меня теперь только о тебѣ думы. Какъ бы тебя осчастливить, развеселить? Вѣдь ты самъ на себя не похожъ сталъ. Ни смѣха прежняго, ни удали, точно курица мокрая.

— Измучился я.

— Нашелъ время. Теперь не мучиться, а ликовать надо: на нашей улицы праздникъ. Для мертвыхъ—гробъ, для живыхъ — попъ. Хочешь, обвѣнчаемся съ тобой?

— Что? — поразился Петръ, — ослышался я что-ли. Какъ же это отъ живого мужа?..

— Э, нынче онъ живъ, а завтра покойникъ.

Петръ не то съ испугомъ, не то съ презрѣніемъ взглянулъ на нее.

Глафира поняла, что хватила черезъ край, что объ этомъ еще рано начинать, и поспѣшила поправиться.

— Ты не подумай ничего дурного. Я хотѣла сказать... Притомъ же разводъ можно всегда схлопотать. А лучше всего такъ вести игру, какъ была. Безъ хлопотъ. Только люби меня. Я составлю судьбу твою, озолочу тебя.

— Не возьму я твоего золота. Сказалъ ужъ. Ни полушки отъ тебя не возьму. Довольно того, что знаю, откуда у тебя оно, и молчу до поры до времени.

— То-есть, какъ это до поры до времени? Ужъ не донести-ли ты подумываешь? Что-жъ, губи. Если ты донесешь, я отпираться не буду.

— Гдѣ мнѣ донести! — съ отчаяніемъ воскликнулъ Петръ. — Тебя погубить — себя погубить. Скорѣй самъ въ монастырь уйду твой грѣхъ замаливать, чѣмъ рѣшусь донести на тебя. Не знаю, какъ назвать то, что меня приковало къ тебѣ, любовь-ли, другое-ли что, а только и я тоже не могу быть безъ тебя. Знаю, что ничего изъ этого не будетъ, кромѣ муки для меня. Ты говорила вонъ давеча, что на томъ свѣтѣ Богъ только будетъ тебя судить. Не гнѣви Бога! А если все рано-ль поздно-ль откроется?

— Ничего не откроется. Все ужъ кончено. А если бы что и открылось чудомъ, деньги все покроютъ. Э, да что объ этомъ гадать. Что будетъ, то будетъ. А ты вотъ сказалъ такое слово, что дороже золота мнѣ. Такъ не можешь безъ меня? Соколъ ты мой. Красавецъ ты мой. Счастье мое:

Она схватила его голову обѣими руками и стала покрывать его волосы, лобъ, шею, щеки поцѣлуями.

Комнату наполняли теплые лѣтніе сумерки. Въ открытое окно издали доносились какіе-то голоса, шипѣніе машинъ и одинокое блеянье козленка.

Петръ опьянѣлъ отъ ея поцѣлуевъ. Его нѣжное, прекрасное лицо поблѣднѣло. Онъ прижался къ груди Глафиры, но въ этотъ мигъ болѣе, чѣмъ когда-либо, вмѣстѣ съ неодолимымъ влеченіемъ къ ней чувствовалъ также страхъ, смѣшанный съ ненавистью, и презрѣніе и такое же уничтожающее презрѣніе къ себѣ за свою слабость. Онъ чувствовалъ, что какъ бы ни бился въ сѣтяхъ Глафиры, вырваться изъ нихъ онъ не можетъ и останется въ нихъ еще надолго, можетъ быть, навсегда.

Въ эту минуту Глафира сама ощущала свою силу надъ Петромъ, но также сознавала и то, что въ его чувствѣ къ ней чего-то недостаетъ, что между ними лежитъ-таки какая-то преграда, которую не уничтожатъ ни поцѣлуи, ни прежняя близость. Это ее и раздражало и мучило. Причину всего этого она видѣла въ Петрѣ, въ томъ, что онъ сталъ меньше любить ее. За что? Можетъ быть, за ея грѣхи? Но если бы онъ дѣйствительно ее любилъ такъ, или даже вполовину такъ, какъ она любила его, — онъ бы, конечно, сумѣлъ простить ей этотъ грѣхъ. Нѣтъ, дѣло не въ одномъ только этомъ.

Она опять вспомнила Улыбышеву, но прежде, чѣмъ начать свои разспросы о ней, предложила Петру выпить вина.

— Не стану я. Не пью, — поморщился Петръ.

— Знаю, что не пьешь. Только это вѣдь не простое

вино, отъ котораго человѣкъ дурѣетъ, а заграничное. Такое доктора больнымъ даже прописываютъ. Ишь ты, какъ поблѣднѣлъ.

— Взволновался немного. Да и притомъ очень ужъ меня этотъ Марухинъ измучилъ.

Петръ запустилъ руку въ свои бѣлокурые волосы и, точно отъ внутренней боли, закачался всѣмъ корпусомъ на диванѣ, гдѣ они сидѣли рядомъ съ Глафирой и потомъ, поднявшись съ мѣста, сталъ большими шагами ходить по комнатѣ изъ угла въ уголъ, порывисто и нервно повторяя:

— И жалко человѣка и зло на него беретъ. Ну, чего ему, кажется, было надо? Жилъ въ городѣ, имѣлъ домъ свой, лавку. Семья, дѣти. Ну и благодарилъ бы Бога за судьбу. Нѣтъ, прослышалъ, что люди съ маху богатѣютъ, золото находятъ... Сперва изъ любопытства пошелъ поглядѣть, посмѣивался, потомъ самъ сталъ понемножку пытать счастія, да и запытался: пытку для себя и устроилъ. Домъ продалъ, лавку продалъ, изъ города въ глушь переѣхалъ. Переѣзжаетъ съ одного мѣста на другое. Ищетъ, ищетъ. Ничего доселѣ не находилъ. Всѣ деньги прошурфовалъ. Бѣдствовать сталъ. Жена день и ночь плачетъ. Попрекаетъ его. Старшая дочь — тоже. Смотрѣть тяжело. Адъ настоящій, а, говорятъ, прежде счастливѣй себя никого не зналъ.

— Жадность, — сказала Глафира.

— Нѣтъ, это не то, чтобы жадность. Онъ не жадный. Послѣднее съ себя готовъ отдать нуждающемуся.

— Ну, значитъ, жена его жадная. Она, значитъ, его на это толкнула. Я тебѣ скажу, ни одинъ мужикъ до такой жадности не доходитъ, какъ наша сестра.

— Нѣтъ, и она добрая. А только видно золото, что вино: коли началъ съ нимъ дѣло имѣть, пиши пропало. А почему это ты о женской жадности говоришь? Почему женщина такъ жадна?

— Кто ее знаетъ. Я сама не знаю, а только это вѣрно. Можетъ, оттого, что вашему брату, мужику, ни на что запрета нѣтъ, а бабѣ того нельзя, другого нельзя. Силъ, характера тоже у мужика больше, а у бабы не только не у всякой есть это, а напротивъ, у нихъ и ума-то мало. Конечно, бываютъ бабы и умныя, — поспѣшила добавить она, видя, что Петръ хотѣлъ что-то возразить, взглянувъ на нее, и угадавши то, что онъ хотѣлъ возразить. — Конечно, иная баба и мужика умомъ и характеромъ за поясъ заткнетъ, да только такихъ мало. Не даромъ пословица говоритъ: у бабы волосъ догогъ, да умъ коротокъ. Иная и умной кажется, а въ дѣйствительности настоящаго ума-то у нея и нѣтъ.

— Какъ настоящаго ума нѣтъ? Какой же еще умъ бываетъ?

— Лисій. Хитрость это. Ловкость. Сметка, а не умъ. Умъ это что-то другое. Я не могу тебѣ объяснить всего этого, а только умъ это не бабій даръ. Вотъ хоть бы взять тебя и меня. Меня умной считаютъ, а я глупѣй тебя во сто разъ, хоть и могу въ денежныхъ дѣлахъ любого мужика за поясъ заткнуть и кого хочешь провести.

— Полно, какой у меня умъ! — покраснѣлъ Петръ. — Нѣтъ у меня никакого ума. Вотъ у Улыбышева, вотъ это умъ настоящій. Онъ какъ начнетъ о чемъ говорить, такъ точно медомъ кормитъ. Чисто книжку умную читаетъ. Иной разъ слушаешь, слушаешь его, да чуть въ слезы не вдаритъ тебя. Стыдно становится за себя, что ничему-то ты не ученъ, ни о чемъ-то ты понятіевъ настоящихъ не имѣешь, а безъ настоящихъ понятіевъ человѣкъ не человѣкъ.

Глафира вспыхнула. Послѣднія слова Петра кольнули ее, и ревниво-обидное чувство зашевелилось въ ея душѣ. Она смутно начала проникать тайну перемѣны, ощущавшейся въ отношеніи къ ней Петра.

Такъ вотъ оно что, — шевельнулась у ней тревожная

мысль.—Не въ одномъ грѣхѣ моемъ, значитъ, причина лежитъ, а и въ необразованіи моемъ.

И она почувствовала себя униженной Петромъ и упавшей въ его глазахъ. На губахъ ея появилась насильственная кривая усмѣшка.

Сощуривъ слегка глаза, чтобы скрыть прихлынувшее къ нимъ и просившееся наружу раздраженіе и нервно подергивая пальцами правой руки конецъ шерстяного рукава, Глафира процѣдила сквозь зубы насмѣшливо, но тревожно:

— Что же и дочь у Улыбышева въ папеньку? Такихъ же понятіевъ?

Петръ не сразу отвѣтилъ на этотъ вопросъ.

Онъ пересталъ ходить по комнатѣ, сталъ у окна и, опершись лѣвымъ плечомъ о косякъ, задумался.

Нѣжно-розовые сумерки потускнѣли, и предметы въ комнатѣ слегка затушевались сѣроватыми тонами. Переплетъ правой половины полуоткрытаго окна, выдѣлявшійся на полу своимъ отраженіемъ, тоже потускнѣлъ. Отъ этихъ темныхъ сумеречныхъ тоновъ вся стройная и тонкая фигура Петра пріобрѣла нѣжную воздушность, и тонкій, удивительно изящный профиль его лица мягко вырисовывался въ полумракѣ съ прямымъ, правильнымъ носомъ, красиво вырѣзаннымъ ртомъ и слегка вьющимися волосами надъ высокимъ четыреугольникомъ лба, по которому отъ бровей шла вертикальная легкая морщинка.

Глафира истолковала его минутное молчаніе не въ пользу для себя, но видъ Петра, его задумчивое выраженіе, его красота, все это какъ-то невольно смягчало Глафиру, и съ губъ ея не шелъ ядовитый и ревнивый вопросъ. Петръ заговорилъ, наконецъ, самъ.

— Да, она тоже образованная барышня, съ отличіемъ окончила курсъ наукъ въ Петербургѣ, но только понятіевъ настоящихъ въ ней нѣтъ еще.

— Нѣтъ?

— Нѣтъ, молода она больно. Точно птичка: все бы ей пѣть, да на Божій міръ радоваться. Точно ее только изъ клѣтки выпустили. И всему-то она удивляется.

— Чему же это всему-то?

— Да всему. И какъ золото добываютъ, удивляется, и какъ живутъ въ бѣдности, да въ нуждѣ рабочіе, удивляется...

— Чему же тутъ удивляться-то нашла?

— Удивляется, что переносятъ всю тяготу свою, голодъ, холодъ, несправедливости.

— Какія же это такія несправедливости?

— А тѣ несправедливости, что чинятъ надъ ними всѣ, кому не лѣнь, начиная отъ управляющаго, кончая своимъ же братомъ, послѣднимъ надсмотрщикомъ. Какъ увидѣла рабочія землянки, не вѣрила, что въ нихъ люди живутъ. Спрашиваетъ: это, вѣрно, погреба?

— Да что она дура, что-ли? — захохотала, пожимая плечами, Глафира.

— Нѣтъ, она умная и на разныхъ языкахъ книжки читаетъ, какъ отецъ.

— Умная, а о такихъ глупостяхъ спрашиваетъ.

— Не видѣла никогда, потому и спрашиваетъ.

— Чему же ихъ тамъ учатъ-то, въ Петербургѣ, коли она не знаетъ, какъ люди живутъ?

— Знать-то, какъ, чай, не знать. Слыхала, навѣрно, объ этомъ, а только — слыхать одно, а видѣть другое. Она съ первыхъ разъ, какъ увидѣла все это, такъ даже плакать начала.

— Ишь ты, какая жалостливая, — съ кривой усмѣшкой произнесла Глафира.

— Да, она очень добрая.

— Добрая, да жалостливая, такъ и отдала бы имъ свои деньги. У ея отца, говорятъ, денегъ куры не клюютъ.

— Она и то все, что было съ ней, отдала Матвѣю Ста-

ростину. Онъ-то больной лежалъ, задѣльныхъ не получалъ. Жена послѣдніе дни ходила. Бѣда. Дѣти ужъ пс кусочки пошли.

— Эка, подумаешь, щедрость. Такъ-то и всякій изъ насъ даетъ. А коли она такъ расчувствовалась, такъ отдала бы все, что имѣетъ, или хоть половину.

— Она-то, навѣрное, отдала бы, да отецъ бы не позволилъ этого.

— Ага, это всегда такъ, сваливаютъ на отца.

— Нѣтъ, не поэтому, а потому, что этимъ горю не поможешь.

— Какъ же это не поможешь, коли человѣкъ, къ примѣру, съ голоду, али отъ болѣзни умираетъ? Переучился, видно очень.

— Одному на нынѣшній день поможешь, другому, третьему... деньги всѣ выйдутъ, а завтра опять помогать надо, да не одному, а милліонамъ.

— Отговорки это только однѣ. Знаемъ мы.

— Нѣтъ, не отговорки. Не такой онъ человѣкъ, чтобы отговорками увертываться. Правду онъ говоритъ. Перво-на-перво подачками бѣдность не уничтожишь. Это все равно, что изъ чана воду черпать, когда крантъ открытъ и въ чанъ изъ кранта вода льется. Ты ведро вычерпаешь, а десять нальется. Да и потому еще подачки худы, что онѣ развращаютъ человѣка и пріучаютъ его на себя какъ на нищаго смотрѣть.

— Мудрено что-то ужъ больно, — сомнительно покачала головой Глафира; — да и не по-христіански это.

Послѣдняя мысль, внезапно пришедшая ей въ голову, обрадовала ее, какъ средство сразу «убить» противниковъ, которыхъ она инстинктивно начинала уже ненавидѣть, чуя въ нихъ злѣйшихъ враговъ своихъ, и не только потому, что она подозрѣвала Петра въ измѣнѣ ей, ради какой-то дѣвчонки, а и по многимъ другимъ причинамъ, вызывавшимъ въ ней упорное, враждебное про-

тиворѣчіе всему, что съ голоса Улыбышева очевидно повторялъ Петръ.

— Не по-христіански это,—настойчиво и твердо повторила Глафира. — Христосъ намъ заповѣдывалъ помогать ближнему, изъ послѣдняго дѣлиться съ неимущими. «Аще имѣешь двѣ ризы, отдай одну ближнему твоему»...

Правда, Глафира никогда не проявляла особеннаго усердія въ слѣдованіи этой заповѣди, но враждебное отношеніе къ Улыбышевымъ до того воспламенило ее, что она рѣшила завтра же начать благотворить и жертвовать на глазахъ у Петра и непосредственнымъ проявленіемъ доброты затмить ненавистную разсудительность людей «съ понятіями».

— Очень ужъ переучились. Бога не стали признавать. Противъ Бога идутъ. Ларивонъ говорилъ мнѣ, что онъ, дескать, Улыбышевъ-то — сифилистъ; я думала, вретъ, а теперь вижу, что, подлинно, сифилистъ. Народъ смущаетъ.

— Бралъ Ларивонъ, — вспыхнулъ за своихъ друзей Петръ.

— Что же вралъ, когда ты и самъ то же говоришь. Я исправнику скажу, что они народъ смущаютъ.

Петръ только презрительно покачалъ головою. Онъ былъ увѣренъ, что ни Глафира ничего такого не скажетъ исправнику, ни исправникъ ничему этому не повѣритъ, если бы даже Глафира и рѣшилась ему сказать что-нибудь подобное. Улыбышевъ не только не смущалъ пріисковаго народа, но и мало разговаривалъ съ нимъ. Гораздо больше разговаривала съ рабочими его дочь, но та ни о чемъ такомъ и не поминала. Она, какъ выразился о ней Петръ, все больше удивлялась, удивлялась не только тому, какъ живутъ рабочіе, но и тому, какъ они ходятъ, говорятъ, даже какъ одѣваются и пьянствуютъ.

— Нечего головой-то качать, — задѣтая за живое пре-

зрительнымъ молчаніемъ Петра, снова заговорила Глафира.— Мы хоть и безъ понятіевъ, хоть и необразованы, а тоже видимъ, гдѣ бѣло, гдѣ черно, гдѣ свѣтло, гдѣ темно. Если не народъ смущать, такъ зачѣмъ же онъ сюда пріѣхалъ?

— Сначала просилъ разрѣшенія пріиски его дочери показать, добывку золота, промывку, ну и все прочее, а потомъ въ гости раза два ко мнѣ ѣздилъ.

—Вотъ какъ, въ гости,—протянула чуть не нараспѣвъ Глафира.— Вотъ у васъ какіе нынче гости-то бываютъ. Не чета намъ, мужикамъ.

Петръ и тутъ ничего не отвѣтилъ на вызывающе-насмѣшливый тонъ Глафириныхъ рѣчей. Въ темнотѣ лица его не было видно, но онъ продолжалъ стоять, не шевелясь, все въ той же позѣ.

— А ежели я этихъ гостей-то прикажу не пускать сюда? — еще болѣе обиженная этимъ молчаніемъ, молвила Глафира.

— Ну, что-жъ, тогда я стану чаще навѣщать ихъ. Какъ только выберу свободный день праздничный, такъ и пойду къ нимъ.

— Видно, больно сердце-то занозили? — сорвалось у Глафиры.

Петръ опѣшилъ и не сразу нашелся отвѣтить.

— Конечно, гдѣ ужъ намъ, безъ понятіевъ, тягаться съ ними, у кого понятія изъ книжекъ вычитаны. Мы люди маленькіе, ѣдимъ пряники неписанные.

Ея раздраженіе закипало въ груди все съ большею и большею силою. Если бы въ эту минуту передъ ней появились Улыбышевы, она бы вцѣпилась имъ въ глаза и выцарапала бы ихъ своими собственными руками. Мало того, что она убѣждалась съ каждымъ мгновеніемъ, что Улыбышева какъ-будто отдалила отъ нея Петра, она готова была даже думать, что, совмѣстно съ ними, Петръ осуждалъ ее, Глафиру.

Глафира гордо подняла голову и закончила съ ѣдкимъ пренебреженіемъ:

— Ну, что-жъ, иди къ нимъ, смѣйся съ ними надо мной, хули меня. Развѣ я человѣкъ, коли у меня нѣжныхъ понятіевъ нѣтъ.

Она почему-то порывисто сорвала платокъ, накинутый на плечи, и опять накинула его.

Петра начинала тяготить эта сцена.

— Никогда я надъ вами съ ними не смѣялся. И имени-то вашего ни разу при нихъ не упомянулъ.

— Гдѣ же *наше* имя упоминать! Достойны-ли мы такой чести!

— И человѣкомъ безъ понятіевъ я васъ тоже не могу считать потому только, что вы книжекъ не читаете. У каждаго человѣка есть понятія. Только у людей образованныхъ понятія эти по всей формѣ.

— Будто всѣ образованные ужъ такіе достойные люди. Тоже знаемъ мы, слыхали объ этихъ образованныхъ-то людяхъ съ понятіями, какъ они кассы казенныя взламываютъ, да художества разныя учиняютъ.

— Злые люди вездѣ есть.

— Значитъ, понятія и книжки не при чемъ.

— Нѣтъ, при чемъ.

— При чемъ же это?

— При томъ, что если иной человѣкъ по природѣ и плохой, образованіе можетъ удержать его отъ зла и вреда другимъ людямъ. Ну, а среди темныхъ бываютъ и такіе люди, что по природѣ-то онъ и добръ, и честенъ, а коли понятіевъ у него настоящихъ нѣтъ, такъ его легко и на всякое зло склонить.

— Ну, это тоже не всякаго. Иные апостолы и святые никакихъ книжекъ не знали, а ни на какое зло ихъ склонить нельзя было ни муками, ни соблазнами, — горячо отстаивала свою мысль Глафира.

— Я про святыхъ не говорю. Я про обыкновенныхъ людей.

— И среди обыкновенныхъ я насчитаю сколько угодно. Простой человѣкъ сердцемъ правду-то чуетъ.

— Но вѣдь ты сама давеча говорила, что потому до сихъ поръ много злыхъ дѣлъ творила, что не видѣла добрыхъ примѣровъ и хорошихъ рѣчей не слышала.

Глафира сконфуженно затеребила платокъ.

— И такихъ, какъ ты, много. А ежели бы они образованы были и книжки хорошія читали, такъ и понятія у нихъ были бы другія.

— А ты, видно, начитался такихъ книжекъ-то?

— Да, мнѣ давалъ Улыбышевъ. Затѣмъ я и знакомство веду съ нимъ, чтобы книжками отъ него позаимствоваться, а то развѣ я не понимаю, что не ровня я имъ. Земля и небо.

— Будто бы ты только изъ-за книжекъ къ нимъ ходишь?

— А изъ-за чего же еще-то?

— Кто тебя знаетъ, — подозрительно, но уже начиная слегка успокаиваться, продолжала Глафира. — А, можетъ, она тебѣ зазнобила ретивое. Знаемъ мы этихъ образованныхъ фитюлекъ-то. Съ виду — голубка чистая, а на дѣлѣ любую бабу за поясъ заткнетъ. Недавно, вонъ, такую же фитюльку съ кучеромъ татариномъ засталъ отецъ: Земницкую. Да диво — кучеръ-то былъ бы красивый да молодой. Уродъ, пьяница, грязный, навозомъ всегда отъ него пахло. А ты...

Еще Глафира не успѣла договорить послѣднихъ словъ, какъ Петръ бросился къ ней и, схвативъ ее за плечо, задыхаясь, проговорилъ:

— Не смѣй такъ говорить! Не изъ такихъ она, и мы съ тобой ноги ей умыть недостойны. Ребенокъ она. Грѣхъ такъ о ней и думать. Вотъ что!

— Ой-ли, заступникъ какой выискался!

— Да такой, что горло за нее перерву всякому, кто ее оклевещетъ...

— Ага, видно, она тебя околдовала-то, а не я, что

ты такимъ Ильемъ Муромцемъ сталъ, меня избить готовъ.

Петръ опомнился и, поборовъ свой гнѣвъ и волненіе, отошелъ къ столу и выпилъ залпомъ налитый ему стаканъ мадеры, при чемъ его даже передернуло съ непривычки и вино сразу ударило въ голову.

— Я объ этомъ и думать-то не стану, — пробормоталъ онъ.

— Всякій дерево по себѣ рубитъ. А только ты меня околдовала. Ты.

Онъ сѣлъ на подоконникъ и, поставивъ руки въ колѣни, опустилъ на нихъ голову.

Глафирѣ снова захотѣлось вѣрить словамъ Петра и она снова готова была просить у него прощенія, готовая во всемъ обвинить себя.

— Ну, Петя, милый, скажи: ты не любишь ее?

— Ахъ, нѣтъ, нѣтъ. Что ты!

— Ну, а кто красивѣе, — я или она?

— Ты, ты, — еще тише повторилъ онъ. Глафира дѣйствительно показалась ему необыкновенно близкой. Ему захотѣлось знакомыхъ ласкъ и объятій, прерванныхъ недолгой размолвкой. Глафира ясно ощутила это и даже не стала настаивать, чтобы онъ не посѣщалъ больше Улыбышева. Волна горечи, сомнѣній и озлобленія мгновенно отхлынула отъ ея сердца, и она снова почувствовала себя счастливой, любимой Петромъ.

## VIII.

Глафира прожила на пріискѣ еще три дня, отчасти для того, чтобы уладить всѣ недоразумѣнія съ рабочими, отчасти для Петра. Помимо всего этого, еще одно обстоятельство удерживало ее здѣсь: она все ждала, не пріѣдутъ-ли Улыбышевъ съ дочерью. Ей хотѣлось оконча-

тельно убѣдиться, что «удивленышъ», — какъ она мысленно и не безъ злобы прозвала дочь Улыбышева, — не опасна ей.

Но ее безпокоила мысль о возвращеніи мужа и о полученіи завѣщаній Акинфія Похвистнева.

Эти завѣщанія прошли не одно мытарство.

Дѣло въ томъ, что черезъ два мѣсяца по смерти своего мужа, Прасковья Ильинишна представила оба завѣщанія: то, въ коемъ мужъ ея назначалъ душеприказчикомъ послѣ себя своего старшаго брата Кирилла и дополнительное къ нему, въ коемъ онъ отказывалъ все свое имущество, движимое и недвижимое, родовое и благопріобрѣтенное, въ пользу жены своей, Прасковьи Похвистневой. — Оба завѣщанія она представила въ смиренскую судебную палату.

Смиренская палата, признавъ завѣщаніе соотвѣтствующимъ всѣмъ требованіямъ закона, остановилась на цѣнѣ завѣщаннаго имущества, которая, согласно какимъ-то тамъ статьямъ, должна быть объявлена или завѣщателемъ, или наслѣдникомъ по завѣщанію съ отвѣтственностью за утайку — штрафомъ въ двойномъ размѣрѣ крѣпостныхъ пошлинъ, а потому палата въ апрѣлѣ 187* года предписала преображенскому полицейскому управленію — Похвистневы жили въ это время въ Преображенскѣ — допросить Прасковью Похвистневу о цѣнѣ завѣщаннаго ей имущества.

Но этого такъ и не удалось сдѣлать. Прасковья Ильинишна умерла, оставивъ патріархальное духовное завѣщаніе, подписанное священникомъ въ Москвѣ.

Смиренская судебная палата, получивъ увѣдомленіе о смерти Прасковьи Похвистневой, постановила возвратить завѣщаніе наслѣдникамъ Прасковьи Похвистневой.

Это-то завѣщаніе и ждала Глафира получить отъ Кирилла, такъ какъ оно давало ей возможность держать въ рукахъ своего мужа. Кромѣ того, она надѣялась вымѣнять подъ той же угрозой эти завѣщанія Мисаила на

завѣщаніе Прасковьи, которое все же отдѣляло ей седьмую часть наслѣдства.

Время, проведенное ею съ Петромъ, на этотъ разъ особенно настойчиво располагало ее остановиться на послѣдней мысли. Эта мысль не покинула ее даже тогда, когда она на четвертый день, взявъ съ Петра слово, что черезъ три дня онъ пріѣдетъ самъ въ Смиренскъ, на восходѣ снова готовилась сѣсть въ плетенку, запряженную тройкой быстрыхъ степныхъ коней, которые съ зарей уже стояли у крыльца, весело позванивая колокольчиками.

Человѣкъ двадцать заводскихъ рабочихъ безъ шапокъ собрались у крыльца и оживленно галдѣли. Все это были «облагодѣтельствованные» наканунѣ Глафирой Николаевной, которая, согласно своему обѣщанію, частью въ укоръ Улыбышеву, для Петра, частью потому, что сама расчувствовалась, не только прибавила обиженнымъ поденную и задѣльную плату, но и помогла неимущимъ и обездоленнымъ щедрою рукою.

Впереди «облагодѣтельствованныхъ» стоялъ одинъ изъ степенныхъ рабочихъ, Кузьма Числовъ, ходившій нѣсколько лѣтъ на пріискахъ штейгеромъ и сломавшій себѣ не такъ давно правую руку при паденіи въ шахту и временно оставшійся поэтому безъ работы. По совѣту Петра Глафира приказала выдавать ему полъ-заработка до тѣхъ поръ, пока переломленная рука его не поправится. Покуда еще эта больная рука была на привязи, но на лѣвой онъ держалъ хлѣбъ-соль, который рабочіе просили принять отъ нихъ хозяйку, какъ знакъ особаго почтенія и благодарности.

Глафира приняла хлѣбъ не безъ умиленія.

— Спасибо, братцы, спасибо,— повторяла она, нѣсколько теряясь отъ неожиданности.

— Тебѣ спасибо за доброту, за милость. Проценья просимъ, ежели чѣмъ провинились. Развѣ знаешь, что

у человѣка въ душѣ. Мы завсегда съ нашимъ удовольствіемъ. По гробъ.

Народъ бросился помогать ей встать на довольно высокую подножку плетенки и сѣсть въ нее.

Особенно старался одинъ маленькаго роста мужиченко, на диво лысый, съ соломой въ бородѣ, босой и оборванный. Не смотря на столь ранній часъ, этотъ мужиченко, извѣстный подъ прозвищемъ «Кочерыжка» за свою привычку выражать всѣ свои чувства однимъ этимъ словомъ, былъ уже полупьянъ.

— Эхъ, лихіе кони, кочерыжка! — въ восторгѣ, умѣрявшемся только хрипѣніемъ, восклицалъ онъ, вертясь около тройки. — По хозяйкѣ и кони.

Лѣвая пристяжка, заломившая въ сторону голову, неожиданно лизнула его въ самыя губы.

— Ахъ, ты, кочерыжка! — разсмѣявшись, вскричалъ онъ и отскочилъ въ сторону.

— Вотъ тебѣ за кукельментъ, — съ громкимъ смѣхомъ воскликнулъ кто-то изъ толпы. — Поцѣловала.

— Дама, потому и поцѣловала, — весело отозвался кочерыжка. — Меня завсегда дамы любятъ, потому кудрявый я, не хуже Петра.

Онъ хлопнулъ себя по лысинѣ и мигнулъ въ сторону Петра такъ плутовато и забавно, что гоготанье въ толпѣ усилилось.

Петръ вспыхнулъ и покраснѣлъ. Глафира поспѣшила сѣсть въ повозку. Ямщикъ уже хотѣлъ тряхнуть вожжами, какъ, вдругъ, изъ-за угла конторскаго флигеля неожиданно появилась новая фигура, въ картузѣ съ краснымъ околышемъ, но безъ козырька, въ куцемъ, рваномъ пиджакѣ и обтрепанныхъ брюкахъ, едва покрывавшихъ рваные смазные ботинки.

Это былъ Парфенъ Молотковъ.

Всѣ эти три дня, пока Глафира была на пріискахъ онъ, согласно ея желанія, при усердіи ея вѣрныхъ слугъ, не выходилъ изъ кабака, и именно въ ту минуту, когда

Глафира была почти торжественно настроена, какимъ-то чудомъ очутился на дорогѣ передъ лошадьми.

— Стой! — величественно разставивъ ноги и поднявъ руки кверху, воскликнулъ Парфенъ. — Я не велю ѣхать, значитъ, стой.

Глафира смутилась и гнѣвно посмотрѣла на приказчика, который поправлялъ ей подъ спиной подушку.

— Вмѣсто того, чтобы наушничать-то, лучше бы исполнялъ то, что приказано, — прошипѣла она.

Приказчикъ съежился и виновато метнулся къ Парфену, котораго и самъ никакъ ужъ не ожидалъ видѣть здѣсь, такъ какъ всего нѣсколько часовъ тому назадъ оставилъ его мертвецки-пьянымъ въ своемъ сараѣ, къ тому же — припертомъ запоромъ.

— Ку-у-да? Ростомъ не вышелъ. Осади назадъ! — прикрикнулъ на него Молотковъ. — Мнѣ хозяйка нужна, а не челядь.

— Пусти его, — строго приказала Глафира. — Здравствуйте, Парфенъ Ильичъ. Что это васъ не видно было?

— Двухъ солнцъ на небѣ не бываетъ, вотъ я и зашелъ, пока хозяйка здѣсь сіяла. Въ кабачарово зашелъ. Но это въ сторону. Гдѣ мой сынъ?

— Сынъ, Вася. У меня гоститъ.

— Здоровъ?

— Здоровъ.

— То-то.

Парфенъ взялся за край плетенки и занесъ ногу на подножку ея.

— Куда ты лѣзешь? — крикнулъ приказчикъ.

— Цыцъ! — обернулся къ нему Парфенъ. — Тубо.

— Вотъ те, кочерыжка! — хлопнувъ себя по ногамъ и залившись смѣхомъ, выкрикнулъ любимецъ дамъ.

— Я ѣду съ тобой къ сыну, — строго заявилъ Глафирѣ Парфенъ.

— Оставьте, Парфенъ Ильичъ, — вступился въ дѣло Петръ, видя настойчивость Молоткова.

— Я ѣду къ сыну! — еще внушительнѣе повторилъ тотъ, не сводя своихъ воспаленныхъ глазъ съ Глафиры.— Я такъ желаю, вотъ и все.

Глафира махнула рукой Петру и подвинулась къ краю, чтобы дать незванному спутнику мѣсто.

— Садись.

— И сяду, потому что я стосковался по сынѣ, — со слезами выкрикнулъ Молотковъ, и все его опухшее до послѣдней степени отъ пьянства лицо сжалось въ плаксивую гримасу, черезъ мгновенье снова уступившую мѣсто строгому и даже презрительному выраженію.

— То-то. Я зналъ, что не поперечишь, потому «Молотокъ» — все еще расшибить можетъ,— проворчалъ онъ, тяжело влѣзая въ повозку.

— Пріѣзжай завтра за нимъ въ Новосельское! — успѣла въ это время шепнуть приказчику Глафира. — Да смотри у меня.

— Вотъ-те кочерыжка, — уныло протянулъ любимецъ дамъ, комически кланяясь по направленію пылившей и удалявшейся плетенки.

— Что, братъ, не выгорѣло и на полбутылки? — смѣясь, замѣтилъ кто-то изъ толпы.

— Н-да, забытъ. И отчего я не сѣлъ съ другой стороны, какъ Парфенъ. Вотъ неблагодарность. Эхъ, кочерыжка. Можно съ досады всѣ волосы изъ головы вырвать. А я-ли не старался возлѣ лошадей.

— Такъ что-жъ, тебя кобыла и отблагодарила.

— Можетъ, вотъ Петръ, что ни на есть, вмѣсто Глафиры Миколавны, на придачу къ кобыльей любезности дастъ.

— Держи карманъ шире. Много у него для пьяницъ припасено.

— Это, можетъ, ты пьяница-то, — отозвался Кочерыжка и горделиво стукнулъ себя въ грудь,— а я поощритель отечественнаго винодѣлія, чиномъ кабацкій аслесоръ. Такъ какъ же, Петръ Лексѣичъ, сподобьте.

— Убирайся.

— Можетъ, вы это изъ ревности отказываете любимцу дамъ, такъ я васъ за штофъ отъ соперника избавляю. Ну, полштофа. Соглашайтесь. Ей-ей, себѣ дороже стоитъ.

Петръ повернулся, чтобы уйти.

— Въ послѣдній разъ прошу, а то расчешу кудри свои, пиши пропало, отобью золотую рыбку.

— Молчи! — прикрикнулъ на него приказчикъ однако такъ, что только поощрилъ этимъ Кочерыжку къ дальнѣйшему.

— Ну, что вамъ стоитъ полштофъ? — не унимался Кочерыжка. — У васъ, чай, скоро отъ золотой рыбки-то свои хоромы будутъ.

Толпа, въ которой уже ходили кое-какія сплетни объ отношеніяхъ Глафиры къ Петру, сдержанно захохотала. Не смотря на то, что многимъ и, между прочимъ, заступничествомъ передъ Глафирой была обязана Петру эта толпа, она не прощала предпочтенія, которое въ слишкомъ ужъ завидной формѣ оказывалось ему.

Петра эта неблагодарность оскорбила. Онъ вспыхнулъ при послѣднихъ словахъ Кочерыжки, сопровождавшихся непріятнымъ смѣхомъ, и, обернувшись, сдѣлалъ къ шутнику нѣсколько шаговъ.

Толпа сразу перестала смѣяться.

— Я не изъ злопамятныхъ, — не возвышая голоса, обратился Петръ къ Кочерыжкѣ, — но если ты, али кто другой такъ шутить вздумаетъ, тому въ морду плюну и кулакомъ разотру. Помни!

Онъ рѣзко обернулся и пошелъ въ контору.

Между тѣмъ, повозка скрылась изъ глазъ наблюдавшихъ ее рабочихъ, и даже пыль, мало-по-малу, улеглась за нею. Рабочіе постояли на мѣстѣ, точно ожидая чего-то, потолковали, попробовали пошутить насчетъ «оборваннаго» Петромъ Кочерыжки и неожиданнаго отъѣзда Парфена Молоткова, но все это какъ-то не вязалось.

На первой же верстѣ Молотковъ ткнулся въ уголъ повозки и задремалъ, сопя носомъ и повременамъ тяжело и неожиданно всхрапывая. Глафира брезгливо отодвинулась отъ него въ противоположную сторону и изрѣдка только искоса на него взглядывала, думая, не притворяется-ли онъ пьянымъ и спящимъ.

Вотъ еще навязался:— съ отвращеніемъ думала Глафира.

Ей хотѣлось столкнуть его съ повозки прямо на дорогу въ пыль, но съ Парфеномъ Молотковымъ, она знала, опасно покуда обращаться съ такой безцеремонностью. Она рѣшила довести его до перваго кабака въ Новосельскомъ и оставить тамъ. Пусть заберетъ его завтра приказчикъ.

Скорѣе бы ужъ отъ него отвязаться: закончила Глафира размышленія; она вспомнила при этомъ, что стоило ей давеча сказать ямщику одной секундой раньше «трогай», и Парфенъ Молотковъ, какъ разъ въ это время неожиданно вышедшій навстрѣчу изъ-за угла флигеля былъ бы смятъ лошадьми.

Но ярко вообразивъ себѣ эту картину, Глафира вздрогнула и, снова взглянувъ мелькомъ на безпомощную опустившуюся фигуру Парфена, почти вслухъ сказала:

— Нѣтъ, не надо. Довольно. Ему и безъ того ужъ, видно, скоро конецъ. Вонъ онъ какой грузный. И кто бы повѣрилъ, что когда-то орелъ-парень былъ, красавецъ. Жена бросила, съ той поры, говорятъ, и запилъ. Пришла только умирать къ нему. Охъ, много на свѣтѣ зла отъ насъ, бабъ проклятущихъ.

Она даже вздохнула при этомъ сознаніи и перешла къ непокидавшимъ ее мыслямъ объ ожидающей ее встрѣчѣ съ мужемъ и о неизбѣжно предстоящей борьбѣ за независимость и ограбленное богатство.

Но эта борьба нисколько не пугала ее. Наоборотъ, она страшилась бы полнаго мира съ мужемъ, такъ какъ это

обязывало бы ее къ дальнѣйшему совмѣстному сожительству съ нимъ и невольному подчиненію, а Глафира ни на одну минуту не оставляла надежды, что рано-ль, поздно-ль, она ужъ безъ разлуки заживетъ съ Петромъ.

И о чемъ бы она ни начала думать, мысли ея все возвращались къ Петру.

Вотъ этому бы какъ угодно подчинилась. Рабой бы могла быть его, созналась себѣ Глафира. — Чудно!

Но въ это время Парфенъ завозился и закашлялся.

— Ужли я уснулъ? — удивился онъ, оглядываясь вокругъ и на Глафиру.

— Конечно, уснулъ, — отозвалась та, очнувшись.

— И много мы проѣхали?

— Верстъ пятнадцать всего. Не хочешь ли назадъ вернуться? Живо повернемъ и тамъ будемъ.

— Нѣтъ, нѣтъ, — поторопился отвѣтить Парфенъ. — Я сына желаю видѣть. У тебя сынъ?

— У насъ. Гоститъ.

— На кухнѣ. Хорошъ гость!

— Кто это тебѣ сказалъ, что на кухнѣ? — слегка смутилась Глафира.

— Гриша сказалъ.

— Какой Гриша?

— Юродивый Гриша.

— А гдѣ ты его видѣлъ? — суевѣрно встрепенулась Глафира.

— У насъ видѣлъ. На пріискѣ онъ у насъ позавчера былъ.

— Не можетъ быть: я его наканунѣ въ Смиренскѣ видѣла.

— Стану я тебѣ врать.

Глафира не только удивилась, но и испугалась этого

сообщенія. Суевѣрные слухи о томъ, что Гриша можетъ быть чуть не сразу въ нѣсколькихъ мѣстахъ, мгновенно припомнились ей, и она даже при этомъ какъ-то оторопѣла.

— Вотъ какъ! Гриша сказалъ. А откуда онъ знаетъ? Онъ и не былъ у насъ.

— Божій человѣкъ, потому и знаетъ. Чтобы мой сынъ и въ кухнѣ, этого я не могу допустить.

— Онъ въ кухнѣ только обѣдаетъ, а спитъ въ флигерѣ,— оправдывалась Глафира.

— Не допущу. Въ Москву отошлю, къ себѣ возьму, а чтобы въ кухнѣ, ни-ни!

— Зачѣмъ это?

— А объ наслѣдствѣ послѣ Прасковьи разспросить. Мнѣ тоже по закону тамъ должна быть доля. Чай, мы родственники.

Глафира принужденно разсмѣялась.

— Какое наслѣдство! какая доля. Да послѣ нея никакого наслѣдства и не осталось, а что осталось, такъ долговъ не покроетъ. Намъ изъ своихъ прійдется доплачивать. Наслѣдство!

— Ну, это ты очковъ-то мнѣ не втирай. Кто-нибудь другой, можетъ, такимъ баснямъ-то повѣритъ, да не я. Послѣ Прасковьи осталось большое наслѣдство, и я изъ него, что надо, получу.

— Будетъ смѣшить-то.

— Какъ бы не заплакала.

— Ой-ли!

— Вотъ-те и ой-ли. Такой пожаръ зажгу, что не обрадуетесь.

— Смотри не обожгись.

— Не обожгусь, а кого-нибудь другихъ пожалуй обожгу.

— Смотри ты, какой поджигатель.

— Да ужъ такой-то.

— Не хвастайся, а лучше моего бабьяго совѣта послу-

шай, смирись и конецъ. Чего тебѣ еще надо? Чего хочешь, того просишь. Водки — сколько влѣзетъ, ну и всего прочаго. А будешь грозить,— все потеряешь.

Парфенъ ничего не отвѣчалъ.

Глафира обиженно отвернулась. Водворилось довольно продолжительное молчаніе.

— Далеко до станціи? — спросилъ, не глядя на Глафиру, Парфенъ.

— Верстъ десять,—такъ же отвѣчала та.

— А какая это станція будетъ?

— Новосельское. А что?

— Пить до смерти хочется.

— У меня вино есть. Хочешь?

— Давай, ежели есть.

Глафира достала сбоку изъ дорожной корзины бутыль съ виномъ, но пробка была довольно плотно заткнута, штопора не нашлось, и Глафира тщетно старалась откупорить бутылку.

— Дай я попробую,— не выдержалъ Парфенъ.

Глафира передала ему бутылку, и онъ торопливо ухватилъ ее дрожащими пальцами.

Пробка не поддавалась. Онъ схватился за краешекъ ея зубами, но только оторвалъ кусочекъ. Эта неудача еще болѣе распалила его жажду, руки его еще сильнѣе тряслись, а глаза сверкали лихорадочнымъ огонькомъ.

— Да нѣтъ-ли гвоздя какого? — воскликнула Глафира.

— А для-ча гвоздь? — отозвался ямщикъ.

— Бутылку откупорить.

— Такъ у меня ножикъ есть съ пробошникомъ.

— Что же ты, дуракъ, молчишь?

— А что-жъ мнѣ говорить, коли у меня не спрашиваютъ.

Бутылку откупорили.

Парфенъ хотѣлъ уже поднести горлышко къ губамъ, но Глафира остановила его.

— Нѣтъ, этого нельзя, я сама хочу; а послѣ тебя пить законъ не велитъ.

— Такъ какъ же быть-то? Посуды нѣтъ.

— Есть, да тоже не для тебя.

— А, чортъ! Да какъ же быть-то?

— А пригоршней пей.

— Пролью.

— Ну, запрокинь голову, розинь ротъ, а я тебѣ прямо въ ротъ лить стану.

— Ладно.

Глафира приказала ямщику вести лошадей шагомъ.

Парфенъ закинулъ назадъ голову и разинулъ ротъ.

Глафира съ отвращеніемъ взглянула на его жадное и полное ожиданія лицо и, поднявъ бутылку, стала лить влагу въ ротъ пьяницы, такъ что тотъ даже поперхнулся отъ ароматной струи рома.

— Довольно? — спросила она, когда въ бутылки значительно поубавилось вина.

— Нѣтъ, еще...— не перемѣняя позы, пробормоталъ тотъ.

Глафира снова стала лить струйкой вино въ раскрытое горло. Слышно было бульканье вина, чмоканье языкомъ и легкія покрякиванья.

— Баста! — заявила Глафира и, приложивъ горлышко бутылки къ своимъ губамъ, сама стала тянуть ромъ глотокъ за глоткомъ. Парфенъ не сводилъ съ нея глазъ и даже повторялъ механически всѣ ея движенія и гримасы.

Глафира выпила, не поморщившись и отдала остатокъ ямщику, который давно уже искоса поглядывалъ назадъ и многозначительно покрякивалъ.

— Вотъ это я люблю! — въ восторгѣ отъ ея умѣнья пить не морщась, воскликнулъ Молотковъ.— Вотъ это баба!

Глафира не отвѣчала.

— Ну, не сердись, Глаша,— снисходительно обратил-

ся къ ней сразу оньянѣвшій Молотковъ. Ты думаешь, я вправду бороться съ тобой буду. Для того, думаешь, и ѣду. Куда мнѣ. Ни денегъ нѣтъ у меня для этого, ни силъ. Сжегъ ихъ я, спиртомъ сжегъ, а ты доканчиваешь.

— Будетъ вздоръ-то молоть.

— Э, полно, — тряхнулъ головой Молотковъ. — Чего намъ въ прятки-то другъ съ другомъ играть. По совѣсти тебѣ, на чистоту все говорю и не ропщу, а объясняю. Другому бы не сказалъ, а тебѣ скажу, потому что въ тебѣ вмѣстѣ съ чортомъ-то и ангелъ Божій живетъ.

Глафиру послѣднія слова поразили.

— Ну? — сорвалось у нея.

— Для ради этого ангела и говорю съ тобой.

— Говори.

— Мнѣ самому ничего не надо, окромя того, что есть. По твоей милости всего достаточно, особливо водки. Да ты не хмурься. Я не сержусь. И безъ тебя то же самое было бы, только, можетъ, днемъ позже. А не все ли это едино. Не о себѣ я, а объ сынѣ. Не оставь его.

Все лицо старика, вдругъ, сдѣлалось необыкновенно жалкимъ, а въ глазахъ блеснули слезы. Глафира взглянула на эти синія, искривившіяся губы, на эти дрыгающія щеки и полный мольбы и страданія взоръ и протянула Молоткову руку.

— Слово тебѣ даю, что не оставлю.

— Спасибо.

Онъ хотѣлъ поднести ея руку къ своимъ губамъ, но она быстро отдернула ее и поцѣловала его въ лобъ сама.

Вдали показалось Новосельское.

Лошади, чуя впереди легкій отдыхъ, поддали, и ямщикъ съ радостью воскликнулъ:

— Ну, вотъ и Новосельское и кабачокъ, выпьемъ, значитъ, на пятачокъ. Гей вы, соколики, подхватывайте.

— Люблю я быструю ѣзду, — прервала молчаніе Глафира. — Особливо зимою, когда безъ пыли, безъ треска и грохота летишь по степи въ саняхъ, на тройкѣ, такъ что

8*

духъ захватываетъ. Любо. Какъ-то при быстрой ѣздѣ изъ тебя точно всѣ тяготы выдуваетъ, и легче становится на душѣ.

— Да и я любилъ когда-то,— отозвался глухо Парфенъ.

— А теперь развѣ не любишь?

— Теперь какъ-то равнодушенъ къ этому. Ко всему, кромѣ водки равнодушенъ. Даже къ сыну, кажется, равнодушенъ.

— Полно, что ты пустяки мелешь.

— Вѣрно. Развѣ, если бы не равнодушенъ я былъ,— развѣ я бы...

Онъ не докончилъ своей фразы, но Глафира поняла, что онъ хотѣлъ сказать,— развѣ оставилъ бы тогда втунѣ дѣло о наслѣдствѣ. Она поспѣшила замять этотъ разговоръ.

— Ну, это ты такъ только клеплешь на себя по пустому. Коль не любилъ бы, не ѣхалъ бы къ нему.

— А, можетъ, это я замѣсто прощенья.

— Сынъ отцу не судья.

— Сынъ-то, можетъ, и не судья, да совѣсть — судья. Ее ничѣмъ не зальешь — ни виномъ, ни слезами.

Въ послѣднихъ словахъ Глафирѣ послышался намекъ на ея собственный грѣхъ. Что-то непріятно заскребло у нея въ глубинѣ сердца, тѣмъ болѣе что здѣсь, рядомъ съ ней, сидѣлъ одинъ изъ тѣхъ, противъ которыхъ совѣсть была не чиста.

А вздоръ, — сказала она сама себѣ. Точно въ отвѣтъ на эту мысль Молотковъ продолжалъ какъ бы про себя:

— И чудная вещь эта совѣсть. Никто ея не видитъ, а всѣ боятся. Что совѣсть скажетъ? Ни одного судью такъ не боятся, какъ ее. Потому что подкупить ее ничѣмъ нельзя. Другой и въ Бога не вѣруетъ, Бога не боится, страшнаго суда не ждетъ, а отъ совѣсти въ гробъ готовъ лечь.

— Будто ужъ нѣтъ на свѣтѣ безсовѣстныхъ людей?—

криво усмѣхаясь, возразила Глафира, не глядя на Молоткова.

— Людей — нѣтъ. Да что людей! Въ животныхъ, изъ тѣхъ, что почище, да поумнѣе, и въ тѣхъ совѣсть есть, не такая, какъ у человѣка, а есть. Убилъ Каинъ Авеля, брата своего, да и думаетъ: какъ я убивалъ, никто того не видѣлъ, — ни отецъ, ни мать... никто... Растерзаютъ его трупъ звѣри, и слѣдъ пропадетъ. Только онъ сказалъ себѣ это, какъ, вдругъ, какой-то голосъ явственно вскричалъ: «Нѣтъ, я видѣлъ». Каинъ обернулся, — никого нѣтъ. Подумалъ, что ему показалось, а голосъ еще явственнѣе повторилъ ему: «Нѣтъ, я видѣлъ». Каинъ даже вздрогнулъ. Спрашиваетъ: «кто ты?» — «А я, — говоритъ, — душа Авеля». Гдѣ же ты, говоритъ, находишься? — «А я въ тебѣ», отвѣчаетъ душа. И съ тѣхъ поръ не зналъ ужъ Каинъ покоя.

— Что за вздоръ. Какъ же Авелева душа-то въ Каинѣ очутилась.

Молотковъ загадочно улыбнулся и не сразу отвѣтилъ:

— А ужъ такъ... Такова премудрость Божія, что каждый человѣкъ въ своей душѣ ближняго своего носитъ. И какъ онъ обидитъ чѣмъ-нибудь ближняго, такъ душа того въ немъ безпокоиться начинаетъ.

— Бабьи бредни, — съ напускной небрежностью пробормотала Глафира и отвернулась отъ своего сосѣда, оскорбленная и униженная.

— Этакъ, значитъ, каждый человѣкъ долженъ въ себѣ всѣ мірскія души носить? — почти смѣясь, выговорила она громко.

— Да, всѣ мірскія души, — просто отвѣтилъ Молотковъ.

— Слышишь, Ефимъ, что онъ говоритъ, — обратилась тѣмъ же насмѣшливымъ тономъ Глафира къ ямщику, чувствуя потребность въ поддержкѣ со стороны.

— Да, бываетъ, особливо съ женскимъ родомъ, не въ обиду ему будь сказано, потому, какъ у бабы не душа, а

паръ. А только баба съ бабой никогда не уживутся, — неожиданно закончилъ Ефимъ и, хлестнувъ пристяжку, прикрикнулъ на нее: — ну, ты, лярва... Я те̂ пропишу мораль.

Глафира съ досадой пожала плечами.

— Душѣ много мѣста не надо, — попрежнему спокойно продолжалъ Молотковъ. — Можетъ, всѣ мірскія души-то въ горчичномъ зернѣ умѣстятся, не только въ человѣкѣ.

— Какъ онѣ тамъ не передерутся, — все еще храбрилась Глафира. — Вонъ Ефимъ говоритъ, что баба съ бабой и то не могутъ ужиться вмѣстѣ, а ужъ гдѣ же ужиться всѣмъ душамъ въ одномъ помѣщеніи.

— Это подлинно, — обрадовался Ефимъ. — Бабы не уживутся. Взять хоть бы къ примѣру мою Марью и матушку, али Афимью и Катерину, — грызутся, чисто собаки, а вѣдь, кажись, и дѣлить-то нечего имъ. А все оттого, что паръ въ нихъ, какъ бы сказать, бушуетъ. Въ родѣ какъ въ самоварѣ, и наружу просится. Ну, ты, лярва!

Глафира, вдругъ, почувствовала себя ужасно одинокой и несправедливо отвергнутой всѣми. О, чтобы провалиться вамъ всѣмъ сквозь землю! — уже почти съ отчаяніемъ мысленно воскликнула она, и ея красивое, загорѣлое за дорогу лицо стало непріятнымъ и злымъ.

— Вотъ и станція, и кабакъ православный! — съ отрадою провозгласилъ Ефимъ, раскланиваясь съ мужиками и стараясь принять возможно горделивый видъ. — Тпру, ты, лярва; ишь, какъ расходилась, не уймешь, — прикрикнулъ онъ на пристяжную и, хлопнувъ ее вожжей, лихо остановилъ лошадей у воротъ почтовой станціи.

## IX.

Первымъ дѣломъ по пріѣздѣ домой Глафира освѣдомилась о мужѣ. Онъ еще не пріѣзжалъ. Она отправилась къ Кириллу, но дойдя до его флигеля, раздумала итти къ нему и рѣшила позвать его къ себѣ. Такъ молъ будетъ спокойнѣе. Нечего ихъ баловать-то.

День былъ субботній и Глафира съ удовольствіемъ узнала, что при домѣ топилась баня. Приказавъ Агафьѣ сообщить Кириллу Матвѣевичу о своемъ пріѣздѣ, она съ удовольствіемъ отправилась въ горячо натопленную баню и пробыла тамъ, по крайней мѣрѣ, часъ. Агафья до изнеможенія парила ее на полкѣ, пока сама хозяйка, истомленная и сладко-уставшая, красная, какъ піонъ, не растянулась неподвижно на лавкѣ въ передбанникѣ и, тяжело дыша, не возгласила:

— Квасу. Холоднаго. Со льдомъ.

Агафья быстро сбѣгала за квасомъ, и Глафира жадно стала пить его прямо изъ большой деревянной чашки, полулежа на скамейкѣ и запрокинувъ голову съ широко распустившимися густыми влажными черными волосами.

— Ну, что Кириллъ Матвѣичъ? — спросила она Агафью.

— Въ твоей горницѣ дожидаетъ.

Глафира, не торопясь, одѣлась и, физически облегченная, освѣжившаяся, послѣ утомительной почти полуторасто-верстной дороги, вошла въ горницу, гдѣ около стола съ кипящимъ на немъ самоваромъ сидѣлъ Кириллъ.

Глафиру сразу поразилъ растерянный видъ Кирилла и его блѣдное лицо, слегка даже похудѣвшее за тѣ три дня, что она его не видѣла. У нея какъ-то даже сердце сжалось при видѣ этой перемѣны въ деверѣ, и въ головѣ мелькнула тревожная мысль: ужъ не приключилось ли чего неладнаго?

Кириллъ успокоилъ ее. Все оставалось попрежнему тайной. Но отравляла жизнь взволнованная совѣсть.

— Спать не могу, — шепотомъ говорилъ Кириллъ, боясь глядѣть прямо на Глафиру и попрежнему вертя на животѣ одинъ палецъ вокругъ другого.— Такъ вотъ и стоитъ въ глазахъ, такъ и стоитъ. Особливо по ночамъ, когда одинъ остаюсь.

Въ отвѣтъ на это признаніе онъ уже думалъ услышать отъ Глафиры, по обыкновенію, или ѣдкую насмѣшку, или презрительное замѣчаніе, но къ удивленію его на этотъ разъ она не безъ сочувствія спросила также тихо:

— Въ какомъ же видѣ?

— Да вотъ, то, какъ тогда, когда мы у нея... тамъ... съ Мисаиломъ чуть до убійства не дошли: будто вскакиваетъ съ постели и въ горло мнѣ...— шепталъ блѣдными губами и съ нервной дрожью въ глазахъ Кириллъ. И самоваръ, какъ сейчасъ вотъ... шумѣлъ и кипѣлъ... А то прямо приходитъ, какъ черная тѣнь, и говоритъ такъ-то укоряюще: «Ахъ, Кириллъ, Кириллъ...» Точно ножомъ рѣжетъ!

— А ты молиться пробовалъ?

— Пробовалъ... Не помогаетъ.

— Съ заклятіемъ?

— Не помогаетъ.

— Святой водой бы постель окроплялъ.

— Не помогаетъ.

— Стѣны и балки крестомъ отмѣтилъ.

— Не помогаетъ. Вѣдь это *она* не снаружи, а изъ меня приходитъ. Во мнѣ она живетъ. Тутъ... тамъ...— онъ страдальчески и растерянно указывалъ на голову и на грудь.— Совѣсть это моя.

— И ты то же! — сорвалось восклицаніе у Глафиры.

Но Кириллъ или не разслышалъ, или не обратилъ вниманія; онъ продолжалъ:

— А тутъ еще Гриша... Пришелъ на-дняхъ... Всю душу выворотилъ.

— Опять Гриша? Что же онъ говорилъ?

— Кто его знаетъ. Понять нельзя, а страшно. Видно, что все ему извѣстно. Охъ, Господи, Господи! Глухонѣмой, и тотъ...

— Ну, этотъ-то еще что?.. Вѣдь онъ-то ужъ и совсѣмъ не говоритъ ничего, — пожала плечами Глафира, однако, сообщеніе о глухонѣмомъ напугало ее чуть-ли не больше всего.

— Такъ развѣ въ разговорѣ дѣло! Слова — что? Слова — звуки. Онъ хуже сдѣлалъ. Слѣпилъ изъ глины голову Прасковьи, да и поставилъ мнѣ ее на окно. Ложась спать-то, я ее и не замѣтилъ. Его къ себѣ взялъ спать, чтобы не жутко было одному. Ночью она, какъ слѣдоваетъ, явилась ко мнѣ; просыпаюсь въ холодномъ поту. Лампадка горитъ. Гляжу, а на окнѣ, прямо передо мною голова ея. Крикнуть хочу, — голоса нѣтъ, шевельнуться, — точно скованъ. Гляжу, — онъ смотритъ на меня, глаза большіе такіе, точно совѣсть изъ нихъ глядитъ. Лицо тоже блѣдное.

— Онъ, вѣрно, нарочно это сдѣлалъ. Не спалъ. Дожидался, — перебила Глафира.

— И я такъ подумалъ. Мычитъ что-то. Указываетъ мнѣ то на нее, то на небо. Опомнился я, да какъ бросился къ нему... Чуть не убилъ, — тяжело дыша и какъ-то криво усмѣхаясь поблѣднѣвшими губами, уже хрипло договорилъ свои слова Кириллъ.

И безпокойно заерзалъ на своемъ стулѣ, озираясь вокругъ, но ужъ сразу съ нѣсколько измѣнившимся выраженіемъ лица. Глафира точно манила его къ себѣ своими прищуренными глазами, и онъ мало-помалу вмѣстѣ со стуломъ своимъ сталъ подвигаться къ ней, жадно вытягивая голову, поводя плечами и быстро моргая мгновенно посоловѣвшими глазами!

— Не уйду... вѣрно... Изъ-за тебя не уйду, — бормо-

талъ онъ, положивъ ей руку на все еще горячее послѣ бани колѣно и слегка перебирая на немъ пальцами бѣлую фланелевую матерію капота.

Глафирѣ стало и смѣшно, и жалко его и, противно отъ его прикосновенія. Кромѣ того ей казалось, что близость его можетъ и ее заразить тѣмъ же страхомъ.

— Грѣхъ... Праздникъ завтра,— строго сказала Глафира, отводя отъ себя уже цѣплявшіяся за нее руки Кирилла. Да и не затѣмъ я позвала тебя. Ты вотъ лучше скажи мнѣ: получилъ завѣщанія, или нѣтъ?

— Какія завѣщанія?

— Будетъ прикидываться-то. Какія завѣщанія. Скитъ, скитъ, а самъ насчетъ денежекъ-то ухо востро держитъ.

— Э-э-хъ, Глашенька, вѣдь изъ-за тебя все. Понять ты меня не хочешь. Хоть чѣмъ-нибудь хочу тебя при себѣ удержать,— откровенно сознался онъ.

— Я и безъ того тебя не отталкиваю,— покривила душой Глафира.

— Правда?! — обрадовался тотъ, снова потянувшись къ ней и цѣпляясь за ея капотъ своими быстро шевелившимися, какъ паучьи лапки, пальцами.— Правда? Ну, повтори... Ну, утѣшь... Поклянись... Вѣдь мнѣ, старичку, не много надо.

Онъ совсѣмъ прижался къ ней, и его жидкая, рѣдкая борода коснулась даже круглаго, розоваго подбородка Глафиры съ продолговатою ямочкою по серединѣ. Глафира слегка отклонилась, и онъ такъ и впился губами въ ея упругую съ пушистыми слегка завившимися назади волосами шею.

Глафиру щекотали его губы. Она лѣниво ежилась и поводила головой съ полузакрытыми глазами, то сгибая, то разгибая шею, отчего между шеей и плечомъ образовалась у нея мягкая складка, и ее-то особенно жадно цѣловалъ старикъ, почти задыхаясь отъ запаха бани, березоваго листа и ея свѣжаго тѣла.

— Ну, довольно... довольно, — остановила его Глафира, отодвигаясь въ сторону и оглядываясь черезъ плечо на Кирилла, такъ и оставшагося на мѣстѣ съ протянутыми дрожащими руками, полураскрытымъ ртомъ, съ легка отвислою челюстью, и широко открытыми глазами.

— Поцѣлуйчикъ... Одинъ поцѣлуйчикъ въ губки, — гнусаво умолялъ онъ, не мѣняя позы, и его слегка приподнятая кверху борода прыгала на тѣни.

— Завѣщаніе.

— Да еще не получалъ я его.

— Поклянись.

Кириллъ поклялся, но она безъ клятвы видѣла, что онъ не лжетъ.

— Ну, на, цѣлуй, въ задатокъ, — подставила она ему полныя, красныя губы. Довольно. Довольно. Такъ смотри же, прямо въ руки мнѣ передай его, если при Мисаилѣ придетъ. Не утаи.

— Зачѣмъ мнѣ утаивать. На что оно мнѣ? Говорю тебѣ, мнѣ гроша теперь не надо. Грѣхъ только одинъ съ деньгами-то. Я и свои нищимъ теперь раздаю, чтобы за грѣхи мои молились.

— Ври больше, раздашь ты!

— Право, раздаю.

— Теперь какъ только придетъ ко мнѣ покойница, я прямо буду къ тебѣ али къ Мисаилу ее посылать. Такъ прямо и скажу ей: я, молъ, не виноватъ; къ нимъ иди.

У Глафиры мурашки забѣгали по тѣлу и за ушами ощутился непріятный холодъ.

— Ну, ко мнѣ-то она не придетъ! — рѣзко заявила Глафира. — Я слово такое знаю.

— Научи! — взмолился Кириллъ. — Что за слово такое?

— Убирайся къ чорту, вотъ какое слово! — засмѣявшись нехорошимъ смѣхомъ, отрѣзала Глафира.

Покоробило Кирилла. Онъ почти съ ужасомъ поглядѣлъ на Глафиру. Даже отъ нея онъ не ожидалъ ничего подобнаго.

— Съ этимъ словомъ я покуда обращаюсь и къ тебѣ, — не унималась Глафира. — Я спать хочу. Да позови мнѣ Агафью, пусть она Анфису приведетъ.

Напрасно Кириллъ умолялъ Глафиру оставить и его. Она и слышать не хотѣла объ этомъ, и онъ повиновался, съ тяжелымъ и тревожнымъ чувствомъ отправляясь въ свой флигель.

— Желаю тебѣ пріятнаго свиданія, — напутствовала его Глафира все въ томъ же насмѣшливомъ тонѣ.

Но въ свой флигель ему итти не хотѣлось. Все-равно заснуть тамъ, особенно послѣ такихъ разговоровъ съ Глафирой, онъ не могъ бы. Въ окнѣ конторы свѣтился огонекъ: тамъ Глафира устроила покуда Молоткова, и Кириллъ рѣшилъ направиться къ нему.

Но прежде, чѣмъ войти туда, онъ захотѣлъ посмотрѣть въ окно, что тамъ дѣлается. Кириллъ подкрался къ окну, тому самому, около котораго Петръ нѣсколько мѣсяцевъ тому назадъ случайно подслушалъ разговоръ братьевъ съ докторомъ, и осторожно поднялъ голову, заглядывая во внутрь комнаты.

Сначала Кириллъ ничего не увидѣлъ, но потомъ взглядъ его упалъ на большую кожаную кушетку, стоявшую справа у стѣны, и онъ въ изумленіи широко открылъ глаза.

На кушеткѣ сидѣлъ Парфенъ Молотковъ, но ужъ не въ своей рванинѣ, а въ бѣльѣ, которое ему приказала выдать Глафира вмѣстѣ съ кое-какими вещами Мисаила, сидѣвшими на немъ мѣшкомъ. Онъ недавно вышелъ изъ бани, въ которой мылся послѣ Глафиры. Волосы его были причесаны и, вообще, видъ довольно благообразенъ. Рядомъ съ нимъ, лицомъ къ нему, сидѣлъ глухонѣмой, тоже во всемъ чистомъ, и тутъ не трудно было уловить сходство между отцомъ и сыномъ. На столѣ пе-

редъ ними стоялъ полупотухшій самоваръ и кое-какіе объѣдки ужина.

Кирилла поразило то, что отецъ и сынъ съ оживленными лицами быстро жестикулировали и перебирали другъ передъ другомъ пальцами. Кириллъ понялъ, что они разговариваютъ между собою и, судя по быстрымъ движеніямъ пальцевъ того и другого, особенно сына, онъ понялъ, что разговоръ между ними идетъ одинаково интересный для обоихъ, и Кириллу казалось,— не безъинтересный для него.

Лампа освѣщала только лицо глухонѣмого въ три четверти. Общій характеръ измѣнчивыхъ выраженій его подвижного лица былъ страдальчески-ужасный. Иногда страданіе и ужасъ уступали мѣсто жалости, безграничной жалости, свѣтившейся не только въ его сѣрыхъ глазахъ, но и въ каждой черточкѣ его полудѣтскаго и необыкновеннаго лица. Эти выраженія, но съ меньшей яркостью, казалось, повторяли и черты отца.

Въ душу Кирилла началъ постепенно закрадываться ужасъ. Стало представляться, наконецъ, что онъ отлично понимаетъ этотъ страшный и необыкновенный языкъ и что сущность разговора совершенно ясна ему. Сынъ *все* разсказываетъ отцу, все, что душитъ и мучитъ Кирилла, все, что онъ, этотъ странный и страшный мальчикъ, знаетъ объ ихъ преступленіи, а онъ навѣрное, знаетъ *все*. Не разъ Кириллъ съ внутренней дрожью замѣчалъ устремленный на него взглядъ глухонѣмого съ такимъ проникновеннымъ и осуждающимъ выраженіемъ, что сердце Кирилла холодѣло; не разъ неуловимыя мелочи, которыя трудно было истолковать, говорили также о томъ со стороны мальчика, что ему все извѣстно. А, можетъ быть, онъ колдунъ какой-нибудь? Приходила Кириллу въ голову мысль. Онъ также приписывалъ чуть-ли не колдовству и необыкновенную способность мальчика лѣпить разныя фигуры изъ

воска и глины, фигуры иногда поразительно похожія на тѣ лица, которыя онъ хотѣлъ изобразить.

Вотъ какъ, напримѣръ, голова Прасковьи Ильинишны...

Кириллъ хотѣлъ бѣжать, но сильно ослабѣлъ и сталъ пробираться къ конторской двери, цѣпляясь за стѣнку, какъ пьяный, и все бормоча одно и то же:

— Ахъ ты, Господи... Господи... Помози мнѣ, Господи... Мати Пресвятая Богородица... Спасъ милостивый...

Онъ не шелъ, а его какъ-будто толкала какая-то сила. Огромная собака, бѣгавшая на кордѣ, протянутой черезъ весь дворъ, бросилась было къ Кириллу съ злобнымъ ворчаніемъ, громыхая цѣпью и шурша кольцомъ по веревкѣ, но узнавъ своего, сразу завиляла хвостомъ. Кириллъ, не останавливаясь, добрался до ступенекъ лѣстницы и толкнулъ дверь. Она распахнулась, и онъ вошелъ въ горницу, гдѣ сидѣли отецъ и сынъ.

Рѣшимость мгновенно покинула Кирилла, лишь только онъ переступилъ порогъ этой горницы.

Кириллъ переводилъ глаза съ отца на сына, точно изумленнаго приходомъ неожиданнаго гостя, и его суевѣрный страхъ и волненія утихали. Онъ даже облегченно вздохнулъ, что не завопилъ передъ ними о своемъ грѣхѣ и, такимъ образомъ, не натворилъ, можетъ быть, непоправимой глупости, которой выдалъ бы себя съ руками и съ ногами.

Однако онъ не сразу нашелся, что ему сказать, и нѣсколько мгновеній простоялъ молча, крутя въ замѣшательствѣ одинъ палецъ вокругъ другого и неопредѣленно кланяясь Парфену. Наконецъ, онъ сдѣлалъ шагъ впередъ и произнесъ, протягивая Парфену руку:

— Здравствуйте, Парфенъ Ильичъ. Чай да сахаръ.

— Здравствуйте. Спасибо, — довольно сухо отвѣтилъ Парфенъ.

Кириллъ опять повертѣлъ пальцами и, оглядывая разсѣяннымъ взглядомъ комнату, точно онъ видѣлъ ее въ первый разъ въ жизни, продолжалъ, какъ бы оправдываясь:

— Не спится что-то. Ночь такая славная, вышелъ подышать воздухомъ, смотрю, у васъ огонекъ. Дай, думаю, зайду.

Парфенъ все еще молчалъ съ такимъ выраженіемъ въ лицѣ, точно хотѣлъ сказать: ну, а что же дальше-то?

— Надолго къ намъ пожаловали? — спросилъ онъ Парфена, какъ бы невзначай присаживаясь бокомъ на табуретъ, стоявшій у стѣны.

— Нѣтъ, не надолго, не бойтесь!

— Чего же мнѣ бояться-то, — встрепенулся Кириллъ.

Молотковъ только пристально поглядѣлъ на него своими все еще опухшими, слегка прищуренными глазами и не сразу отвѣтилъ:

— Ну, это какъ сказать чего... Пуганая ворона куста боится. Люди не столько другихъ боятся, сколько себя въ другихъ.

— Темно что-то, не понимаю.

— Спроси Прасковью, она объяснитъ.

Кириллъ не то засмѣялся, не то закашлялся въ отвѣтъ на это.

— Шутникъ ты, право... Шутникъ.

— Я-то шутникъ? — медленно обратился вдругъ Парфенъ къ Кириллу, слегка вытянувъ голову и заглядывая тому въ глаза. — Я-то шутникъ? Ну, а ты кто? Вы кто?

Молотковъ не былъ пьянъ. Онъ не хотѣлъ являться передъ сыномъ въ такомъ жалкомъ видѣ и, несмотря на то, что знакомая жажда мучительно терзала его, не выпилъ ни капли водки. За то глаза его теперь блестѣли лихорадочнымъ огнемъ и душа кипѣла раздраженіемъ, искавшимъ выхода. Кириллъ понялъ, что можетъ разразиться гроза, смутился и, поблѣднѣвъ,

взглянувъ на глухонѣмого, какъ бы ища у него защиты.

Глухонѣмой встрѣтилъ взглядъ Кирилла, и на лицѣ его отразилось не то сожалѣніе, не то растерянность. Онъ двинулся всѣмъ своимъ тѣломъ къ отцу, точно хотѣлъ остановить его порывъ. Тотъ обернулся къ сыну, и сынъ сдѣлалъ отцу только знакъ пальцами, сопровождая этотъ знакъ настойчиво-просящимъ выраженіемъ лица.

Молотковъ остановился и махнулъ рукой.

— Жалѣетъ онъ тебя и проситъ, чтобы я пожалѣлъ,— пробормоталъ онъ, почти недовольный тѣмъ, что ему не удалось излить своей досады и озлобленія.

Глухонѣмой улыбнулся, довольный тѣмъ, что отецъ послушался его, и въ знакъ удовольствія закивалъ головой.

На Кирилла эта сцена подѣйствовала самымъ страннымъ образомъ. Испугъ его и растерянность сразу смѣнились чувствомъ живой благодарности и, вмѣстѣ съ тѣмъ, раскаянія въ грѣхѣ передъ ними.

— Спасибо хоть за то, что пожалѣли,— пробормоталъ онъ, поднимаясь тяжело со скамьи и кланяясь низко отцу и сыну,— слабость мою пожалѣли.

Онъ хотѣлъ сказать еще что-то, но слезы и спазмы сдавили ему горло и, поднявъ обѣ руки, онъ попятился къ двери, бормоча какъ бы про себя:

— Когда-нибудь... Послѣ... Вдругорядь... О-охъ, Господи, Господи!

Дверь затворилась за нимъ съ такимъ скрипомъ, словно сама вторила этому восклицанію, искренно сочувствовала несчастному и приглашала къ тому же присутствовавшихъ.

Отецъ и сынъ снова остались вдвоемъ.

На самомъ дѣлѣ, глухонѣмой вовсе не зналъ объ ихъ преступленіи. Онъ видѣлъ только одну сцену борьбы двухъ братьевъ около покойницы, сцену, которая едва

не свела его съ ума. Онъ только чувствовалъ во всемъ этомъ нѣчто ужасное и мрачное, что до сихъ поръ давило и угнетало его до того, что со времени послѣдней встрѣчи съ Глафирой въ саду, онъ всѣми силами избѣгалъ ея и былъ очень доволенъ, что она также старалась не встрѣчаться съ нимъ. Особенно же онъ возненавидѣлъ ее съ той минуты, когда она, такъ жестоко наглумившись надъ Фисой, выгнала дѣвочку вонъ, и та въ полубезпамятствѣ отъ страха и неожиданности, прибѣжала къ нему и, дрожа, какъ испуганная птичка, кое-какъ передала ему обо всемъ случившемся. Благодаря установившейся между ними братской близости, глухонѣмой, кажется, понималъ не только каждый ея жестъ и движеніе губъ, но и каждый взглядъ.

Въ ту ночь Фисѣ едва удалось удержать его. Онъ все рвался къ Глафирѣ, чтобы отмстить той за ребенка, и всю ночь не сомкнулъ глазъ около уснувшей дѣвочки, терзаемый тревогою за нее и неудовлетвореннымъ негодованіемъ на людскую несправедливость и злобу.

Очень можетъ быть, что въ эту ночь Глафира избавилась отъ большой опасности, такъ какъ, несмотря на свой полудѣтскій возрастъ, глухонѣмой обладалъ огромною силою, особенно въ пальцахъ.

Все это онъ разсказалъ теперь отцу при совершенно неожиданной встрѣчѣ съ нимъ, неожиданной потому, что со времени послѣдняго ихъ свиданія въ Москвѣ, не имѣлъ понятія о томъ, гдѣ находится его отецъ, а за разрѣшеніемъ этого вопроса ему обратиться было не къ кому.

Между Молотковыми, отцомъ и сыномъ, существовали довольно странныя отношенія. Парфенъ сказалъ правду, когда сообщилъ Глафирѣ, что совѣсть его не чиста передъ сыномъ. Онъ во многомъ считалъ себя виновнымъ передъ нимъ и, прежде всего, отчасти виновнымъ въ его роковомъ недостаткѣ.

Неожиданная для Молоткова смерть Прасковьи Ильи-

нишны сразу и, поневолѣ заставила его подумать о судьбѣ сына и тѣмъ какъ бы, хоть до нѣкоторой степени, искупить вину передъ нимъ.

Ему понятно стало ихъ настойчивое желаніе отправить его, законнаго наслѣдника, куда-нибудь подальше, въ глушь и споить тамъ. Онъ, пожалуй, примирился бы и съ этимъ обстоятельствомъ, махнувъ на все рукою, если бы у него была твердая надежда на то, что Похвистневы не оставятъ дѣйствительно Васю, какъ обѣщала это сдѣлать Глафира. Теперь, услышавъ отъ сына его спутанный и кошмарный разсказъ о преступленіи у неостывшаго еще трупа покойницы, Парфенъ въ лихорадочномъ возбужденіи поклялся вывести преступниковъ на свѣжую воду.

Теперь, по уходѣ Кирилла, подозрѣніе его выросло еще болѣе и укрѣпилось почти въ увѣренность, что помимо простого воровства, тутъ кроется еще что-то пострашнѣе. Онъ остался доволенъ, что сынъ остановилъ бушевавшую въ немъ и просившуюся наружу передъ Кирилломъ бурю. Такая неосторожность могла бы испортить все дѣло.

— Ты хорошо это сдѣлалъ... хорошо, что остановилъ меня во-время,— обратился онъ къ глухонѣмому, задумчиво останавливаясь передъ нимъ и забывая въ этотъ моментъ, что тотъ не слышитъ его глухого и дрожащаго голоса.

Но тотъ, вѣроятно, понялъ, радостно закачалъ въ знакъ согласія головой и задвигался на своемъ табуретѣ.

— Тутъ дѣло не чисто. Дѣло не чисто, — бормоталъ онъ, почти бѣгая изъ угла въ уголъ и порывисто потирая руки.

Глухонѣмой опустилъ отяжелѣвшія вѣки и больше уже не пытался поднять ихъ. Голова его опустилась на грудь. Онъ заснулъ, и дыханіе его стало ровнымъ и спокойнымъ.

Отецъ не сразу замѣтилъ это, но, замѣтивъ изъ угла, подошелъ на ципочкахъ къ сыну и съ трогательною осторожностью сталъ поднимать его. Но глухонѣмой былъ очень тяжелъ, а у отца совсѣмъ уже не было силъ, и руки его дрожали. Въ суставахъ однако чувствовалась та же тоска, то же ощущеніе сухости, какъ во рту. Языкъ сталъ шаршавымъ и точно потолстѣлъ. Онъ стиснулъ болѣзненно зубы и, оторвавъ взоръ отъ сына, опустился на стулъ, уронивъ на руки голову. Голова была горяча и какъ бы пуста. Передъ глазами мелькали какія-то странныя пятна. Словно мыши. Дверь снова скрипнула, и ввалилась Агафья съ цѣлой горой подушекъ и постельнаго бѣлья, за которымъ ее совсѣмъ почти не было видно.

Это явленіе было столь неожиданно, что Молотковъ не сразу сообразилъ, въ чемъ дѣло, и испугался.

— Глафира Миколавна велѣла, — забубнила было Агафья.

— Тс...— остановилъ ее Молотковъ, вставая со стула и поднимая къ верху указательный палецъ.

Агафья замерла...

Молотковъ сдѣлалъ ей знакъ, чтобы она сложила все на табуретъ, а самъ подошелъ къ ней на ципочкахъ, то и дѣло оглядываясь на сына, и зашепталъ умоляюще и страстно:

— Вотъ что, голубушка, достань мнѣ водки.

— Да гдѣ же я...

— Гдѣ хочешь, достань. Хоть укради, а достань. У дворни... у кучера... Если нѣтъ, иди къ Глафирѣ Миколавнѣ... Проситъ, молъ, Парфенъ... я завтра отблагодарю тебя, — говорилъ онъ раздраженнымъ тономъ.

— Да гдѣ же я...— нерѣшительно начала было Агафья. — Чай, ужъ спать Глафира Миколавна легла, да и всѣ. Развѣ у Кириллы Матвѣевича достать?

— А у него развѣ есть? — съ вспыхнувшимъ жадно взглядомъ спросилъ Молотковъ.

— Есть. Завсегда ночью пьетъ.

— А онъ не спитъ теперь?

— Не... Онъ, почитай, никогда ночью не спитъ. Полуношничаетъ. Лукавый, что-ли, его мутитъ, а только не спитъ и другихъ безпокоитъ. Къ себѣ тянетъ. Водкой заманиваетъ. Сторожа Ларивона, почитай, споилъ.

— Ну, ладно, ладно,—остановилъ словоохотливую бабу Парѳенъ. — Иди себѣ съ Богомъ. Иди.

Онъ почти вытолкалъ ее въ дверь и самъ вышелъ за нею. Молотковъ взглянулъ во дворъ направо, гдѣ стоялъ ѳлигель, въ которомъ жилъ Кириллъ: тамъ свѣтился огонь. Кромѣ того огонь свѣтился еще и въ окнѣ у Глаѳиры, куда, позѣвывая на весь дворъ, пошла Агаѳья.

Молотковъ облизалъ пересохшія губы сухимъ языкомъ и торопливой неровной походкой направился къ ѳлигелю, точно воръ, тревожно осматриваясь вокругъ.

## X.

На другой день, совершенно неожиданно, безъ всякаго предварительнаго увѣдомленія явился Мисаилъ.

За время своего отсутствія онъ какъ-будто похудѣлъ и поблѣднѣлъ немного, но зато во всей его фигурѣ, въ осанкѣ, во взглядѣ, даже въ манерѣ говорить появилось что-то новое и непріятное: не то высокомѣріе побѣтеля, не то заносчивость.

Стремленье внушать къ себѣ страхъ въ окружающихъ было тщеславной мечтой всей его жизни. Онъ не такъ желалъ видѣть по отношенію къ себѣ въ людяхъ уваженіе и любовь, какъ именно — страхъ. Возможность заставить даже сильныхъ людей трепетать подъ угрозой: «Въ бараній рогъ согну!» угрозой, кото-

рую онъ повторялъ теперь при каждомъ удобномъ и неудобномъ случаѣ, льстила его тщеславію больше всего на свѣтѣ.

Похоронивъ Прасковью въ глуши Сибири такъ, что, по его собственнымъ словамъ, даже собака не нашла бы къ ней слѣда, Мисаилъ объѣхалъ всѣ сибирскіе и уральскіе пріиски, перешедшіе къ Прасковьѣ Ильинишнѣ отъ мужа и вездѣ постарался установить свое новохозяйское положеніе.

Первая увидѣла Мисаила Агафья и, всплеснувъ руками, бросилась къ хозяйкѣ съ крикомъ:

— Ай, батюшки, Мисаилъ Матвѣевичъ пріѣхалъ!

Глафира ожидала Мисаила давно, пріѣздъ его не заключалъ въ себѣ никакой неожиданности, и все же она при этомъ извѣстіи смутилась. Этотъ испугъ удивилъ ее самое и чтобы обмануть себя относительно причины, она прикрикнула на Агафью:

— Чего же ты орешь, дура, какъ на пожарѣ? Ну, пріѣхалъ и пріѣхалъ.

Однако, не сразу двинулась ему навстрѣчу, хотя уже слышала на дворѣ его сухой и повелительный голосъ. Украдкой взглянувъ по пути въ зеркало, она слегка поправила косынку на головѣ и, вполнѣ овладѣвъ собою, съ холоднымъ, равнодушнымъ лицомъ двинулась къ выходу, обдумывая по пути, какъ ей держать себя съ мужемъ.

Тамъ будетъ видно, рѣшила она, переступая порогъ, и на крыльцѣ почти лицомъ къ лицу встрѣтилась съ Мисаиломъ.

Оба сразу остановились — она на площадкѣ крыльца, онъ на предпослѣдней ступенькѣ, точно каждый изъ нихъ ждалъ перваго шага къ себѣ съ другой стороны.

Отовсюду повысыпала дворня и не столько изъ почтенія, сколько изъ любопытства, стремилась къ крыльцу поздороваться съ пріѣхавшимъ хозяиномъ.

Продолжать дальше эту безмолвную сцену было не-

удобно. Глафира двинулась впередъ, Мисаилъ тоже сдѣлалъ шагъ къ ней.

— Здравствуйте, Мисаилъ Матвѣевичъ, муженекъ мой дорогой, — не то насмѣшливо, не то вызывающе привѣтствовала Глафира мужа. — Заждались.

Мисаилъ пытливо и безпокойно взглянулъ ей въ глаза, стараясь прочесть въ нихъ, не случилось ли чего особеннаго въ его отсутствіе и, почти успокоенный своимъ наблюденіемъ, строго спросилъ, вмѣсто всякаго привѣта, не останавливаясь:

— Ну, что, все у васъ благополучно?

— Нѣтъ, не совсѣмъ, — простодушно и, вмѣстѣ съ тѣмъ, озабоченно отвѣтила Глафира. У Мисаила сердце похолодѣло, и онъ молча вопросительно взглянулъ на жену.

— Не совсѣмъ, — повторила Глафира. И не сразу добавила тѣмъ же озабоченнымъ тономъ: — Красавчикъ, на правую ногу захромалъ, копыто себѣ засѣкъ.

Они были теперь уже въ горницѣ, и вдвоемъ.

У Мисаила сразу отлегло отъ сердца, но зато лицо его мгновенно вспыхнуло злобой и негодованіемъ.

Онъ почти съ ненавистью взглянулъ на Глафиру, но, встрѣтивъ ея равнодушно-насмѣшливый взглядъ, внушительно только сказалъ сквозь зубы, сбрасывая съ себя на стулъ пальто, картузъ и дорожную сумку:

— Я тебя не объ томъ спрашиваю. Шутки-то бросить надо.

— А не объ томъ, такъ надо спрашивать тоже умѣючи, а не сразу, — враждебно и холодно отозвалась Глафира. — Я тебя честь-честью встрѣтить вышла, какъ добрая жена, а ты ко мнѣ словно къ кухаркѣ отнесся. Нашелъ съ кѣмъ такъ обращаться.

— Не цѣловаться же мнѣ съ тобой при людяхъ.

— Никто о твоихъ поцѣлуяхъ и не плачетъ, а только и фордыбачить нечего. Меня вѣдь этимъ не возьмешь.

— Ну, ладно. Поздороваемся толкомъ. Здравствуй.

— Такъ-то оно лучше, — отвѣтила Глафира.

Они трижды поцѣловались. Такимъ образомъ, временно былъ принятъ обоими супругами условный миръ.

— Куда ты чемоданъ-то поперъ? — подойдя къ окну и высовываясь въ него, сердито крикнулъ Мисаилъ кучеру, который, взваливъ чемоданъ на правое плечо, потащилъ его въ прежнее жилище Мисаила, во флигель.

— Не обвыкли еще, — замѣтила вскользь Глафира.

И тутъ Мисаилу показалась насмѣшка. Онъ хотѣлъ крикнуть ей: «надъ собой смѣешься», но вмѣсто этого сказалъ самоувѣренно и твердо:

— Ну, у меня скоро обвыкнутъ. Сюда тащи, дубина стоеросовая! Сюда!

— Ну, что же, хорошо-ли съѣздилъ? Разсказывай, — обратилась она къ мужу, приготовляя ему чистое бѣлье для обычной послѣ дороги бани.

Мисаилъ сталъ хвастаться своими успѣхами и ловкостью.

— Вездѣ на пріискахъ заставилъ себя сразу какъ хозяина встрѣчать. Всѣ мели обошелъ, какъ нельзя лучше. Только на двухъ-трехъ пріискахъ намекнулъ, что Акинфій по нашему порученію, на наши общія деньги пріиски на свое имя покупалъ, дабы лишнихъ хлопотъ не было; а на другіе пріиски я подослалъ вѣрнаго человѣка сообщить о томъ же. Никакихъ сумлѣніевъ ни въ комъ не осталось.

Затѣмъ онъ разсказалъ ей еще кое-какія подробности своего пути и перешелъ, въ свою очередь, къ разспросамъ.

— Ну, тутъ и этого не понадобилось, — отвѣчала спокойно Глафира, пришивая къ рубахѣ пуговицу. — Кому же и быть по смерти наслѣдниками, какъ не намъ.

— А Парфенъ Молотковъ съ сыномъ?

— Ну, ему врядъ ли вдомекъ, что опосля сестры его что-нибудь осталось и что духовное завѣщаніе сохранилось. Хоть, впрочемъ, онъ и болталъ что-то такое.

— О чемъ? Развѣ онъ что-нибудь знаетъ о завѣщаніи Акинфія?

— Нѣтъ, врядъ ли. А если бы и прослышалъ какъ-нибудь стороной, все едино не ему тягаться съ нами. Его бутылкой водки можно убить. Да вотъ, попытай у него объ этомъ самъ. Онъ у насъ въ гостяхъ.

— Здѣсь? — изумился Мисаилъ.

— Здѣсь.

— Съ пріиска?

— Съ пріиска.

— Какъ же онъ добрался?

— Я привезла.

— А ты зачѣмъ на пріискъ ѣздила? — подозрительно настороժился Мисаилъ.

— Рабочіе тамъ взбунтовались, такъ управляющій вызвалъ.

— А можетъ и еще зачѣмъ?

— Быть можетъ. Только объ этомъ ужъ послѣ, а теперь не время.

Мисаилъ закусилъ нижнюю губу.

— Для чего же онъ пріѣхалъ сюда?

— Сына повидать захотѣлъ.

— Что-то это не спроста, — пробормоталъ, насупившись Мисаилъ.

— То-то и оно.

— Ну, а съ сыномъ его какъ намъ быть?

— Его, пожалуй, можно опять будетъ въ училище до окончанія курса отдать. Триста рублей въ годъ не велики деньги. По крайности, въ глаза тыкать не станетъ никто, что наперекоръ волѣ покойницы идемъ. Доброе дѣло сдѣлать съ толкомъ это все-равно, что каменную крѣпость себѣ построить. За добрыми дѣлами, какъ за каменными стѣнами.

— Это правда,— согласился и тутъ Мисаилъ, совсѣмъ смягчая недовольство женой.

Глафира пришила пуговицу и, откусивъ нитку, стала завертывать рубаху вмѣстѣ съ другимъ бѣльемъ въ платокъ.

— Не надо. Далеко-ли тутъ,— совсѣмъ уже примирившись съ ней, остановилъ ее мужъ. Онъ вспомнилъ о поѣздкѣ ея на пріиски и спросилъ быстро:

— Ахъ, да! Чуть не забылъ. Про какой ты бунтъ упомянула?

— Пустое. Народъ взбунтовался, что управляющій по твоему приказному письму плату рабочимъ хотѣлъ уменьшить.

— Ну, что-жъ, я почти вездѣ это велѣлъ и ничего.

— Тутъ этого нельзя дѣлать. Тамъ, можетъ, рабочимъ дѣваться некуда, а тутъ пріиски направо и налѣво. И то ужъ солоно рабочимъ у насъ. Да и старателямъ тоже.

— А что ихъ баловать-то. Больше имъ и не надо ничего, кромѣ того, что у насъ получаютъ. Все-равно пропьютъ. Имъ же лучше, коль денегъ меньше.

— Ну, не всѣ же пьяницы. Да о такихъ-то заботахъ они насъ не просятъ.

— Что же ты уладила какъ-нибудь дѣло?

— Уладила. Приказала оставить прежнюю плату, и все тутъ, а то бы работы пріостановились.

— Ну, это мы посмотримъ! Я ихъ приберу къ рукамъ. Въ бараній рогъ согну.

Глафира только пожала плечами.

— А новостей никакихъ на заводѣ нѣтъ?

— Никакихъ.

— Машину новую промывную поставили?

— Поставили.

— И хорошо работаетъ?

— Хорошо.

— Ахъ, да! — вдругъ, какъ бы вспомнила Глафира. — Одинъ старатель руду нашелъ: Марухинъ.

— Гдѣ? Какую? — насторожился Мисаилъ.

— У Мертваго ключа. Знаешь, гдѣ въ прошломъ году Луньяковъ, старатель, повѣсился. Неподалеку отъ трехъ осинъ.

— Ну... ну? — торопилъ ее разсказать Мисаилъ. — А сколько золотниковъ?

— Золотниковъ четырнадцать будетъ.

— Жилка, али розсыпь?

— Розсыпь.

— Ага, — сообразилъ онъ что-то. — Такъ, такъ. Это хорошо. Это намъ на руку. Золото къ золоту бѣжитъ. Деньга деньгу кличетъ. А давно онъ нашелъ?

— Вотъ уже недѣли двѣ.

— Шахту крѣпилъ?

— У него просто дудка была безъ крѣпи. На что ему было крѣпить-то. Онъ обнищалъ совсѣмъ.

— Ну, вотъ! Сколько разъ я говорилъ, чтобы не допускали этого. Дудка обвалится, а ты отвѣчай за нихъ, дьяволовъ. Теперь-то, по крайности, крѣпитъ?

— Теперь крѣпитъ. Въ шахту обращаетъ.

— Ну, вотъ, какъ закрѣпитъ, двѣ недѣльки погуляетъ и баста. Хоть тамъ золота и не должно быть много. Гнѣздовое, вѣрно, но курочка и по зернышку клюетъ — сыта бываетъ, а золотыя зернышки особенно вкусны. Ха-ха-ха.

— Нѣтъ, у него нельзя такъ скоро отобрать шахту.

— Какъ нельзя? Развѣ забыла обычай? — изумился Мисаилъ.

— Ничего не забыла, а только я обѣщала ему хоть на полгода дать вздохнуть и поправиться.

— Да ты свихнулась? — закричалъ Мисаилъ, и глаза его загорѣлись хищнымъ огонькомъ. — Что бы я сталъ дѣлать подарки какимъ-то лохмотникамъ... Ну, нѣтъ. Шалишь.

— Тише, тише, — презрительно и холодно остановила его Глафира. — Ишь, какъ въ тебѣ жадность-то разгорѣлась. Ты вѣрно забылъ, что это еще не твое. Мое это. Своимъ распоряжаюсь. Хочу беру, хочу дарю.

Мисаилъ опѣшилъ не только отъ убѣдительности ея возраженія, сколько отъ ея спокойнаго тона.

— То-есть, какъ же это твое? — пробормоталъ онъ, стараясь принять насмѣшливый тонъ. — Откуда это?

— Оттуда же, откуда и у тебя, — въ тонъ ему отвѣтила Глафира.

Мисаилъ быстро коснулся своей дорожной сумки, словно желая убѣдиться, все ли тамъ дѣйствительно въ порядкѣ, взглянувъ въ нее, такъ же проворно закрылъ, какъ и открылъ, и, торжествуя, посмотрѣлъ на Глафиру.

Та не выдержала и раскатисто-звонко разсмѣялась, наглыми и злыми глазами вонзившись ему прямо въ глаза.

— Запри, запри скорѣй, а то какъ бы драгоцѣнная птица не вылетѣла! — кривя губы, заговорила она низкимъ груднымъ голосомъ. — Ты вообразилъ себѣ, что коли завѣщаніе Прасковьи въ твоихъ рукахъ, такъ и я тоже въ твоихъ рукахъ. Ахъ, ты, младенецъ. Видно у тебя голова въ смятку, что ты до сихъ поръ не знаешь моего характера.

— Наплевать мнѣ на твой характеръ теперь! — со злобой прошипѣлъ Мисаилъ и отвернулся.

Глафира вся вспыхнула, какъ пламя, и глаза ея мгновенно расширились и метнули молніи. Она, вдругъ, какъ-то словно вытянулась, выпрямилась и нѣсколько секундъ стояла молча, точно готовясь разразиться неожиданной бурей, съ гордо и властно поднятой головой.

Молчаніе было душное.

Лицо Мисаила становилось все блѣднѣе, и онъ нервно кусалъ губу, ожидая со стороны Глафиры чего-то безумнаго и страшнаго. Онъ уже раскаивался въ томъ, что оскорбилъ ее такой грубой фразой, но гордость все еще не позволяла ему обернуться назадъ, ища примиренія съ женой и прощенія обиды.

Онъ ожидалъ, что сейчасъ разразится неистовая, бѣшеная сцена. Можетъ быть, она бросится на него съ ножомъ, съ лампой, или просто такъ съ голыми руками и схватитъ его за горло, вопьется въ него зубами. Онъ даже ждалъ такого именно оборота. Изъ этой борьбы онъ вышелъ бы побѣдителемъ. Ну, скорѣй же! Скорѣй! — думалъ онъ, лихорадочно стиснувъ зубы, инстинктивно сжимая кулаки и напрягаясь всѣмъ тѣломъ.

Но тутъ произошло нѣчто, совсѣмъ для него неожиданное.

Онъ услышалъ за спиною движеніе и затѣмъ быстро удалявшіеся шаги.

Кровь совсѣмъ отлила у него отъ головы и сердце замерло.

Онъ испуганно повернулъ голову. Глафира была уже у двери.

— Куда? — кинулся онъ за ней и успѣлъ у самой двери схватить ее за руку.

— Пусти! — прошипѣла она, съ ненавистью вырываясь отъ него.

— Н-нѣтъ... Не пущу, — сквозь зубы со свистомъ вырвалось у Мисаила, и онъ продолжалъ, какъ клещами, держать ее за кисть правой руки.

Она ударила его ногой, но онъ даже боли не почувствовалъ отъ этого удара и все повторялъ:

— Куда? Куда?

Ея другая рука царапала до крови его руку, пытаясь помочь вырвать ее. Казалось, вотъ-вотъ она вцѣпится въ него зубами, какъ пантера.

Мисаилъ былъ внѣ себя и все повторялъ, задыхаясь:

— Куда? Куда?

Ему хотѣлось повалить ее на землю, бить и топтать и все повторять одно и то же слово. Только инстинктивное опасеніе, что этимъ все можно погубить, остановило его на границѣ. Ужасное подозрѣніе мелькнуло въ его умѣ, когда онъ увидѣлъ уходящую Глафиру, и онъ чувствовалъ, что недалекъ отъ истины.

Тогда съ внезапной вскипѣвшей въ немъ энергіей онъ рванулъ, что было силы, Глафиру отъ двери и отбросилъ ее на середину комнаты. Глафира едва удержалась на ногахъ.

Она хотѣла броситься въ окно, но онъ загородилъ ей путь своей фигурой

— Убью, если шевельнешься! — Онъ дрожалъ всѣмъ тѣломъ, и зубы у него стучали, какъ у волка. — За одно погибать.

Она стала искать глазами по комнатѣ какой-нибудь помощи и замѣтила на столѣ большой столовый ножъ, но не успѣла еще она остановить на немъ своего взгляда, какъ Мисаилъ самъ схватился за него.

— Не зарѣжешь, вѣдь. Гдѣ тебѣ! — оскаля зубы, процѣдила шопотомъ Глафира, точно дразня озвѣрѣвшаго отъ бѣшенства мужа. Вся ея слегка согнувшаяся теперь фигура выражала такую злобу и ненависть, что казалось, она могла отравить на смерть человѣка однимъ своимъ взглядомъ, одной своей уничтожающей усмѣшкой.

У Мисаила сразу упалъ духъ; бросивъ ножъ, онъ сдѣлалъ два шага къ Глафирѣ и остановился, вытянувъ впередъ шею и закинувъ назадъ голову, такъ что его жесткая, плоская, большая борода, твердая, какъ проволочная, вытянулась чуть не подъ прямымъ угломъ, обнаживъ шейныя жилы и большой кадыкъ.

— Что ты... Погубить задумала? И себя, и меня по-

губить!..— началъ онъ прерывисто и злобно, но ужъ безъ всякой силы и напряженія.— Ну, что-жъ, губи... Десятокъ лѣтъ жили вмѣстѣ, маяту вмѣстѣ терпѣли, тяготу несли, благодѣтельницу отравили и добились-таки своего, а теперь ты все погубить хочешь. Губи.

— Будетъ юродствовать-то! — оборвала его Глафира съ презрѣніемъ.— За одно вы съ Кирилкой юроды-то. Меня этимъ не обойдешь. Опротивѣли вы мнѣ оба, какъ жабы болотныя. Такъ бы и придавила обоихъ — одного вотъ этой ногой,—стукнула она правой ногой объ полъ.— Другого — вотъ этой.

— Экая собака бѣшеная!

— Да, и какъ собака укушу тебя. Ты думалъ, я въ полицію побѣгу жаловаться. Нѣтъ, зачѣмъ. Мнѣ еще на волѣ есть для чего и для кого жить, а вотъ посмотримъ, какъ ты безъ меня да безъ денегъ будешь жить.

— Ну, что ты еще, змѣя, задумала, что?

— Что? А ты такъ и не догадался, что. А то, что улыбнутся тебѣ денежки-то. Ты думаешь, для чего я Парфена привезла? Для чего?

Мисаилъ мгновенно поблѣднѣлъ. Ничего подобнаго тому, что раскрывалось теперь передъ нимъ, не могло ему прежде притти въ голову.

Глафира быстро уловила впечатлѣніе этихъ словъ на мужа, и въ умѣ ея сразу создался смѣлый и рѣшительный планъ.

— Такъ ты... Такъ онъ...— сбиваясь и путаясь, бормоталъ Мисаилъ.

— Да, да, именно... Понялъ теперь?— съ эхиднымъ торжествомъ обратилась къ нему Глафира,— понялъ, что я получила отъ Кирилла завѣщаніе Акинфія, что оно въ моихъ рукахъ, и ты въ моихъ рукахъ. Я насквозь поняла тебя. Ты думалъ меня въ ежевыя рукавицы взять, удержавъ у себя наслѣдство Прасковьи, можетъ быть, даже выгнать меня вонъ, или кормить изъ мило-

сти. Шалишь, не на таковскую напалъ. Пусть ужъ ни мнѣ, ни тебѣ. Я отдамъ завѣщаніе адвокату Парфена, и, какъ законный наслѣдникъ, все наслѣдство получитъ онъ съ сыномъ, если ты удержишь у себя завѣщаніе Прасковьи.

— Ты не сдѣлаешь этого! — закричалъ Мисаилъ.

— А вотъ увидишь, — угрожающе отвѣтила Глафира и снова направилась къ двери.

Мисаилъ опять перегородилъ ей дорогу, но на этотъ разъ безъ всякаго бѣшенства. Скорѣе этимъ движеніемъ онъ просилъ ее остаться.

— Уйди съ дороги, а то кричать буду, — съ сверкающими глазами настойчиво крикнула Глафира.

Мисаилу снова захотѣлось броситься на нее и задушить ее, но онъ переломилъ себя и, стараясь казаться спокойнымъ, возразилъ:

— Да ты что это? И впрямь, что-ли, сбѣсилась? Кого ты этимъ удивить-то хочешь? И съ чего ты взяла, что я съ тобой такъ поступить хочу? Ничего такого у меня никогда и въ головѣ не было. Хочешь передъ иконой вотъ на колѣняхъ поклянусь, что не думалъ обидѣть тебя.

— Докажи.

— И докажу.

— Отдай мнѣ завѣщаніе Прасковьи.

Мисаилъ опѣшилъ.

— Ты шутишь, что-ль?

— Какая тутъ шутка.

— Значитъ, за идіота меня считаешь. А я-то тогда при чемъ останусь?

— А мы помѣняемся, если хочешь. Я тебѣ дамъ завѣщаніе Акинфія.

— А на что мнѣ оно?

— На то же, на что и мнѣ. Во всякомъ случаѣ, на то завѣщаніе я больше имѣю правъ, чѣмъ ты на это.

— Нѣтъ, я не согласенъ,— рѣшительно отвѣтилъ Мисаилъ.

— Не согласенъ. Ну, вотъ тебѣ, клянусь передъ святой иконой, что ежели ты не отдашь мнѣ Прасковьина завѣщанія, я передамъ Акинфіево — Парфену.

Глафира бросилась на колѣни передъ кивотомъ и подняла уже руку, чтобы дать клятву, какъ Мисаилъ остановилъ ее:

— Стой.

— Ну?

— Ты подумай только.

Но Глафира не дала ему окончить фразы, и рука ея рѣшительно поднялась къ верху снова.

— Ну, хорошо, хорошо. — Торопливо и смятенно остановилъ ее Мисаилъ.

Глаза Глафиры блеснули изъ-подъ опущенныхъ рѣсницъ тревожно-радостнымъ огонькомъ, но, боясь выдать этотъ блескъ, она не подняла головы и молча ждала.

— Хорошо, — почти съ отчаяніемъ выговорилъ Мисаилъ. — Дай мнѣ только обдумать это дня три.

— Много.

— Ну, два.

— Много.

— Ладно. До завтра.

Глафира встала съ колѣнъ и пошла къ двери на этотъ разъ совершенно безпрепятственно. Мисаилъ взглянулъ ей вслѣдъ на стройный станъ и вздрагивавшія при каждомъ движеніи упругія, широкія бедра, и его что-то ущемило за сердце.

— Глаша,— раздался за ея спиною неувѣренный голосъ, и она почти не узнала въ этомъ просящемъ тонѣ голоса Мисаила.

— Ну? — уронила она, не оборачиваясь, и тутъ же услышала медленные и тяжелые шаги мужа сзади.

— Ну, будетъ тебѣ, не сердись на меня, — робко обнимая жену, бормоталъ Мисаилъ. — Ну изъ-за чего ты такъ разобидѣлась?

Глафира не отняла рукъ и не шевельнула ни однимъ членомъ.

— Ну, прости, ежели обидѣлъ тебя... Ей-ей, безъ умысла это, а просто съ дуру. Или ты не знаешь моего характера?

Глафира мелькомъ искоса взглянула на него. Ужъ не перемѣнилъ-ли онъ политику? — мелькнуло у нея въ умѣ подозрѣніе, но она тутъ же убѣдилась, что на политику тутъ не было и намека. Выраженіе его лица въ этотъ мигъ было ей очень хорошо знакомо. Это лицо, несмотря на свою молодость и красоту и несходство съ лицомъ Кирилла, поразительно напоминало теперь выраженіе лица послѣдняго, когда онъ умолялъ ее позволить ему поцѣловать хоть пятнышко на шеѣ у ней.

— Я самъ не знаю, какъ это приключилось, что я обидѣлъ тебя. Гордость обуяла, да переломила ты ее, — продолжалъ бормотать Мисаилъ съ помутнѣвшимъ взглядомъ. — А что правда это, сама увидишь. Подарокъ привезъ тебѣ изъ Сибири и съ Урала. Не хотѣлъ только сразу ихъ тебѣ показывать, думалъ: заслужи сперва, а теперь бери все. Ну, не сердись же на меня. Вѣдь мы съ тобой... Вѣдь я...

Онъ все сильнѣе и сильнѣе обнималъ ее. Въ сердцѣ и въ вискахъ у него стучала кровь. Плечи подергивались мелкой дрожью. Онъ самъ не слышалъ и даже врядъ-ли помнилъ, что говорилъ и сухими горячими губами касался ея шеи и тянулся къ ея все еще полнымъ раздраженія и упрямства губамъ.

— Такъ-то лучше! — вдругъ шепча обернулась къ нему Глафира и встрѣтила его губы своими блѣдными губами.

Спровадивъ мужа въ баню, Глафира шмыгнула опять къ Кириллу.

Около самыхъ дверей его флигеля ей попалась Агафья съ руками, оттопыренными подъ фартукомъ.

Агафья хотѣла шмыгнуть въ сторону, но Глафира окликнула ее.

Та поневолѣ остановилась и неохотно подошла къ хозяйкѣ.

— Ты чего это руки-то подъ фартукомъ держишь?— подозрительно спросила ее хозяйка, думая ужъ не украла-ли что дѣвка у Кирилла.

— Я... ничего...— замялась та, неуклюже стараясь что-то скрыть подъ фартукомъ.

Глафира безъ церемоніи протянула къ ней свою руку и извлекла изъ-подъ фартука пустую бутылку.

— Это что такое?— удивилась она.

— А ничего; ей, ей, ничего.

— Ты куда же это съ бутылкой-то?

— А знамо дѣло въ кабакъ,— созналась Агафья.

— Кто же тебя послалъ?

— Кириллъ Матвѣевичъ. Да онъ мнѣ торопиться велѣлъ, а пуще всего тебѣ на глаза не попадаться,— смущенно отрапортовала Агафья.

— Г-м... вотъ оно что... И часто ты такъ-то бѣгаешь?

— Да, почитай, раза три въ день-то, а иной разъ и ночью. Вотъ какъ нынѣ.

— Почему же это такъ нынѣ случилось?— продолжала выпытывать Глафира.

Уже разъ вѣроломно выдавъ ввѣренную ей тайну, Агафья махнувъ рукой на всѣ запреты и оглянувшись на дверь, таинственно и важно начала докладывать ей изъ-подъ руки:

— Да какъ же. Вчера, значитъ, вечеромъ Кириллъ-то Матвѣевичъ были въ гостяхъ у этого, прости Господи, пьяницы... извини ужъ, коли онъ родственникъ тебѣ. Опосля того ушелъ отъ него къ себѣ, а скоро и тотъ за нимъ. И началось у нихъ питье. Меня посылали ночью раздобыть. Черезъ заднее крыльцо къ Куносуе-

ву ходила. Принесла, да только онъ съ меня гривенникомъ дороже за безпокойство взялъ.

— Ну, ладно, это не важно, — нетерпѣливо перебила она ее. — А ты говорила Кириллу Матвѣевичу, что Михаилъ Матвѣевичъ пріѣзжалъ?

— Какже, говорила.

— Ну, а онъ что же?

Агафья закраснѣлась и не знала, какъ ей отвѣчать.

— Ну, говори, дура, не бойся, — ободряла ее Глафира.

— А онъ сказалъ... Да мнѣ стыдно чтой-то его рѣчь передавать.

— Полно вздоръ городить. Если я тебѣ приказываю, значитъ ты должна мнѣ сказать все.

— Онъ сказалъ: «Жалко, гыртъ, что не провалился, гыртъ, сквозь землю и колесомъ его машина не переѣхала», — съ усиліемъ выпалила Агафья.

Глафира не могла не улыбнуться этому отвѣту. Очевидно, Кириллъ былъ пьянъ, когда говорилъ такія слова, трезвый онъ не рѣшился бы ни на что подобное.

— Иди и принеси, что приказано, — распорядилась Глафира и сама вошла въ сѣни Кирилловой квартиры и торкнулась во входную дверь.

Дверь оказалась на этотъ разъ также запертой.

Глафира осторожно постучала въ нее.

— Кто тамъ? — раздался извнутри тревожный, тихій и недовольный голосъ Кирилла.

— Я.

Щелкнулъ дверной крючекъ, и дверь тотчасъ же отворилась.

Передъ Глафирой стоялъ Кириллъ въ пестрыхъ штанахъ, въ валенкахъ на босую ногу и распущенной рубахѣ.

Лицо его опухло отъ ночного пьянства, глаза заплыли, и носъ и щеки были покрыты синими жилками. Онъ остановилъ мутный и вмѣстѣ съ тѣмъ воспаленный взглядъ на Глафирѣ, и не успѣла она раскрыть ротъ,

какъ онъ замахалъ на нее обѣими руками, кивая въ то же время на дверь, ведущую въ горницу, служившую Кириллу столовой.

Глафира сдѣлала изумленное лицо.

— Онъ тамъ... Онъ, — напряженно зашепталъ Кириллъ, всѣмъ своимъ существомъ изображая испугъ и растерянность.

Глафира прищурила лѣвый глазъ, а правый приложила къ замочной скважинѣ и мгновенно обомлѣла.

Какъ разъ передъ нею, бокомъ, сидѣлъ Парфенъ, откинувшись на спинку стула. Вся его фигура выражала напряженное безпокойство. На столѣ передъ нимъ стояла пустая бутылка, валялись объѣдки огурцовъ, мяса и еще какой-то неопредѣленной снѣди. Лицо его виднѣлось Глафирѣ въ профиль съ всклокоченной бородой и волосами. Онъ смотрѣлъ неподвижнымъ взглядомъ на горлышко бутылки и строго, даже повелительно, бормоталъ что-то. Затѣмъ правая рука его стала таинственно подниматься, словно онъ боялся, что кто-то замѣтитъ его движеніе. И, вдругъ, онъ быстро и порывисто взмахнулъ рукою около горлышка бутылки, точно ловилъ муху.

— Видишь? Видишь? — наклоняясь къ Глафирѣ, порывистымъ шопотомъ заговорилъ Кириллъ, и на Глафиру пахнуло запахомъ перегара. Она съ отвращеніемъ вздрогнула, но Кириллъ счелъ это за страхъ отъ того, что она увидѣла.

— Онъ видимо не въ своемъ умѣ. Допился до того, что ему нечистые, прости Господи, представляются. Такіе, говоритъ, маленькіе, съ пробку величиной, съ рожками, хвостикомъ, даже съ копытцами. Тьфу!

— Допился, — поморщившись, сказала Глафира. — Смотри, и съ тобой то же самое будетъ.

Кириллъ даже въ лицѣ измѣнился при этихъ словахъ.

— Господи, спаси и помилуй! — воскликнулъ онъ, крестясь и пятясь отъ двери.

Оттуда доносились теперь глухо и безсвязно рѣчи пьяницы.

— Не поймалъ... Ну, сейчасъ поймаю... А?.. Говоришь, пить хочешь, а бутылка пустая... Сейчасъ принесутъ... Эй вы! — крикнулъ онъ изъ-за двери, — водки скорѣе несите, а то чертики пить просятъ, языки высовываютъ... Вонъ сколько ихъ... Вездѣ... тамъ... здѣсь... Грозятъ мнѣ, если водки не будетъ... Да скорѣе же... Дьяволы!

Глафира снова прильнула къ замочной скважинѣ.

Воспаленные глаза Парфена теперь обратились почти въ ея сторону. Пьяница крался какъ-то бокомъ, на цыпочкахъ, разбитыми движеніями къ переднему углу, гдѣ стоялъ кивотъ.

— Ишь, куда забрался... — шепталъ онъ. — Ну, стой же... Словлю... въ бутылку и пробкой закупорю... Будете у меня знать. Всѣхъ словлю... Всѣхъ.

— Фу, ты пакость какая! — вырвалось у Глафиры. — Святой кивотъ сквернитъ своими погаными словесами.

Кириллъ сложилъ руки на животѣ и съ сокрушеніемъ и страхомъ закачалъ головою.

— Что же теперь дѣлать съ нимъ? — вырвалось у Глафиры отчаянное восклицаніе.

— А я за водкой послалъ. Пусть напьется еще, да хоть уснетъ.

— Не за водкой надо посылать, а за докторомъ, — строго возразила Глафира. — Его въ сумасшедшій домъ свезти надо. Развѣ можно сумасшедшаго у себя въ дому держать: сожжетъ еще, пожалуй, насъ.

— Да какой же онъ сумасшедшій? — робко заикнулся было Кириллъ, но Глафира его перебила:

— Кстати и Минцевича повидать надо.

— Онъ раза два безъ тебя пріѣзжалъ, — проговорилъ Кириллъ, — да я сказывался сперва не дома.

— Почему же это?

— Тяжело и непріятно видѣть его, — съежился Ки-

риллъ.— Ну, а потомъ онъ какъ-то засталъ меня врасплохъ.

— Что-жъ, ты отпѣлъ ему за то, что онъ чуть не погубилъ насъ?

— Еще бы... Все ему разсказалъ, а онъ только разсмѣялся. Говоритъ, это, можетъ быть, и не оттого, а просто отъ разложенія крови, что-ли, пятна-то... Обѣщалъ опять пріѣхать.

— Видно за труды обѣщанное получить хочетъ,— догадалась Глафира.— Ну и пусть съ Мисаиломъ квитается.

— Правда, правда,— обрадовался Кириллъ.— Наше дѣло въ сторонѣ.

— Смотри, какъ бы Мисаилъ и вправду насъ въ сторонѣ не оставилъ. Особливо тебя.

Кириллъ замахалъ руками.

— Нѣтъ, нѣтъ, Глашенька, не допусти, чтобы онъ меня обижалъ. Я хоть въ скиты вклады сдѣлаю, чтобы грѣхъ мой замаливали, да и самому нищимъ на старости лѣтъ тяжело остаться.

— То-то. Теперь иначе запѣлъ, небось. А то безсребренникъ какой выискался. Ты бы, безсребренникъ, вмѣсто того, чтобы съ Парфеномъ до чертиковъ, тьфу, тьфу, допиваться, къ брату бы пришелъ лучше. Знаешь, что пріѣхалъ.

— Я старшой. Онъ самъ долженъ ко мнѣ явиться.

— Ну, у насъ тотъ старшой, у кого карманъ большой. Впрочемъ, оно и хорошо, что ты не явился. Только помѣшалъ бы нашей пріятной бесѣдѣ. А теперь вотъ что,— вдругъ перешла Глафира къ другому разговору.— Ежели тебя Мисаилъ спроситъ, получилъ ли ты завѣщанія Акинфія, говори, что получилъ и мнѣ ихъ отдалъ. Слышишь. Все-равно вѣдь оно такъ и будетъ.

— Ладно. Ладно. Все сдѣлаю. Охъ, когда же конецъ этому? Когда конецъ? Здѣсь ты съ Мисаиломъ... Тамъ онъ,— кивнулъ онъ глазами на дверь.

— Водки! — хрипло донеслось оттуда, и вслѣдъ затѣмъ неистовый, но безсильный кулакъ забарабанилъ въ дверь.— Водки, а то чертики пить хотятъ.

Въ дверь со звономъ ударилась пустая бутыль и вѣроятно разбилась вдребезги.

— Ты до завтра подожди ходить къ намъ. Скажись больнымъ или спящимъ что-ль, чтобы съ Мисаиломъ нынче не видѣться. А, главное, чтобы онъ до завтра не зналъ, что съ Парфеномъ такое стряслось. У меня на это свой разсчетъ есть. А завтра, ежели что, можно будетъ и за Минцевичемъ послать.

— Слышу, слышу и ничего не понимаю,— съ тоской отвѣтилъ Кириллъ. — Объ одномъ только Бога молю: скорѣе бы все это кончилось. Силушки больше моей нѣтъ. Разумъ мутится. Поневолѣ запьешь тутъ, какъ Парфенъ.

Агафья принесла водку.

— Откупоривай! — закричалъ ей Кириллъ и, прежде чѣмъ вручить бутыль Молоткову, который воевалъ за дверью, самъ обѣими дрожащими руками поднесъ горлышко бутыли къ своимъ запекшимся губамъ.

Бутыль била его по желтымъ зубамъ, и струйки водки полились по бородѣ и подбородку, прежде чѣмъ водка попала ему въ ротъ.

Глафира замѣтила, что послѣ двухъ-трехъ глотковъ руки его перестали дрожать. Въ бутыли начало уменьшаться.

На счастье Глафиры на другой же день были получены завѣщанія Акинфія, какъ разъ въ тотъ часъ утромъ, когда Мисаилъ уѣхалъ по дѣламъ въ городъ. А на слѣдующее утро, не задумываясь долго, Глафира приказала отправить Парфена въ мѣстную психіатрическую лѣчебницу.

Сдѣлано это было при содѣйствіи Минцевича, который еще разъ подтвердилъ ей то, что говорилъ о пятнахъ Кириллу, но Глафира сочла его объясненіе за же-

ланіе снять съ себя нареканіе за неуспѣхъ и повѣрила только вполовину.

Между прочимъ, Минцевичъ, вскользь видѣвшій Кирилла въ его флигелѣ, когда увозилъ Молоткова въ психіатрическую больницу, намекнулъ Глафирѣ, что состояніе Кирилла также внушаетъ ему опасеніе.

Глафира нахмурилась. Она сама давно замѣтила въ поведеніи Кирилла что-то неладное, но думала, что все мало-по-малу обойдется, и только вчера онъ внушилъ ей еще большее сомнѣніе насчетъ своихъ умственныхъ способностей, а нынче заперся у себя и никого къ себѣ не пускалъ. Только Минцевичъ мелькомъ видѣлъ его. Кириллъ высунулся изъ своей комнаты и заплетающимся, дрожащимъ языкомъ спросилъ о своемъ собутыльникѣ:

— Ну, что?

— Ничего, Богъ дастъ, вылѣчатъ: Delirium tremens, по просту бѣлая горячка.

— Значитъ, не смертельная? — съ трудомъ спросилъ Кириллъ.

— Вѣроятно, нѣтъ.

Кириллъ скрылся и больше уже не показывался никому въ этотъ день.

Передъ вечеромъ Глафира отправилась навѣстить Кирилла, такъ какъ Агафья извѣстила ее съ тревогой, что онъ заперся у себя, никого къ себѣ не пускаетъ, даже Мисаила не пустилъ, когда тотъ пожелалъ навѣстить брата, ничего не ѣстъ и совсѣмъ не желаетъ принимать пищи.

— А пьетъ, какъ прежде? — спросила Глафира.

— Нѣтъ, и за виномъ пересталъ посылать съ тѣхъ поръ, какъ Парфена увезли.

Она долго стучалась въ дверь, но ей все никто не отзывался.

Наконецъ, глухой голосъ, мало похожій на голосъ Кирилла, спросилъ раздраженно: кто тамъ?



— Я, Глафира. Отворяй! — повелительно отвѣтила она.

Дверь быстро открылась. Глафира невольно попятилась назадъ.

Передъ нею стоялъ Кириллъ, но въ такомъ видѣ, въ какомъ она его никогда не встрѣчала.

Выраженіе его лица было мрачное и тупое. Дряблая кожа грязно-желтаго цвѣта покраснѣла и покрылась пятнами. Взглядъ казался неподвижнымъ, и правая сторона лица подергивалась, въ то время какъ лѣвая оставалась какъ бы мертвой; на сухихъ, слегка обвислыхъ губахъ виднѣлась слюна.

Руки и ноги его замѣтно тряслись, и онъ держался за косякъ двери, какъ бы для того, чтобы не упасть.

— Видишь, какъ ты ослабѣлъ,—съ состраданіемъ выговорила Глафира, едва пересиливая безотчетный страхъ, чтобы не убѣжать.—Ты, говорятъ, не ѣлъ ничего? Хочешь, я тебѣ принесу что-нибудь?

— Нѣтъ, не надо: отрава, во всемъ отрава.

— Какая отрава?!

Онъ ничего не отвѣтилъ, но продолжалъ, обращаясь къ ней, шептать:

— Я не хочу ѣсть. У меня никакого аппетита нѣтъ. Голова болитъ, словно ее свинцомъ налили, и кружится. Подъ ложечкой тѣснитъ, словно змѣя тамъ. Все сердце высосала, и ужъ оно не бьется.

Въ комнатѣ сгущались сумерки, и эта мрачная точно раздавленная фигура казалась ей бредомъ, также какъ и сбивчивый, плохо понятный шопотъ.

— Да чего ты ищешь? — остановила его Глафира.

— Завѣщанія.

— Да вчера утромъ ты самъ мнѣ ихъ отдалъ.

— Развѣ? — какъ сквозь сонъ спросилъ онъ.

Ну, братъ, плохо твое дѣло, — подумала Глафира, содрогаясь отъ внутренняго холода и ничего не отвѣчая ему на его замѣчаніе.

Онъ остановился посрединѣ комнаты, придавленный и жалкій, словно пытаясь вспомнить что-то и глядя на крючокъ на потолкѣ.

— Что это такое, не змѣя? — не сводя глазъ съ этого крючка, пробормоталъ онъ, даже присѣдая отъ страха.

— Нѣтъ, это крючекъ, — стараясь говорить какъ можно тверже, отвѣтила Глафира.

— А я думалъ, змѣя. Онѣ ночью обвили меня всего-всего. До сихъ поръ еще холодно и скользко. Ужъ нѣтъ-ли и теперь тамъ? Не осталось-ли?

Онъ съ ужасомъ сталъ ощупывать и тереть все тѣло дрожащими руками и, вдругъ, дико вскрикнувъ и выпучивъ глаза, бросился въ уголъ, волоча за собою полотенце и повторяя съ страшною дрожью:

— Вотъ она змѣя! Вотъ она прямо въ сердце ужалила.

Зубы его щелкали. Онъ дрожалъ всѣмъ тѣломъ, тяжело дыша, и въ каждой морщинѣ осунувшагося лица его залегалъ ужасъ.

Изъ угла, отмахиваясь руками и ногами отъ невидимаго врага, онъ бросился подъ кровать, какъ-то не человѣчески воя и храпя.

Глафира не выдержала этой послѣдней сцены и въ одно мгновеніе очутилась за дверью, внѣ себя отъ страха и нервнаго напряженія.

Стремглавъ пробѣжала она черезъ дворъ, съ шумомъ распахнула двери столовой и, блѣдная, повалилась на диванъ, гдѣ сидѣлъ только что пріѣхавшій Мисаилъ за столомъ, на которомъ былъ приготовленъ вечерній чай.

Мисаилъ даже вскочилъ съ мѣста при этой неожиданности и испуганно уставился на жену.

— Что такое? Что случилось? — повторялъ онъ.

— Воды! — едва могла процѣдить Глафира сквозь плотно стиснутые зубы.

Онъ быстро поднесъ къ ея губамъ воду, и стекло за-

стучало по ея зубамъ, расплескивая брызги ей на лицо и на платье.

Мисаилу въ ужасѣ почудилось Богъ вѣсть что. Зная, что Глафира по пустякамъ не испугается такъ, онъ ужъ, внутренно трепеща, поглядывалъ на дверь, чуть-ли не ожидая увидѣть за этими дверьми полицію, которая явилась арестовать ихъ. Онъ поблѣднѣлъ и готовъ былъ выскочить въ окно при малѣйшемъ стукѣ извнѣ.

— Что случилось?—торопилъ онъ вопросомъ Глафиру, испуганно продолжая взглядывать то на окно, то на дверь.

— Съ Кирилломъ неладное попритчилось,—выговорила, наконецъ, Глафира, все еще тяжело дыша.—Онъ опился. Съ ума сошелъ...

Черезъ минуту они были у двери флигеля. Она опять оказалась заперта.

Глафира стала неистово стучать въ дверь, сама еще не зная хорошенько, съ какой цѣлью желаетъ вломиться снова къ полубезумному Кириллу и зачѣмъ привела сюда его брата.

За дверью послышался стукъ, точно отъ паденія стула, и затѣмъ все смолкло.

— Ломай дверь,—дрожа отъ страшнаго предчувствія, приказала она Мисаилу.

— Да, какже, выломаешь ее!—проворчалъ онъ, подчиняясь однако всецѣло ея мрачному и напряженному настроенію, изо-всей силы то напирая плечомъ въ дверь, то колотя въ нее сильной и крупной ногою въ большомъ здоровомъ сапогѣ.

Дверь какъ-будто начинала подаваться, хотя была заперта желѣзнымъ болтомъ извнутри.

— Ты ломай тутъ, а я пойду взгляну въ окно,—лихорадочно прошептала Глафира и, обѣжавъ флигель, какъ кошка уцѣпилась за подоконникъ и поднялась вровень со стеклами окна.

Въ глаза ей сразу бросился въ сумеркахъ вечера ка-

кой-то сѣрый мѣшокъ, висѣвшій какъ разъ посреди комнаты, а подъ нимъ опрокинутая табуретка. Глафира глухо вскрикнула и похолодѣла. Руки ея хотѣли зацѣпиться за что-то, но вмѣсто этого только взмахнули въ воздухѣ, и она повалилась навзничь.

## XI.

Глафира едва не занемогла послѣ того страшнаго вечера, когда увидѣла въ окно висѣвшій на прикрѣпленномъ къ крючку бѣломъ полотенцѣ трупъ Кирилла.

Мисаилъ также былъ пораженъ неожиданнымъ самоубійствомъ брата. Но его утѣшала мысль, что онъ освободился отъ лишняго сонаслѣдника и сообщника, который если и не стоялъ ему поперекъ дороги, то, во всякомъ случаѣ, мозолилъ глаза своимъ унылымъ видомъ и сокрушенными рѣчами.

У Парфена припадокъ бѣлой горячки перешелъ въ больницѣ въ манію.

Онъ воображалъ себя богачемъ, который покупаетъ весь міръ. Сознаніе его было окончательно разрушено. Онъ находился тамъ въ постоянной тревогѣ и все хотѣлъ убѣжать куда-то, обѣщая сторожамъ несмѣтныя богатства. Бредъ его становился день ото дня все сбивчивѣе, и силы быстро падали. Наконецъ, онъ слегъ въ постель, исхудавши, какъ скелетъ, всегда покрытый холоднымъ потомъ. Лицо его было тупо и страшно. Лѣвый зрачокъ сильно расширенъ. Онъ глоталъ все, что попадалось ему подъ руку, и въ безсознательномъ состояніи умеръ мѣсяцевъ черезъ пять послѣ начала болѣзни.

Мисаила и Глафиру смерть его понятно обрадовала. Глухонѣмой учился въ это время въ Москвѣ и даже не зналъ о смерти своего отца.

Теперь Мисаилъ и его жена могли быть совершенно

спокойны. Анфисы и глухонѣмого имъ нечего было бояться, а кромѣ нихъ имъ и вовсе никто не былъ опасенъ, такъ какъ бѣдные родственники, упомянутые въ въ завѣщанiи Прасковьи Ильинишны, не предполагали даже объ этомъ благодѣянiи.

Передъ ними заискивали, ихъ боялись, къ нимъ шли, какъ къ щедрымъ жертвователямъ на добрыя дѣла, и, наконецъ, они сами стали считать себя людьми, которые не чета какимъ-нибудь выскочкамъ, и держали себя съ такимъ достоинствомъ, что на праздникъ Рождества и Пасхи къ Глафирѣ прiѣзжала съ визитомъ сама смиренская губернаторша въ каретѣ, не говоря уже объ остальной знати.

Мисаилъ велъ свои дѣла безъ особаго размаха, но практично и умѣло, прижимисто и осторожно. Онъ покупалъ завѣдомо краденое золото, обвѣшивалъ, сдувалъ и обсчитывалъ старателей и продавцовъ какъ ему заблагоразсудилось и даже часто, какъ бы наклоняясь, чтобы поближе разсмотрѣть у продавцовъ песокъ, снималъ его своею длинною густой бородою, а по уходѣ ограбленнаго имъ простака, стряхивая со смѣхомъ украденныя песчинки съ бороды на столъ, приговаривалъ:

— Курочка и по зернышку клюетъ, а сыта бываетъ.

Между Глафирой и имъ установились довольно ровныя отношенiя, во всякомъ случаѣ болѣе сносныя, чѣмъ когда бы то ни было.

Это однако вовсе не значило, что она разлюбила Петра, или забыла о данномъ ему обѣщанiи и о своихъ мечтахъ: рано-ль, поздно-ль бросить мужа и соединиться съ Петромъ. Петра она любила попрежнему, если не больше, и во всякую минуту готова была исполнить свою завѣтную надежду, но, во-первыхъ, самъ Петръ какъ будто избѣгалъ такого рѣшительнаго поворота своей судьбы, уклончиво и осторожно отговариваясь отсутствiемъ необходимыхъ документовъ на право жительства, разни-

цею общественнаго и матеріальнаго положенія ихъ и прочими пустяками.

Глафира и сама не особенно настаивала на этомъ. Отношенія ихъ съ Петромъ остались прежнія, и хотя Мисаилъ косо глядѣлъ на нихъ, но особенно крутого неудовольствія не выказывалъ.

Давая женѣ полную свободу, Мисаилъ не стѣснялся и самъ. Отъ природы чувственный и жадный до наслажденій, какъ до денегъ, довольно красивый и здоровый онъ не упускалъ случая воспользоваться тѣми или другими женскими ласками, не останавливаясь часто даже передъ денежными жертвами тамъ, гдѣ безъ этого нельзя было обойтись.

Но наряду съ этимъ онъ совершенно не пилъ водки, памятуя погибшаго отъ водки брата и Парфена Молоткова.

Такъ совершенно незамѣтно миновали пять лѣтъ слишкомъ. Петръ изъ конторщика превратился въ помощника управляющаго на суханскомъ заводѣ и получалъ довольно большое жалованье — 1,200 р. въ годъ, хотя за эти деньги и приходилось ему работать изо-дня въ день, съ утра до ночи, а иногда и по ночамъ: Суханскій пріискъ сильно разроссяи къ нему принадлежали еще пять другихъ пріисковъ.

Онъ конечно могъ бы получить не только эти деньги, но и втрое больше — даромъ, но его глубоко оскорбила какъ-то одна просьба Глафиры принять отъ нея въ подарокъ на свое счастье пять выигрышныхъ билетовъ. Петръ такъ рѣзко и даже грубо отвергъ эту подачку, что Глафира въ другой разъ уже никогда не смѣла заикнуться ни о чемъ подобномъ.

— Я не нищій и не Альфонсъ, — отрѣзалъ ей Петръ.

Она хотѣла спросить его, что значитъ Альфонсъ, но по смыслу ихъ отношеній объ этомъ не трудно было догадаться. Глафира покраснѣла и пробормотала:

— Да вѣдь я не потому. Ты нынче именинникъ, ну

вотъ я и хотѣла. Дарятъ же на именины чашки. Обычай такой есть.

— Хороша чашка!

— Да для меня это все-равно, что для другого чашка, еще дешевле.

— Можетъ быть, для тебя это и дешевле, а для меня черезчуръ дорого обойдется,— какъ-то загадочно оборвалъ онъ эту рѣчь и Глафира не стала уже возобновлять своего предложенія.

Черезъ годъ, по смерти отца, глухонѣмой былъ взятъ изъ училища и водворенъ на пріискъ въ качествѣ простого рабочаго на жалованье по двѣнадцати рублей въ мѣсяцъ на своемъ содержаніи.

Нѣчто въ родѣ этого приключилось и съ Анфисой.

Сначала Глафира хотѣла воспитать ее при себѣ и даже мысленно дала такой обѣтъ. Анфиса поселилась на прежнемъ своемъ мѣстѣ, но Мисаила испугало будущее. А, вдругъ получивъ воспитаніе, какъ барышня, она прослышитъ какъ-нибудь стороной объ оставленномъ ей наслѣдствѣ, или выйдетъ замужъ за «доку», который тоже какъ-нибудь пронюхаетъ объ этомъ. Тогда покаешься, но поздно. Лучше ужъ своевременно предотвратить могущую быть непріятность.

Когда же глухонѣмой и Анфиса подростутъ, рѣшили Похвистневы, можно будетъ устроить презабавную штуку: поженить этихъ двухъ наслѣдниковъ и тѣмъ придать такъ мрачно начавшейся трагедіи совершенно шутовской, веселый характеръ.

А пока что, пусть живетъ она на кухнѣ вмѣстѣ съ прислугой, на одномъ положеніи съ судомойкой.

Меньше всего могъ безпокоить Похвистневыхъ священникъ, напутствовавшій больную въ другой міръ и подписавшій завѣщаніе. Этому священнику было много лѣтъ и жить осталось недолго. За отсутствіемъ въ Москвѣ глухонѣмого, онъ повидимому потерялъ всякую связь съ дѣломъ о наслѣдствѣ Прасковьи Ильинишны,

иначе, если бы Похвистневы предвидѣли какую-нибудь опасность съ этой стороны, они постарались бы принять тѣ или другія мѣры предупрежденія.

Кромѣ этой дѣйствительной опасности были еще призраки, но время разрушило призраки, а дѣйствительность была обезврежена людьми.

Похвистневы восторжествовали и надъ беззащитными, безгласными существами, въ которыхъ видѣли своихъ враговъ, и надъ обойденнымъ ими закономъ, и надъ своею собственною совѣстью.

Вспоминая разсказъ Молоткова о совѣсти, Глафира не разъ хотѣла бы посмѣяться надъ этой, какъ она выражалась, притчей; однако смѣхъ замиралъ у нея гдѣ-то далеко отъ сердца, и въ душѣ ея поднималась досада не то на свое внутреннее безсиліе передъ этой притчей, не то на Молоткова за то, что онъ ей разсказалъ.

Въ такія минуты Глафира или запиралась у себя въ горницѣ съ какой-нибудь странницей, пришедшей изъ невѣдомыхъ краевъ, и бесѣдовала съ ней до тѣхъ поръ, пока умъ не начиналъ мутиться отъ монотонныхъ и фантастичныхъ разсказовъ на томъ витіеватомъ, старинномъ языкѣ, который ужъ самъ по себѣ внушаетъ какое-то довѣріе и умиленіе и сообщаетъ необыкновенную торжественность всѣмъ таинственнымъ росказнямъ религіозныхъ перехожихъ людей, или, если дѣло было зимой, приказывала заложить въ маленькія санки рысака и одна ѣхала кататься за городъ, размыкивая по снѣжному пути головокружительно быстрой ѣздой безпокойное и безотрадное чувство.

Глафира и прежде любила лошадей, но съ возможностью пріобрѣтать лошадей на свои деньги, эта любовь къ лошадямъ обратилась у ней въ страсть: она мечтала современемъ устроить свой конскій заводъ въ Смиренскѣ. На этотъ разъ она сошлась во вкусѣ и съ Мисаиломъ; онъ тоже любилъ лошадей и охотно потакалъ ей.

Въ Смиренскѣ, какъ во всякомъ провинціальномъ городѣ, была улица, по которой въ праздничные зимніе дни катались и гуляли смиренскіе обыватели. Сотни жителей тянулись одинъ за другимъ по правую и лѣвую сторону. Смиренская денежная и родовая аристократія щеголяла на этихъ катаньяхъ не только лошадьми, но и туалетами.

Глафира среди этой рублевой аристократіи занимала далеко не послѣднее мѣсто и иногда не прочь была показать себя на катаньи; въ этихъ случаяхъ всегда запрягалась тройка.

Пѣшеходы, толпившіеся съ обѣихъ сторонъ тротуара и тянувшіеся какъ два черныхъ чешуйчатыхъ чудовища взадъ и впередъ, съ удовольствіемъ и завистью посматривали на ѣдущихъ и не только называли ихъ поименно, но и сообщали при этомъ всѣ сокровеннѣйшія подробности ихъ семейной жизни и размѣры ихъ капиталовъ.

Но, проѣхавшись раза два на показъ, Глафира начинала скучать въ этой медлительной и торжественной процессіи, она приказывала кучеру свернуть въ сторону дать волю лошадямъ и мчаться по открытой снѣжной равнинѣ впередъ и впередъ, прислушиваясь къ бойкому и тревожному звону колокольчиковъ и засматривая съ боку изъ саней то на одну, то на другую пристяжную, которыя, закрутивъ свои гибкія и красивыя шеи, скосивъ глаза и кусая стальныя удила, летятъ, не помня себя, впередъ за горделиво поднявшимъ голову коренникомъ и цѣлымъ облакомъ снѣжной пыли, взрываютъ хлопья пушистаго снѣга, швыряя ими черезъ крылья санокъ порою и въ лицо сѣдока.

Въ послѣднее время Глафиру все чаще и чаще одолѣвали приступы холодной и мрачной тоски, и источникъ этой тоски заключался не въ одномъ пробужденіи совѣсти, но и въ отношеніяхъ къ ней Петра. Глафира стала замѣчать уже давно, что Петръ то какъ будто избѣ-

гаетъ встрѣчъ съ нею, то въ часы свиданій бываетъ раздражителенъ и разсѣянъ. Глафира стала чаще взглядывать въ зеркало; у глазъ ея появились морщинки и двѣ тонкія морщинки протянулись отъ носа къ губамъ.

Любовь изъ молодой стала жадной и ревнивой до болѣзненности. Кажется, если бы это было возможно, Глафира заключила бы Петра въ какой-нибудь дворецъ, куда не могъ проникнуть ни одинъ женскій взглядъ, и тамъ, въ этомъ дворцѣ, только она одна была бы его владычицей и рабою.

Она ревновала его ко всѣмъ, но больше всего — къ «удивленышу» и Анфисѣ, съ которой Петръ въ послѣднее время очень подружился. Работы зимой на пріискѣ были пріостановлены и онъ жилъ въ зимней конторѣ въ Смиренскѣ, почти подъ одной кровлей съ Глафирой.

Но если она имѣла какое-нибудь основаніе для ревности къ Улыбышевой, къ Анфисѣ ей совсѣмъ не было причины ревновать его.

Анфиса, во-первыхъ, казалась почти ребенкомъ, не смотря на свои пятнадцать лѣтъ. Невысокаго роста, съ дѣтски-неразвитой тонкой фигурой, съ угловатыми чертами лица, тихаго и какъ-будто испуганнаго, она внушала Петру только сожалѣніе къ себѣ. Похвистневы держали ее въ черномъ тѣлѣ, и это еще болѣе усугубляло производимое ею впечатлѣніе некрасивости. Къ тому же она была малограмотна, такъ какъ училась въ приходскомъ училищѣ вмѣстѣ съ сыномъ и дочерью кучера и кухарки, и между ею и Петромъ не могло быть ничего общаго даже со стороны ихъ умственныхъ интересовъ.

Они иногда встрѣчались и разговаривали, но разговоры эти никогда не шли дальше самыхъ будничныхъ предметовъ. Анфиса застѣнчиво просила, порой, у Петра почитать какую-нибудь книжку, и онъ исполнялъ ея желаніе, давалъ ей то, что казалось ему наиболѣе для нея подходящимъ. Она аккуратно возвращала кни-

гу по прочтеніи, но когда Петръ пробовалъ заговорить съ ней о прочитанномъ, краснѣла, конфузилась, потупляла глаза и отъ смущенія не могла вымолвить ни слова.

Петръ и самъ себя чувствовалъ неловко во время встрѣчъ съ дѣвушкой: точно онъ чѣмъ-то передъ нею провинился, и ихъ краткія бесѣды кончались скоро къ обоюдному облегченію.

Глафира нѣсколько разъ видѣла подобныя сцены и истолковывала ихъ по своему. Послѣ этого положеніе Анфисы становилось еще тяжелѣе. Глафира язвила ее мелкими укорами и оскорбленіями, попреками въ дармоѣдствѣ и насмѣшками передъ прислугой. Анфиса никогда даже не намекала Петру на то, что ей приходится косвенно изъ-за него переносить, но вмѣстѣ съ тѣмъ никогда не избѣгала его изъ боязни новыхъ нападокъ со стороны Глафиры, чѣмъ сильно раздражала послѣднюю, вселяя въ ней еще большую увѣренность въ своихъ подозрѣніяхъ.

Всѣ эти ревнивыя подозрѣнія и сомнѣнія преслѣдовали Глафиру не только на яву, но и во снѣ.

Какъ-то однажды Глафира увидѣла странный сонъ.

Ей снилась степь зимою. Холодно и пустынно вокругъ. Она стоитъ на снѣгу ночью и вростаетъ въ него. Петръ!

Глафира проснулась съ этимъ именемъ на губахъ. Холодный потъ покрывалъ ея лобъ, и сердце учащенно билось въ груди. Она, дрожа отъ испуга, оглядывалась по сторонамъ, словно отыскивая образъ своего мучительнаго сна, но въ спальнѣ было тихо и полусвѣтло. Огромная серебряная лампада свѣтилась за стекломъ стариннаго кивота, бросая бѣлые блики на серебряныя ризы и выдѣляя изъ мрака темные образа строго написанныхъ на деревѣ святыхъ.

Отголоски сна еще дрожали въ памяти Глафиры мрачной музыкой и, не смотря на бодрственное ея состояніе,

внушали ей суевѣрный страхъ. Она вѣрила въ сны, а этотъ сонъ, постепенно выплывавшій передъ нею во всѣхъ подробностяхъ, казался ей особенно важнымъ, знаменательнымъ и зловѣщимъ. Тотъ холодъ, который она ощущала во снѣ, чувствовался ей теперь и на яву подъ мягкимъ пуховымъ одѣяломъ, но она долго не хотѣла побороть его и вся съ какимъ-то жуткимъ сладострастіемъ отдавалась власти этого смутнаго и подавляющаго ощущенія.

Долго лежала она неподвижно, широко открывъ свои глубокіе, темные глаза, которые казались еще темнѣе и глубже оттого, что въ нихъ не западалъ свѣтъ лампадки, и, мнилось, хотѣла своимъ напряженнымъ взглядомъ проникнуть въ тайну этого сна. Но вотъ она слегка шевельнулась и перевела свой взглядъ почти къ своему подножью.

Тамъ, свернувшись клубочкомъ, на полу, застланномъ мягкимъ ковромъ, темнѣла какая-то фигура.

— Манефа,— тихо окликнула Глафира.

Фигура зашевелилась, и съ подушки слегка приподнялась маленькая въ повойникѣ голова старушки съ птичьимъ носомъ, маленькими, подслѣповатыми глазами и тонкими собранными въ морщинистый комочекъ губами.

Это была гостья-странница, которую пріютила у себя на время Глафира, съ любопытствомъ слушавшая ея безконечные разсказы о видѣнныхъ и слышанныхъ чудесахъ.

Глафира окликнула Манефу снова, и та проворно вскочила съ своего незатѣйливаго ложа, въ длинной рубахѣ изъ грубаго, темнаго холста, висѣвшей на ея маленькой, тонкой фигурѣ точно на плечахъ скелета.

Она полусонными глазами посмотрѣла на Глафиру и вкрадчивымъ шепоткомъ спросила:

— Не испить-ли тебѣ, родненькая, захотѣлось?

— Нѣтъ, сядь вотъ сюда, — указала ей мѣсто у себя въ ногахъ Глафира.

Манефа послушно сѣла съ краю, ея голова очутилась какъ разъ наравнѣ съ большимъ деревяннымъ шаромъ кровати; голова Манефы была склонена налѣво, а шаръ какъ бы представлялъ собою другую голову старушки на тонкой шеѣ. При таинственномъ освѣщеніи лампады это произвело на Глафиру непріятное и странное впечатлѣніе, и она попросила Манефу пересѣсть поближе къ себѣ.

— Умѣешь-ли ты сны отгадывать? — спросила она странницу.

— Всякій сонъ сну рознь бываетъ, — наставительно замѣтила та. — Иные сны, иже отъ діавола, аки навожденіе. Аще діаволъ человѣческую душу смущаетъ, пасть свою поганую надъ тѣмъ человѣцемъ разверзаетъ и дыханіемъ смраднымъ душу его омрачаетъ... А иной сонъ андели крыльями своими навѣваютъ, аки ароматъ — благовоніе райское.

— Такъ слушай, я тебѣ разскажу свой сонъ.

Глафира оперла свою голову на полную, голую руку, розовый локоть которой уходилъ въ бѣлую пуховую подушку, и начала разсказывать свой сонъ медленно и тихо, порою закрывая глаза для того, чтобы лучше вспомнить всѣ подробности его.

Она и не замѣтила, какъ подъ ея тихій и взволнованный разсказъ Манефа задремала сидя. Маленькая голова ея склонилась на желтую, какъ пергаментъ, сморщенную грудь, и изъ тонкаго носа выходило сдержанное посвистываніе.

— Манефа! — строго окликнула Глафира.

Странница встрепенулась и спросонья быстро начала разсказывать, обведя пальцемъ вокругъ своего сморщеннаго рта:

— Когда подступили къ большему Китежу, градъ сдѣлался незримымъ, и такъ пребудетъ до скончанія вѣка.

Есть тамъ и храмы старинные, и монастыри, и народу великое множество... А лѣтнимъ вечеромъ на Свѣтлояромъ озерѣ слышенъ звонъ колоколовъ китежскихъ.

Глафира съ удивленіемъ посмотрѣла на нее, точно сама только что очнулась отъ сна, и, глядя на дремавшую старушку, разсказывавшую то, что она говорила Глафирѣ передъ сномъ нынѣ вечеромъ,— перебила ее не безъ досады:

— Ну, ладно, ладно, иди, спи себѣ.

— Что же, ай не угодила, матушка? — ничего не подозрѣвая, спросила Манефа.— Такъ я другое тебѣ разскажу про страну Опоньску, какъ въ той странѣ люди живутъ, ни татьбъ, ни судовъ противныхъ не вѣдая. Тамо древо равны съ высочайшими горами и повелѣваетъ тамъ патріархъ ассирійскій..

— Нѣтъ, нѣтъ, Манефа, ничего не надо, — устало остановила ее Глафира. — Спи. Чай, ужъ свѣтать скоро будетъ.

— Инъ будь по твоему,— согласилась странница, спускаясь на свое ложе и свертываясь на немъ въ комочекъ.— Охъ, Мати Богородица... О-о-охъ...

Глафира долго лежала такъ съ открытыми глазами, объятая не то предчувствіемъ какого-то грядущаго несчастія, не то смутнымъ недовольствомъ, поднимавшемся изъ глубины ея души и ускользавшимъ отъ трезваго и холоднаго сознанія.

На утро она проснулась въ раздраженномъ настроеніи и съ сильной головной болью. Цѣлый день она пробыла въ этомъ состояніи, не желая никого видѣть, а послѣ обѣда приказала заложить лошадь и хотѣла пригласить прокатиться съ собою Петра.

Но Петръ куда-то ушелъ, и Глафира въ досадѣ рѣшила поѣхать одна, ревнивымъ чутьемъ прозрѣвая, что Петръ тамъ, т.-е. у Улыбышевыхъ, и это подозрѣніе, казалось ей, имѣло смутное отношеніе къ видѣнному ею сну.

Глафира сначала подумала, что ее можетъ развлечь толпа. День былъ праздничный, и она отправилась на гулянье въ своихъ маленькихъ санкахъ, безъ кучера, сама управляя своимъ любимымъ воронымъ рысакомъ «Деспотомъ». Она любила ѣздить такимъ образомъ, и горячая лошадь слушалась ея сильныхъ рукъ въ мѣховыхъ варежкахъ, вокругъ которыхъ были обвернуты крѣпкія темносинія возжи.

Для такихъ поѣздокъ у Глафиры существовалъ совсѣмъ особый костюмъ, который она очень любила, потому что онъ нравился Петру и дѣйствительно очень шелъ ей.

Овчинный почти мужской полушубокъ, покрытый черной матеріей, перетянутый кушакомъ, и сѣрая смушковая шапка съ расшитымъ башлыкомъ, который въ морозы она надѣвала поверхъ шапки.

Въ этомъ костюмѣ лицо ея пріобрѣтало задорную миловидность, особенно когда Глафира была весела. Она походила на стройнаго красавца-парня, сама знала это и даже держалась въ своемъ костюмѣ особенно бодро и съ нѣкоторымъ ухарствомъ. Но на этотъ разъ даже обычная бодрость покинула ее, хотя день былъ чудный. Морозило. Не было ни вѣтра, ни облаковъ на небѣ.

Изъ городскихъ трубъ кое-гдѣ тянулся прямымъ столбомъ дымокъ къ ясному и слегка поблѣднѣвшему небу, которое прощалось уже съ блестящимъ, но холоднымъ солнцемъ, все болѣе краснѣвшимъ съ своимъ приближеніемъ къ закату.

Какъ всегда въ морозные дни, снѣгъ казался особенно чистымъ, а всѣ предметы на землѣ: зданія, деревья, птицы,— пріобрѣтали тонкую воздушность и отчетливость очертаній.

Особенно хороши были деревья, мохнатыя и пушистыя въ своемъ бѣломъ, холодномъ инеѣ, точно майскія осыпанныя сплошнымъ цвѣтомъ яблони и вишни.

Снѣгъ какъ бы съ удовольствіемъ хрустѣлъ подъ по-

лозьями, и въ воздухѣ пахло чѣмъ-то празднично-вкуснымъ: не то пирогами, не то яблочнымъ вареньемъ.

Щеки мгновенно краснѣли на морозѣ; отъ дыханія паръ выходилъ клубами, какъ сигарный дымъ, и гривы лошадей, челки и даже ноздри слегка сѣдѣли отъ морозной серебристой пыли.

Сдерживая напряженно и свѣжо переступавшаго «Деспота», Глафира въѣхала въ вереницу самыхъ разнокалиберныхъ экипажей, чинно тянувшихся безконечной цѣпью, и, не глядя ни на кого, чтобы избавить себя отъ необходимости раскланиваться съ многочисленными знакомыми, сначала тоже шагомъ пустила свою лошадь.

Но скоро ей, по обыкновенію, надоѣло это скучное и натянутое шествіе. Она своротила налѣво и, тронувъ возжами, пустила «Деспота» легкой, размашистой рысцой между тянувшихся попрежнему медленно съ двухъ сторонъ экипажей.

Вдругъ, Глафира замѣтила, что изъ вереницы встрѣчныхъ экипажей выдвинулись такія же легкія, маленькія саночки, какъ у Глафиры, тоже въ одну лошадь, выдвинулись и быстро повернули назадъ шагахъ въ десяти отъ нея.

Въ санкахъ, бокъ-о-бокъ, сидѣли двѣ фигуры, мужская и женская: обѣ стройныя и почти одного роста.

Женская фигура была въ сѣрой барашковой кофточкѣ, какой былъ на Глафирѣ, и въ черной круглой, тоже же шапкѣ, слегка надвинутой на лобъ и примятой сверху.

Мужская фигура была въ такомъ же полушубкѣ, какой былъ на Глафирѣ, и въ черной круглой, тоже барашковой шапкѣ.

Глафира даже вздрогнула отъ неожиданности: она узнала Петра и дочь Улыбышева. Кровь ударила ей мгновенно въ лицо и, нервно передернувъ возжами, она слегка согнулась направо, боясь упустить изъ

глазъ знакомую парочку, за которой вслѣдъ повернули и нѣсколько другихъ экипажей.

Эти экипажи на время задержали Глафиру и даже скрыли отъ глазъ ея маленькія санки съ двумя сѣдоками.

Въ нетерпѣніи она выбралась, наконецъ, на просторъ и увидѣла санки вдали, опередившія всѣхъ.

Она рванула изо всѣхъ силъ вожжами. Лошадь закрутила головой, фыркнула и быстро и гордо пошла впередъ, рысистымъ сбоемъ, поднимая своими тонкими стройными ногами цѣлыя облака снѣжной пыли и бросая ихъ Глафирѣ въ лицо черезъ высокія кожаныя крылья. Но Глафира не замѣчала этого снѣга, только инстинктивно закрывала и открывала глаза и трясла головой, когда снѣгъ облѣплялъ и билъ ей въ щеки и лобъ.

Она сама не отдавала себѣ хорошо отчета, зачѣмъ собственно ей надо догнать ихъ. Можетъ быть, Глафиру покоробило то, что они, завидѣвъ ее издали, хотѣли скрыться отъ нея, избѣжать встрѣчи съ нею: въ такомъ случаѣ надо было наказать ихъ тѣмъ, что обогнать и засмѣяться имъ прямо въ лицо злымъ и презрительнымъ смѣхомъ.

Внутри Глафиры что-то накипало, поднималось и падало снова и застилало туманомъ глаза,— все это въ продолженіе какой-нибудь одной минуты, пока она догоняла очевидно избѣгавшихъ съ нею встрѣчи молодыхъ людей. Въ головѣ не было ни одной мысли. Какіе-то кошмарные образы сталкивались и перепутывались тамъ, точно осенніе листья, кружимые вихремъ. Вонъ Петръ быстро полуобернулся. Въ глазахъ Глафиры мелькнуло знакомое, дорогое лицо съ небольшими усами и кудрявой бородкой, оставлявшей красивый подбородокъ почти совершенно открытымъ. Вслѣдъ затѣмъ ихъ лошадь пошла быстрѣе, но «Деспотъ» Глафи-

ры уже разошелся во всю рысь, и она въ нѣсколько мгновеній нагнала свою соперницу.

Въ сердцѣ Глафиры какъ-будто остановилась кровь, когда лошади поровнялись, и возжи едва не выпали изъ ея рукъ. Но она не только не захохотала имъ въ лицо и не окинула ихъ уничтожающимъ и презрительнымъ взглядомъ, но еще ниже наклонила свою голову съ поблѣднѣвшимъ лицомъ, отвернувшись, далеко опередила ихъ, но, опередивъ, инстинктивно стала задерживать дрожащими руками возжи.

«Деспотъ» пошелъ сдержаннѣе.

Глафирѣ хотѣлось совсѣмъ опустить возжи и, отдавшись на произволъ лошади, уѣхать вдаль, куда глаза глядятъ, но какая-то непокорная сила заставила ее обернуться назадъ и взглянуть какъ разъ на то мѣсто, гдѣ она ожидала увидѣть все ту же группу.

Но ей достаточно было увидѣть гордо повернутую на право голову ставшей вдругъ ненавистной лошади, чтобы тотчасъ же отвернуться снова.

Однакс въ то же мгновеніе у нея въ умѣ мелькнула мысль, что они хотятъ повернуть въ другую улицу, ведущую въ степь. Кровь опять заколотилась въ ея сердцѣ и прилила къ головѣ. На нижней губѣ, закушенной острыми зубами, показались пятна. Глафира оглянулась снова и въ тотъ же мигъ потянула правую возжу.

Лошадь круто завернула на довольно быстромъ ходу, и Глафира едва не вылетѣла изъ саней.

Точно чуя, что именно отъ него требуется, «Деспотъ» сильно и важно пошелъ впередъ той же самоувѣренной и размашистой рысью.

Глафира рѣшила нагнать ихъ, во что бы то ни стало. Зачѣмъ? Она опять-таки не давала себѣ отчета, но не преслѣдовать ихъ она не могла. На одно мгновеніе у ней мелькнула мысль, что она унижаетъ себя этой погоней, что они, можетъ быть, громко смѣются надъ ней

между собою, въ то время какъ ея сердце разрывается на части, но эта мысль не остановила ее, а только какъ будто прибавила масла въ огонь и вызвала въ ней отчаянное желаніе такого самоуниженія, которымъ совершенно была бы подавлена ея личность.

Къ этому примѣшивалось и другое чувство, чувство мстительнаго негодованія. Глафирѣ хотѣлось разогнать лошадь, съ размаха направить ее на ихъ маленькія санки, смять ихъ вмѣстѣ съ сѣдоками и самой погибнуть дикою смертью.

Не помня себя, она хлестала «Деспота» возжами, не сводя однако мрачныхъ глазъ съ успѣвшей далеко уйти впередъ ненавистной лошади. «Деспотъ» летѣлъ, какъ черный вихрь, и далеко металъ цѣлымъ облакомъ снѣгъ изъ-подъ копытъ, который билъ въ передокъ саней, точно непрерывныя волны. Онъ въ одинъ мигъ пронесъ Глафиру черезъ насыпь, по обѣимъ сторонамъ которой шелъ оврагъ, куда сваливался со всего города навозъ, а наверху лѣпились жалкія покосившіяся лачужки. На Глафиру сразу пахнуло запахомъ прѣвшаго даже подъ снѣгомъ навоза, и затѣмъ этотъ запахъ опять смѣнился свѣжестью зимняго вѣтра, который билъ навстрѣчу, захватывалъ дыханіе и почти жегъ лицо.

Они были теперь за городомъ, и «Деспотъ» мчался по ровной, укатанной дорогѣ съ небольшими ухабами, надъ которыми, казалось, санки пролетали, только слегка вздрагивая.

Солнце уже скрылось. Весь западъ пылалъ бронзовымъ загаромъ, и этотъ загаръ отсвѣчивалъ въ слегка окоченѣвшей безконечной пеленѣ бѣлаго снѣга нѣжной, едва уловимой розоватостью, которая на покатостяхъ снѣжныхъ холмовъ казалась замѣтнѣе.

Позади весь городъ стоялъ съ своими немногочисленными церквами, четко выдѣлявшимися на розовомъ фонѣ неба своими широкими куполами и сквозными ко-

локольнями, съ полицейскими каланчами и безконечными безпорядочно разбросанными крышами. Стоялъ, закутанный, словно въ лебяжій пухъ, въ бѣлый слегка порозовѣвшій на закатѣ снѣгъ,— волшебное серебряное марево въ легкой дымкѣ морознаго, яснаго сѣвернаго вечера.

Такъ же волшебно и прозрачно синѣлъ вдали направо отъ дороги лѣсъ, начинавшійся отдѣльными кустиками, сиротливыми деревцами и гривками и переходившій дальше въ сплошную зубчатую стѣну. Прямо передъ глазами темнѣла деревушка съ разбросанными, словно перессорившимися другъ съ другомъ, избушками. Нѣсколько влѣво отъ нихъ, по другую сторону рѣчонки, теперь занесенной снѣгомъ и сравнявшейся со степью, стоялъ винокуренный заводъ, изъ трубы котораго, не смотря на праздничный день, курился дымъ, и зданіе этого завода, также пріобрѣвшаго фантастичный видъ, казалось небывалой громадой-пароходомъ, идущимъ впередъ по бѣлому, словно мертвому океану. Но Глафира совершенно не замѣчала прелестей этой вечерней картины. «Деспотъ» мчался, какъ безумный, и настойчиво-вѣрно нагонялъ свою соперницу, быстро и сильно выбрасывая упругія переднія ноги и попрежнему взрывая копытами пушистыя облака.

Глафира нѣсколько разъ уже замѣтила, что то Петръ, то его спутница украдкой и пугливо оглядывались назадъ, будто чуя за собою что-то недоброе въ этой изступленной погонѣ.

По мѣрѣ приближенія къ нимъ у Глафиры все болѣе кружилась голова и рябило въ глазахъ. Ей начинало казаться, что вотъ-вотъ, сейчасъ, сію минуту, не догнавъ своихъ враговъ, она и ея «Деспотъ» стремглавъ полетятъ съ страшной крутизны куда-то въ бездонную пропасть. Что же сдѣлать? Что же ей сдѣлать, чтобы какъ-нибудь освободиться отъ кипѣвшей и душившей ее оскорбленной страсти, ненависти и отчаянія? Отго-

лоски сна прозвучали гдѣ-то далеко, но ясно, въ ея памяти. Холодомъ и одиночествомъ пахнуло на нее. Въ ушахъ словно зазвенѣли знакомые бубенчики. Звѣздные огни запрыгали въ глазахъ, горло сдавило. Бѣлый вихрь ей несется навстрѣчу... «Петръ!» ей хочется вскрикнуть, какъ во снѣ...

Черные санки мелькнули гдѣ-то въ сторонѣ передъ нею. Онѣ-ль своротили съ дороги, она-ли — неизвѣстно. Глафиру точно освѣтила ужасная мысль.

Страшнѣе отомстить нельзя!

Съ необыкновенной быстротой, съ торжествующимъ и злобнымъ лицомъ Глафира сдѣлала петлю изъ вожжей и въ тотъ самый мигъ, какъ ея сани поравнялись съ ихъ санями, она накинула себѣ на шею эту петлю и на глазахъ у нихъ бросилась изъ санокъ на снѣгъ.

Раздирающій душу женскій крикъ раздался въ противоположныхъ саняхъ. Но тутъ случилось нѣчто совсѣмъ необычайное: «Красавчикъ» пересѣкъ дорогу «Деспоту».

Тотъ шарахнулся назадъ и остановился отъ неожиданности, какъ вкопаный.

## XII.

Петръ выскочилъ изъ саней и бросился къ «Деспоту». Не давъ ему времени опомниться, онъ схватилъ подъ уздцы его и «Красавчика». Дѣвушка кинулась къ Глафирѣ, неподвижно распростертой на снѣгу рядомъ съ санями.

Петръ не могъ отъ ужаса произнести ни слова и смотрѣлъ на Глафиру и на склонившуюся надъ ней въ тревогѣ дѣвушку.

«Деспотъ» и «Красавчикъ» тяжело дышали, вздрагивая всѣмъ тѣломъ, раздувая ноздри, переступая ногами на мѣстѣ и косясь другъ на друга.

То та, то другая лошадь, нетерпѣливо фыркая, пыталась мотнуть головой, но Петръ ощущалъ въ мускулахъ необычайный приливъ силъ и, широко разставивъ ноги, сдерживалъ разгорячившихся животныхъ.

Первымъ движеніемъ Улыбышевой было освободить изъ петли голову Глафиры. Лицо Глафиры было мертвенно-блѣдно, зубы плотно стиснуты, а губы полуоткрыты, и въ нихъ еще таилась страдальческая злоба.

Вѣки закрытыхъ глазъ были подернуты легкой прозрачной синевою, и такая же синева замѣчалась на впадинахъ висковъ.

Шапка слетѣла съ Глафиры и лежала на снѣгу, а башлыкъ закинулся за спину, все это она сбила съ себя, когда накидывала на шею петлю. Черные волосы ея вмѣстѣ съ круглыми бровями и длинными рѣсницами поразительно красиво оттѣняли блѣдность ея лица, и эта черная голова на бѣломъ снѣгу производила удивительно гармоничное впечатлѣніе съ этой безжизненной степью и блѣднымъ небомъ, которыя цѣловалъ, какъ прощальная любовь, умирающій зимній вечеръ. Казалось, что эта неподвижная и красивая голова, обращенная къ небу закрытыми глазами, не только родная этой степи, небу и зимнему закату, но и составляетъ украшеніе ихъ. Казалось, что эти все еще горячившіяся вороныя лошади и двое взволнованныхъ людей должны сейчасъ исчезнуть отсюда, какъ что-то лишнее, и оставить эту строгую неподвижную голову, это разметавшееся тѣло на степи, какъ неотдѣлимую часть замкнувшейся въ себѣ природы. Такое именно впечатлѣніе произвела голова Глафиры на Улыбышеву въ первое мгновеніе, когда дѣвушка увидѣла ее. Это впечатлѣніе было настолько сильно, что осталось въ ея памяти, не смотря на то, что она была потрясена и испугана до послѣдней степени, не смотря на то, что первая мысль, пронизавшая ея умъ при видѣ распростертой на снѣгу Глафиры, была та, что Глафира мертва.

Но то, что петля была не сильно затянута, сразу обрадовало и обнадежило дѣвушку. Повидимому, Петръ заставилъ «Деспота» остановиться прежде чѣмъ тотъ успѣлъ натянуть возжи.

— Ну, что? — почему-то шопотомъ сорвался, наконецъ, съ губъ Петра нетерпѣливый и мучительный для обоихъ вопросъ.

Дѣвушка, затаивъ дыханіе, прижалась своей щекой къ губамъ Глафиры, чтобы узнать, дышетъ-ли она, и вмѣстѣ съ ней замеръ Петръ. Даже лошади, какъ бы чувствуя всю важность минуты, застыли. Улыбышевой показалось, что холодной щеки ея коснулось легкое вѣяніе тепла.

Она торопливо и порывисто отстегнула крючки Глафирьина тулупчика и ухомъ прижалась къ ея сердцу.

Но тутъ лошади снова стали переступать ногами и помѣшали выслушать сердце.

Тѣмъ не менѣе въ ея душѣ загорѣлась почти увѣренность, что Глафира жива. Она схватила цѣлыя пригоршни снѣга и, насыпавъ ей немного на губы, стала растирать снѣгомъ виски и щеки Глафиры.

Петръ слѣдилъ за лицомъ дѣвушки еще больше, чѣмъ за лицомъ Глафиры. Въ глазахъ его также засвѣтилась надежда, тѣмъ болѣе основательная, что онъ видѣлъ лицо удавленника Кирилла съ ощеренными зубами, выпученными остеклянѣвшими глазами и высунутымъ на бокъ языкомъ.

Черезъ минуту пушинки снѣга на губахъ Глафиры стали замѣтно темнѣть и таять, а на щекахъ сталъ появляться легкій румянецъ.

Дѣвушка съ живостью и мгновенно просвѣтлѣвшимъ взоромъ обернула голову къ Петру и, встрѣтивъ на его лицѣ надежду, утвердительно кивнула головой.

— Обморокъ, — также прошептала она и продолжала свое растиранье, нахмуривъ брови, съ строгимъ лицомъ

и внимательнымъ взглядомъ своихъ голубыхъ сосредоточенныхъ глазъ.

Но у обоихъ теперь сразу отлегло отъ сердца, и они мысленно поблагодарили небо за то, что неожиданная катастрофа приняла такой сравнительно благополучный оборотъ.

Съ каждымъ мгновеніемъ лицо Глафиры все болѣе оживлялось. Едва замѣтно уголки губъ измѣнили свое положеніе и слегка сжались. Изъ нихъ теперь ясно выходило все еще слабое, но довольно ровное дыханіе, заставлявшее не только таять, но и шевелиться слегка пушинки снѣга. Наконецъ, рѣсницы ея раза два вздрогнули, какъ бы во снѣ и чуть-чуть пошевелились.

Улыбышевой показалось, что Глафира уже пришла въ себя и только притворяется, что къ ней еще не вернулось сознаніе; ей показалось даже, что подъ тонкой кожицей вѣкъ у Глафиры заходили глазныя яблоки, но она тотчасъ же устыдилась своего подозрѣнія и поднялась съ колѣнъ, которыми стояла на снѣгу, чувствуя только теперь, что они у ней сильно озябли.

Она оставила Глафиру, подошла къ Петру и, не глядя на него, тихо заговорила:

— У нея былъ обморокъ и, вѣроятно, онъ перешелъ въ сонъ. Надо перенести ее въ сани, а то на снѣгу она простудиться можетъ. Я поѣду сейчасъ домой одна. Вечеромъ сегодня, хоть бы это было въ полночь, даже позже, вы должны быть у насъ и все разсказать. Слышите?

Она подчеркнула послѣднія слова, мелькомъ взглянувъ на Петра, и ея нѣжное лицо правильнаго и чистаго овала вспыхнуло.

— Лошади совсѣмъ успокоились, я подержу ихъ,— прибавила она уже значительно мягче,— а вы перенесите ее.

Петръ растерянно, но покорно повиновался и, передавъ узды лошадей въ руки дѣвушки, подошелъ

къ Глафирѣ, неуклюже обхватилъ руками ея тѣло, поднялъ его съ трудомъ и неловко положилъ въ сани.

Ему не разъ приходилось въ шутку поднимать Глафиру на рукахъ, и онъ продѣлывалъ всегда это легко, но тутъ или его покинули силы, или она отяжелѣла.

— Да посадите ее какъ слѣдуетъ, обхватите рукой и такъ поѣзжайте потихоньку.

Петръ поднялъ возжи и сдѣлалъ такъ, какъ ему она приказала.

— А голову-то, голову-то что же вы не закроете. Вонъ шапка справа отъ саней, протяните руку, возьмите ее и надѣньте ей на голову. Такъ. Башлыкъ поверхъ. Такъ. Снѣгъ съ платья отряхните, застегните ее. Такъ.

Обнявъ правой рукой, въ которой были возжи, Глафиру за талію, лѣвой онъ надѣлъ на нее шапку, башлыкъ, стряхнулъ снѣгъ и застегнулъ крючки полушубка.

Ему самому засыпался снѣгъ въ правый рукавъ, когда онъ поднималъ Глафиру. Онъ вытряхнулъ и его.

Закатъ потускнѣлъ на небѣ, и потускнѣла степь. Снѣгъ подергивался мягкимъ сиреневымъ матомъ, въ свою очередь быстро тускнѣвшимъ и переходившимъ въ болѣе сѣрые и густые тона. Всѣ предметы и линіи теряли постепенно свою воздушность и прозрачность, темнѣли и тяжелѣли. Звѣзды одна за другой выступали на небѣ, точно золотая сыпь. Надъ городомъ, казавшимся какимъ-то полчищемъ великановъ съ горѣвшими коегдѣ факелами, отражавшимися въ небесахъ легкимъ заревомъ, отчетливо вырѣзался серпъ мѣсяца, точно согнутый золотой лукъ, а звѣздочка невдалекѣ отъ него казалась пущенной изъ этого лука серебряной стрѣлкой.

Какъ разъ передъ мѣсяцемъ, на одной линіи съ звѣздочкой-стрѣлкой, сверкавшей позади его, блестѣла другая звѣздочка, точно обозначавшая середину слегка преломлявшейся невидимой тетивы. Холмы, снѣжные бугры и лощины,— все сливалось постепенно въ одну

широкую, темную равнину, и деревню отъ лѣса можно было отличить только потому, что въ деревнѣ кое-гдѣ горѣли огоньки.

Зато заводъ представлялъ поразительную картину. Окна всѣхъ пяти этажей его сіяли огнями, и казалось, что тамъ, за этими окнами, идетъ блистательно волшебный пиръ.

Это впечатлѣніе нарушалъ только дымъ, поднимавшійся къ небу изъ трубы и казавшійся теперь совершенно чернымъ. Этотъ дымъ дрожалъ въ воздухѣ, какъ траурный султанъ на огромномъ катафалкѣ, украшенномъ огнями, и скорѣе говорилъ о смерти, чѣмъ о жизни.

Улыбышева уже сѣла въ санки и хотѣла тронуть возжами своего «Красавчика», когда Петръ остановилъ ее нерѣшительнымъ и робкимъ вопросомъ:

— Но какъ же я повезу ее въ такомъ видѣ домой?

— Такъ что-жъ, теперь темно, и васъ никто вечеромъ не увидитъ.

— А дома?

— До дома она, можетъ быть, очнется.

— А если нѣтъ?

— А если нѣтъ, тогда надо позвать доктора,— все еще избѣгая глядѣть на Петра, отвѣтила дѣвушка, какъ бы удивленная, что ей приходится учить такимъ пустякамъ взрослаго человѣка.

Онъ покраснѣлъ и повелъ нетерпѣливо плечами, въ досадѣ, что она дѣлаетъ видъ, будто не понимаетъ его. Она не могла не понимать, что привезти Глафиру домой безъ чувствъ, въ то время какъ всѣ знали, что она поѣхала кататься одна, значило бы всполошить не только весь похвистневскій дворъ во главѣ съ его хозяиномъ, но и дать пищу для разговоровъ всему городу, тѣмъ болѣе что и на катаньѣ ее не могли не замѣтить одну, а Улыбышеву съ Петромъ. И то ужъ о немъ и Глафирѣ ходитъ не мало сплетенъ въ городѣ, чаще всего оскорбительныхъ для Петра, такъ какъ его подозрѣваютъ въ



томъ, что онъ пользуется средствами Глафиры. Улыбышева тоже, навѣрное, слышала эти сплетни, но не вѣрила имъ до сихъ поръ прежде всего потому, что не знала о существованіи между ними столь близкихъ отношеній. Послѣ того, что случилось въ этотъ вечеръ, она не могла сомнѣваться, да Петръ и самъ не сталъ бы отпираться, если бы она спросила его объ этомъ. Ему было мучительно стыдно и тяжело при одной подобной мысли, но это еще не давало повода ей разговаривать съ нимъ такимъ холодно-пренебрежительнымъ тономъ, какимъ она вела разговоръ во время минувшей сцены. Неужели же она могла подозрѣвать въ немъ также корыстныя, низменныя побужденія? Одно такое сомнѣніе заставляло его лицо вспыхивать краскою стыда, а сердце сжиматься отъ приливовъ жгучаго отравляющаго душу чувства незаслуженной кровной обиды и негодованія.

— Послушайте, Ольга Николаевна, — началъ онъ тихо и взволнованно, сгорая желаніемъ теперь же выяснить этотъ острый для него вопросъ.

Но она точно угадала, что онъ хочетъ объясниться, и, круто повернувъ лошадь, крикнула ему все такъ же холодно:

— Дома вы можете что-нибудь выдумать, солгать, если она не очнется. Это такъ не трудно.

— Ольга Николаевна! — вспыхнулъ Петръ. — Подождите... выслушайте.

Но она уже передернула возжами. Лошадь рванула, и до Петра донеслось, постепенно стихая, сквозь топотъ лошадиныхъ копытъ и визгъ полозьевъ:

— До свиданья. Я васъ жду. Теперь не время и не мѣсто разговаривать.

Послѣднія слова онъ уже едва въ состояніи былъ разобрать. Онъ слѣдилъ, какъ сани все удалялись и черезъ нѣсколько мгновеній слились съ лошадью и фигурой на нихъ въ одинъ безформенный черный движу-

щійся силуэтъ, который все уменьшался и блѣднѣлъ.

Сердце Петра щемила невыносимая боль, и ему казалось, что это удаляется отъ него его счастіе, надежды, юность. Онъ взглянулъ на Глафиру, которая все еще въ тяжеломъ снѣ склонилась къ нему, уронивъ на плечо свою голову, и она стала ему, вдругъ, ненавистна до отвращенія. Ему захотѣлось оттолкнуть ее прочь отъ себя, сбросить даже съ саней и догнать ту черную точку, которая мелькала уже неподалеку отъ города. Ему въ эту минуту была непріятна даже близость ея тѣла къ себѣ, и онъ не ощущалъ не только ни малѣйшаго страха за ея безопасность, но даже простой жалости къ ней не было и тѣни въ его сердцѣ. Она въ эту минуту казалась ему злымъ рокомъ, стоящимъ на его пути и готовымъ погубить его во всякую минуту.

Петръ не хотѣлъ вспомнить въ этотъ мигъ ни о чемъ такомъ, что хоть сколько-нибудь озаряло и согрѣвало ихъ отношенія. Все казалось ему въ нихъ мрачно и мерзко, и каждый поцѣлуй ея представлялся ему темнымъ и грязнымъ пятномъ въ жизни. Онъ ощутилъ въ себѣ болѣзненное желаніе разорвать немедленно съ Глафирой тяжелую связь, чего бы ему это ни стоило. Прежде чѣмъ итти туда, онъ сдѣлаетъ это, хотя бы сама земля послѣ этого провалилась подъ нимъ. Онъ предчувствовалъ, что рѣшительный шагъ не обойдется ему даромъ, что это будетъ роковой шагъ, и все же не желалъ останавливаться. Другого исхода для себя онъ не видѣлъ.

По дорогѣ къ дому Глафира стала какъ-будто слегка приходить въ себя. Раза два она пошевелилась и въ полуснѣ прошептала что-то. Не смотря на морозъ, сильно дававшій себя знать, Петръ рѣшилъ до тѣхъ поръ не ѣхать домой, пока Глафира не проснется и не въ состояніи будетъ сама войти въ домъ.

Проѣзжая мимо трактира, около котораго стояли извозчики, онъ обратился къ одному изъ нихъ съ прось-

бой принести ему сороковку водки, прибавивъ для поощренія:

— Гривенникъ на чай себѣ получишь.

— Можно,— согласился тотъ и принялъ отъ Петра мелочь.

— Только пусть тебѣ тамъ и откупорятъ ее.

— Ладно.

Вручая Петру маленькую бутылочку, извозчикъ взглянулъ на лошадь, затѣмъ на Петра и его спутницу.

— Клюнула, должно, бабенка-то...

Петръ поспѣшилъ взять бутылку и тронуть возжами.

— А лошадь-то знакомая — Похвистневыхъ, — раздались голоса за его спиной.

— Да никакъ это сама съ конторщикомъ. Мертвецки!

«Деспотъ» завернулъ въ глухую улицу, и Петръ уже не слышалъ дальнѣйшихъ разговоровъ.

Пустивъ лошадь шагомъ, онъ сталъ пытаться разбудить Глафиру, но Глафира спала.

Голова ея безпомощно опускалась въ ту сторону, куда наклонялъ ее Петръ.

Тогда онъ совсѣмъ остановилъ «Деспота» и заставилъ Глафиру слегка запрокинуть назадъ голову, затѣмъ съ трудомъ разжавъ ея зубы пальцами, онъ поднесъ бутылку къ губамъ Глафиры и сталъ вливать ей въ ротъ водку.

При первомъ же глоткѣ она поперхнулась, закашлялась и открыла глаза.

— Пей,— приказывалъ Петръ.

Она послушно сдѣлала нѣсколько глотковъ, не закрывая глазъ и не понимая, гдѣ она и что съ нею происходитъ.

Она все еще какъ бы спала съ открытыми глазами, однако ощущала мучительный холодъ и слабо прошептала:

— Домой.

Черезъ двѣ минуты, не сказавъ другъ другу ни слова, они въѣхали въ ворота.

— Хозяинъ дома? — спросилъ караульщика Петръ.

— Нѣтъ.

Петръ облегченно вздохнулъ.

— Возьми лошадь.

Онъ помогъ Глафирѣ встать изъ саней. Караульщикъ повелъ «Деспота» къ сараю, откуда уже шелъ ему навстрѣчу кучеръ.

— Пойдемъ, — обратился къ Глафирѣ Петръ и, слегка поддерживая ее подъ руку, потянулъ за собою.

Глафира, шатаясь, пошла.

Агафья отперла имъ дверь, спросонья не сразу попавъ ключомъ въ скважину замка, и хотѣла сама войти въ горницу, чтобы зажечь лампу, но Петръ остановилъ ее:

— Не надо. Иди себѣ спать. Я зажгу самъ.

Агафья врядъ-ли даже разобрала, что это приказываетъ ей не хозяинъ, и повернула обратно въ жарко натопленную кухню, гдѣ ее ждала не успѣвшая еще остыть теплая постель.

Петръ усадилъ Глафиру въ кресло при свѣтѣ лампады, которая горѣла въ комнатѣ Глафиры день и ночь, и сталъ снимать съ нея верхнее платье, башлыкъ и шапку.

Глафира молча повиновалась.

Она была такъ слаба, что сама едва-едва могла пошевельнуть сначала рукою или ногою.

Со своими опустившимися, какъ плети, руками, мертвенно-блѣднымъ лицомъ и тупымъ, тусклымъ взглядомъ она неохотно и устало слѣдила, какъ Петръ зажигалъ лампу и надѣвалъ на нее зеленый кружевной абажуръ.

Ей казалось, что все это продолженіе мучительнаго, безсвязнаго сна, который она только что видѣла. Что это былъ за сонъ, она не могла вспомнить, да и не напря-

гала памяти: отъ этого сна у нея осталось только впечатлѣніе ужаса, холодъ во всѣхъ членахъ, да какой-то не то звонъ, не то шумъ въ ушахъ.

Вмѣстѣ съ тѣмъ она чувствовала себя виноватой передъ Петромъ, и то, что онъ, замѣтивъ огонь, избѣгаетъ смотрѣть на нее и стоитъ у стола, опершись на него обѣими руками, въ полъоборота къ ней, тоже доказываетъ Глафирѣ, что она чѣмъ-то передъ нимъ провинилась.

Профиль его лица, какъ-то неестественно блѣднаго отъ зеленаго абажура, отчетливо рисуется передъ ея глазами своими правильными и благородными чертами. Свѣтъ лампы золотилъ его бѣлокурые волосы, мягко поднимающіеся надъ широкимъ и смѣлымъ лбомъ съ выпуклостями надъ бровями и пронизываетъ насквозь пушистую молодую бороду, кудрявящуюся внизу подбородка.

И опять Глафирѣ вспоминается что-то похожее на сонъ, но теперь она уже знаетъ, что это не сонъ, а дѣйствительность, что случилось нѣчто ужасное, но ей уже становится страшно вспомнить. Ей хочется мира и слезъ, благотворныхъ, исцѣляющихъ слезъ, и прощенія. Она сама готова простить все, но пусть все простятъ за то и ей.

Зачѣмъ же у него такое холодное и жестокое выраженіе, и отчего онъ стоитъ неподвижно у стола, вмѣсто того, чтобы быть рядомъ съ нею?

Какой-то женскій образъ смутно проходитъ въ воображеніи Глафиры, точно миражъ, на фонѣ холмистой снѣжной равнины и вечерняго неба, и одновременно съ этимъ въ душу ея проникаетъ смутное безпокойство.

— Петръ, — слабо окликнула она.

Петръ обернулся, и она сразу прочла въ его глазахъ безпощадный приговоръ себѣ.

— За что? — въ испугѣ пробормотала она, протягивая впередъ руки, точно прося о помилованіи.

— За что? — съ ненавистью повторилъ Петръ, слегка подавшись впередъ корпусомъ и вонзаясь въ нее гла-

зами.— За что? За то, что я возненавидѣлъ тебя. Вотъ за что.

Глафира поднялась было съ кресла съ выраженіемъ испуга въ лицѣ и, вдругъ, точно пришибленная, опустилась въ него снова, между тѣмъ какъ онъ, все больше и больше разгорячаясь, продолжалъ:

— Ну, да, ты угадала, я люблю ее, люблю и теперь знаю, что люблю. Ты мнѣ это открыла, твоя ненависть къ ней мнѣ это открыла. И я теперь знаю, что ненавижу тебя, какъ зло мое, что никогда я не любилъ тебя!—съ какимъ-то злорадствомъ шипѣлъ онъ, точно комья грязи бросая въ лицо ей эти жестокія слова.

А Глафира закрыла лицо руками и съ сладострастіемъ отчаянія, возстановлявшаго ея силы, ловила каждое язвительное слово, каждый звукъ ненависти и злобы въ его голосѣ, все еще не понимая однако причины такого неожиданнаго взрыва чувствъ съ его стороны и пытаясь уловить хоть слабый намекъ на разгадку этого вопроса.

— Да и за что мнѣ было когда-нибудь любить тебя? За то, что ты свою благодѣтельницу отравила, деверя съ ума свела, Молоткова на смерть споила, его сироту-наслѣдника глухонѣмого обокрала и своимъ рабомъ въ шахту послала, дѣвочку-сиротку невинную тоже обокрала и сослала на кухню жить!.. Не за это-ли за все мнѣ надо было любить тебя! Тьфу! Не могу я больше снести этого. Довольно!—хрипло вырвался его задыхающійся отъ страстнаго негодованія голосъ.— Я все надѣялся, что одумаешься ты. Дуракъ я былъ, что такъ думалъ. Теперь вижу, что ничего такого быть не могло, что у тебя душа-то сгнила отъ жадности. Что зло въ тебѣ одно только.

— Неправда,— все еще съ лицомъ, закрытымъ руками, прошептала она.

— Правда!—выкрикнулъ Петръ.—Ничего нѣтъ у тебя, кромѣ злобы.

— Любовь къ тебѣ,— все такъ же прошептала она и, открывъ лицо, прямо и ясно взглянула на пего.

Это возраженіе привело Петра почти въ бѣшенство. Лицо его исказилось, кулаки невольно сжимались. Казалось, вотъ-вотъ онъ бросится на нее и не только будетъ бить ее, какъ попало, но и терзать, какъ разъяренный звѣрь.

— Любовь... И любовь-то твоя злая, не человѣческая. Что ты давеча хотѣла сдѣлать? Разогнавши лошадь, на всемъ скаку возжами удавить себя у насъ на глазахъ, чтобы мы вѣчно помнили это и спокоя не знали всю жизнь, какъ отъ проклятія...

Глафира задрожала, какъ пламя на вѣтру. Она поняла сразу все и не только все поняла, но и вспомнила все до поразительно мелкихъ подробностей, вплоть до того момента, какъ выбросилась изъ санокъ. Но какимъ же образомъ она осталась жива? А не все-ли равно. Жива и этого достаточно. Радость жизни охватила ее точно свѣжая волна. Ей не только захотѣлось жить дальше, жить безъ конца, но и пользоваться богатствомъ, счастьемъ, любовью. Никогда, кажется, ея любовь къ Петру не достигала такой силы и остроты, какъ теперь. То, что онъ говорилъ, ей казалось чѣмъ-то совсѣмъ не серьезнымъ. Оборвать сразу связь, которая тянулась столько лѣтъ, и оборвать именно тогда, когда есть все, чтобы пользоваться ею широко и богато. Она не хотѣла сознаваться себѣ, что случилось это не сразу, что, какъ передъ страшнымъ землетрясеніемъ, давно уже раздавались зловѣщіе пророческіе, хотя и глухіе удары.

Ну, покричитъ, побѣснуется, а тамъ все будетъ по старому,— увѣряла себя Глафира, внутренно трепеща отъ все разрушавшаго страха, который при послѣднихъ словахъ Петра охватилъ ее съ ногъ до головы вмѣстѣ съ радостнымъ инстинктомъ жизни.

— Ты прости меня за это, прости,— кротко промол-

вила она въ отвѣтъ на всѣ его оскорбленія.— Я себя не помнила тогда. Дьяволъ какой-то вошелъ въ меня, когда я тебя вмѣстѣ съ ней увидѣла. Но вѣдь ты неправду сказалъ, что любишь ее? Съ сердца на меня сказалъ?

— Правду сказалъ, — безжалостно перебилъ онъ Глафиру.— Люблю ее, люблю, люблю. Тысячу разъ готовъ повторить тебѣ эти слова. Всѣмъ готовъ повторять, всему міру. Ей только одной не скажу его, а кромѣ нея всѣмъ громко скажу, а тебѣ особенно, чтобы ты знала, что такое любовь моя значитъ. Любовь, за которую я въ огонь пойду, которую я съ того самаго дня почувствовалъ, какъ увидѣлъ, что она надъ людской нищетой, надъ горемъ заплакала. Я ужъ и тогда понялъ, что не люблю тебя и что тебя нельзя любить.

Глафира глядѣла на него съ недоумѣніемъ. Чѣмъ злѣе и безпощаднѣе онъ говорилъ, тѣмъ болѣе ей казалось, что она слышитъ и видитъ все это во снѣ, въ бреду. Онъ вѣдь этими словами отнималъ у нея не только настоящее и будущее счастье и надежды на него, но и воспоминаніе о прошломъ счастіи съ нимъ.

— Нѣтъ, не можетъ быть, — точно стараясь отогнать отъ себя эти мрачныя мысли, пробормотала Глафира.— Не можетъ быть. Развѣ она полюбитъ тебя когда-нибудь, какъ я?

Онъ злобно разсмѣялся въ отвѣтъ на это наивное возраженіе.

— Навѣрное, совсѣмъ даже никакъ не полюбитъ,—съ горечью сорвалось у него,— и все-таки люблю ее, а не тебя. Лучше ужъ любить ее, хоть и быть нелюбимымъ ею, чѣмъ быть тобою любимымъ и ненавидѣть тебя.

— Да неужели же это ты правду говоришь? — стономъ прозвучалъ голосъ Глафиры, и лицо ея сдѣлалось умоляюще жалкимъ и приниженнымъ.

— Правду. Правду! — точно кнутомъ хлесталъ онъ этимъ словомъ. — Такую правду, отъ которой самому

мнѣ жутко становится, духъ захватываетъ и ноги подкашиваются, словно я на такую высокую гору попалъ, съ которой весь свѣтъ видно, а внизъ сойти все же нельзя. Остается прямо внизъ броситься. Можетъ, и полечу.

— Да ты ума рѣшился! — воскликнула Глафира, видя его загорѣвшійся страстью взоръ и слыша его почти изступленныя рѣчи. Эта мысль, мысль о томъ, что онъ сошелъ съ ума, почти обрадовала Глафиру. Ей было бы легче видѣть его сумасшествіе, чѣмъ измѣну, презрѣніе и даже отвращеніе къ себѣ.

Но онъ только съ досадой махнулъ въ отвѣтъ на ея восклицаніе рукой, и этотъ жестъ уязвилъ ее сильнѣе всякихъ словъ.

— Болтай, что хочешь, — пренебрежительно процѣдилъ онъ сквозь зубы, сдѣлавъ нѣсколько шаговъ по комнатѣ и не останавливая взгляда на Глафирѣ, которая то поднималась въ креслѣ, то снова падала въ него. — Мнѣ теперь все-равно, что бы ты ни говорила. Я нынче рѣшилъ все тебѣ высказать и высказываю. И я радъ, что ты нынче выкинула такую штуку, которая сразу у меня всякую жалость къ тебѣ перевернула и глаза открыла совсѣмъ не только на тебя, но и на свою душу. Безъ этого, можетъ, такъ и не собрался бы тебѣ высказать того, что сейчасъ высказываю. А за то, что ты меня передъ ней хотѣла осрамить, а, главное, за то, чтобы ее напугать, я не только жалѣть тебя не хочу, а наоборотъ всякую боль тебѣ готовъ съ удовольствіемъ доставить, потому что вся кровь твоя ея одной слезы не стоитъ. Слышала! Такъ и знай это. Я ужъ за одно хочу тебѣ сразу отомстить за все.

— Да за что же? За что?

Онъ всталъ прямо передъ нею, скрестивъ руки и отчетливо холодно говорилъ:

— За то, что ты хотѣла помыкать всѣми и мной помыкала. За то, что ты никогда никого въ своей жизни

не пожалѣла. Я еще не все сказалъ тебѣ. Этого мало. Ты заставляла меня молчать при всѣхъ твоихъ подлостяхъ. Я все выведу наружу. Силъ нѣтъ больше таить въ себѣ все это, словно я во всемъ больше васъ всѣхъ виноватъ. У меня сердце на части разрывается отъ этой муки и отъ стыда. Нынче же, сейчасъ же я пойду туда, къ Улыбышевымъ и сниму съ себя эту тяготу: во всемъ исповѣдуюсь имъ. Пусть судятъ меня сердцемъ, а тебя и твоего пособника закономъ.

— Опомнись, что ты говоришь! — всплеснула руками Глафира. — Ты не сдѣлаешь этого. Ты не захочешь и не можешь этого сдѣлать.

— А вотъ посмотришь, смогу или нѣтъ, — угрожающе отвѣтилъ онъ и направился къ двери.

— Стой! — вскричала Глафира, вскочивъ съ кресла, и лицо ея вспыхнуло властною силою.

Петръ невольно остановился около двери. Если бы она выдержала характеръ, выдержала этотъ властный, покоряющій тонъ, Петръ навѣрное не только остался бы у нея, но и надолго остался бы въ рукахъ Глафиры, признавъ всѣ свои жестокія слова сказанными подъ ослѣпляющимъ вліяніемъ гнѣва, но у нея не хватило больше силъ. Она уцѣпилась за его рукавъ и быстро, умоляюще заговорила:

— Не дѣлай этого. Опомнись. Скажи, что это ты такъ наговорилъ, съ сердца. Ну, я виновата, я каюсь передъ тобою. Я дрянная, я грязная, но вѣдь я люблю тебя. Клянусь тебѣ, я сдѣлаю все для тебя, все, что ты пожелаешь. Прошлаго не вернуть, что сдѣлано, то сдѣлано. Мой грѣхъ. Сама за него и муку несу. Но теперь все, что ты прикажешь, я сдѣлаю. У меня въ рукахъ завѣщанье Прасковьино. По нему мнѣ седьмая часть только досталась, а остальное — Анфисѣ, глухонѣмому... Но для насъ съ тобой и того достаточно будетъ. Много денегъ. Скажи только слово, одно слово, что ты любишь меня, и я все сдѣлаю.

— Пусти! Меня за деньги не купишь, а въ твое обѣщаніе не вѣрю я. Сколько разъ обѣщала и не исполняла. Да и не могу я сказать тебѣ, что люблю. Я ужъ сказалъ тебѣ все, сказалъ, что не люблю тебя, а ее люблю.

— Да нѣтъ же, нѣтъ. Лжешь ты! — простонала Глафира. — Не любишь ты ее! Меня ты любишь! Ты самъ себя не знаешь.

Она цѣплялась за него и теребила его руками въ лихорадочномъ волненіи, почти въ бреду.

— Пусти прочь! Я сказалъ все и теперь пойду туда.

— Нѣтъ, не пущу. Умоляю тебя, не ходи! — страстно и порывисто то шептала, то выкрикивала Глафира.— Ну, я на колѣняхъ тебя молю, не ходи. Вѣдь для твоего же счастія молю. Вѣдь погубишь ты не меня, а себя погубишь.

Она упала передъ нимъ на колѣни и хваталась за его ноги. Онъ вырывалъ ихъ, желая уйти и, наконецъ, не выдержалъ и въ бѣшенствѣ толкнулъ ее ногой.

— Да пусти же прочь, а то я, какъ тряпку, швырну тебя!

Лицо его отъ злобы стало некрасивымъ. Мускулы подергивались. Губы судорожно искривились, и глаза горѣли ненавистью и отвращеніемъ. Онъ глядѣлъ на нее дѣйствительно, какъ на тряпку, которая прицѣпилась къ его ногамъ, и готовъ былъ растоптать ее ногами.

Это было черезчуръ. Чаша униженія Глафиры переполнилась. Она была потрясена, ошеломлена его послѣдними словами и не сразу опомнилась отъ оскорбленій, которыми онъ такъ неистово и, какъ она полагала, незаслуженно осыпалъ ее. Очнувшись, она поднялась съ колѣнъ, выпрямилась и негодованіе залило все ея лицо пылающимъ румянцемъ и зажгло искры огня въ ея глазахъ.

Гордо поднявъ голову, она смѣрила Петра взглядомъ съ ногъ до головы. Онъ, вдругъ, почувствовалъ себя маленькимъ передъ нею. Прежде, чѣмъ она сказала что-

нибудь, холодная, жесткая усмѣшка открыла верхніе зубы ея и, немного помолчавъ, она съ угрозой, но медленно, отчеканила:

— А, такъ-то... Ну, что-жъ, иди, доноси на меня. Мнѣ теперь нечего жалѣть на свѣтѣ. И ничто, и никто мнѣ болѣе не страшенъ. Былъ страхъ, да ты его въ землю зарылъ и ногой притопталъ. Не воскреснетъ.

Она остановилась какъ бы для того, чтобы перевести духъ и посмотрѣла на Петра такъ, точно хотѣла заглянуть ему въ самую душу. Блѣдная искорка надежды на что-то засвѣтилась въ ея глазахъ, полныхъ мрака и отчаянія. Замѣть она въ его глазахъ хоть намекъ на то, что она смутно ожидала, и надвигавшаяся гроза разрѣшилась бы, какъ дождемъ, рыданіемъ и слезами. Но Петръ встрѣтилъ ея слова съ новымъ приступомъ озлобленія и ненависти. Она сразу прочла все это въ его глазахъ. Блѣдная искорка погасла, и на смѣну ей поднялось почти такое же, какъ у него чувство — ненависти. Сомнѣніе продолжалось не болѣе двухъ мгновеній.

— Ну, хорошо. Помни, подкидокъ. Если бы ты послѣ этого ноги ко мнѣ пришелъ лизать, какъ собака, я тебя пнула бы такъ же, какъ ты меня пнулъ. А теперь иди. Посмотримъ, кто кого скрутитъ скорѣе. Безпаспортный ли бродяга меня, или я его, хотя бы за него сама правда вышла со всѣмъ своимъ воинствомъ. Иди.

Глафира не видѣла, какъ Петръ ушелъ. Въ глазахъ ея, вдругъ, потемнѣло послѣ того, какъ съ силой хлопнула дверь. Она едва успѣла сдѣлать нѣсколько шаговъ къ креслу, широко открывая ротъ, какъ бы стараясь захватить побольше воздуха, и въ безсиліи опустилась въ кресло, какъ часъ тому назадъ. Комната заходила передъ нею, какъ живая. Въ глазахъ забѣгали мутные круги и пятна, и въ ушахъ снова послышался глухой шумъ и звонъ, который она какъ бы уже слышала во снѣ.

## XIII.

Очутившись на дворѣ, Петръ тяжело перевелъ дыханіе.

Еще въ немъ ходуномъ-ходили и кровь, и чувство, и мысли, но все это, вдругъ, подернулось влажнымъ туманомъ, когда послѣ теплой, свѣтлой комнаты ночь пахнула на него холодомъ и мракомъ. Яркія звѣзды непріязненно и раздраженно горѣли въ небѣ, и въ серпѣ тонко вырѣзаннаго блестящаго мѣсяца чувствовалось что-то враждебное и насмѣшливое.

Почти весь похвистневскій дворъ спалъ, не исключая караульщика и собаки. Кругомъ было тихо и безмолвно, да къ этой зимней ночной картинѣ и не подходили бы движеніе и шумъ. Подъ снѣжнымъ покровомъ въ эту декабрьскую ночь такъ хорошо и уютно было спать въ теплѣ и мракѣ жарко натопленныхъ горницъ. Какъ во снѣ стояли и дворовые флигеля подъ бѣлыми крышами, и деревья, окутанныя бахромою пушистаго инея.

На Петра все это повѣяло чѣмъ-то укоризненнымъ и недоброжелательнымъ. А вѣдь сколько времени онъ былъ здѣсь своимъ человѣкомъ! Почти съ самыхъ пеленъ. Ко всему этому нельзя было не привыкнуть. И вотъ со всѣмъ этимъ чуть не роднымъ ему гнѣздомъ онъ разрывалъ всякую связь. Здѣсь ему жилось и тепло, и сытно. Куда онъ пойдетъ теперь? Чѣмъ будетъ заниматься? Конечно, съ голода пропасть нельзя, но все же и того благополучія, которое онъ имѣлъ тутъ, ожидать ему впереди трудно, особенно въ его положеніи.

При одномъ намекѣ на эту мысль ему стало какъ-то жутко. «Безпаспортный... Бродяга», прозвучали въ ушахъ слова Графиры. Онъ хорошо зналъ, что значили въ ея устахъ эти слова. Съ ними непрерывно связывалась для него тюрьма, униженія. Но какъ бы то ни было, иначе онъ поступить не могъ. Правда, сначала слѣдовало бы подготовить себѣ почву, обезпечить

себя какъ-нибудь отъ преслѣдованія съ этой стороны, но что сдѣлано, то сдѣлано. Воротить этого уже нельзя, да Петръ и не согласился бы на это ни въ какомъ случаѣ, хотя бы ему сулили за то золотыя горы.

Лучше нищета, тюрьма, одиночество, чѣмъ постоянная борьба съ совѣстью и съ своими чувствами. Одиночество? А, вдругъ, ему улыбнется счастіе, при одной мысли о которомъ можно съ ума сойти отъ радости и перенести съ улыбкой всякія испытанія, которыя пошлетъ ему на долю судьба. Но эта надежда блеснула, какъ искра, и пропала. Такое счастіе не для него, полуграмотнаго безпаспортника безъ роду, безъ племени. Такая заносчивость съ его стороны была бы смѣшна, и все же, можетъ быть, у него никогда не хватило бы рѣшительности на такой подвигъ, который онъ предпринималъ, если бы не эта безумная надежда.

Передъ глазами Петра мелькнула золотая струйка. Это звѣзда скатилась съ неба и быстро-быстро промелькнула во мракѣ, оставляя за собою фосфорическій мгновенно таявшій свѣтъ. Искорка надежды опять, какъ эта звѣздочка, сверкнула въ его душѣ. Что-то припомнилось, что-то улыбнулось ему сквозь холодъ и мракъ. На память пришла гдѣ-то слышанная басня, что, если подумаешь о чемъ и въ это время скатится звѣзда, — задуманное исполнится, такъ какъ звѣзда падающая — не что иное, какъ слеза, которую роняетъ ангелъ Господень къ Божьему престолу за покровительствуемаго имъ счастливца.

Но эта искорка надежды померкла вмѣстѣ съ падучей звѣздой, и на душѣ его опять стало холодно и непривѣтливо.

Не то, чтобы онъ раскаивался въ своемъ рѣшительномъ поступкѣ и жалѣлъ о томъ, что терялъ. Этого не было, и Петръ покраснѣлъ бы отъ стыда, если бы такая мысль предстала его сознанію. Скорѣе всего въ немъ говорила именно привычка къ мѣсту и смущеніе передъ новизной,

представлявщей собою по крайней мѣрѣ на первыхъ порахъ мало утѣшительнаго для него.

Но долго останавливаться на этомъ не приходилось. Вѣдь его ожидали *тамъ*. При одной мысли объ этомъ онъ сразу пришелъ въ себя и почувствовалъ въ душѣ снова приливъ силъ и гордое желаніе борьбы и правды. Неизвѣданное имъ еще дотолѣ чувство нравственнаго удовлетворенія, возникшаго изъ отраднаго сознанія выполняемаго долга, придало ему эти силы, но это чистое сознаніе не чуждо было и поддержки съ иной стороны. Подвигъ этотъ поднимаетъ его въ глазахъ людей, мнѣніемъ которыхъ онъ дорожилъ больше всего на свѣтѣ. Эти люди были конечно Улыбышевъ съ дочерью. Особенно же она.

Одна мысль, что она могла подозрѣвать его въ низости, снова заставила его пережить непріятную минуту, но онъ еще съ большею отрадою для себя предвкушалъ то удовольствіе, которое испытывалъ сейчасъ, черезъ нѣсколько минутъ, когда не только разскажетъ имъ *все*, какъ она того требовала, но и раскроетъ передъ ней всю свою душу.

Трепетное и сладостное чувство забилось при этомъ въ его груди и даже вызвало на глаза теплыя слезы. Лицо Глафиры, какъ въ туманѣ, мелькнуло въ его воображеніи съ тѣмъ выраженіемъ, которое отпечатлѣвалось на немъ въ послѣднія минуты ихъ объясненія, и Петръ безсознательно былъ доволенъ, что это было выраженіе злобы, мести, а не то выраженіе повелительнаго гнѣва, которое, по счастью, блеснуло въ ея глазахъ и уступило мѣсто униженной мольбѣ, испугу и слезамъ.

Если бы это выраженіе осталось у ней до конца, пожалуй, въ самую послѣднюю минуту, когда надо было уходить, онъ поколебался бы и могъ бы остаться съ нею, а это могло бы имѣть для него роковое значеніе. Во-первыхъ, онъ не посмѣлъ бы послѣ этого показаться

на глаза Улыбышевымъ, во-вторыхъ, продолжалъ бы жить съ возраставшимъ на себя недовольствомъ въ душѣ, такъ какъ тяготившія его мученія съ каждымъ мгновеніемъ увеличивались, какъ снѣжный комъ, катящійся съ горы.

Теперь же онъ чувствовалъ себя какъ заключенный, вышедшій на свободу. Пусть эта свобода не принесетъ ему житейскаго благополучія, Богъ съ нимъ, зато совѣсть спокойна. Онъ даже при этомъ сознаніи какъ-будто выросъ въ своихъ собственныхъ глазахъ и смотрѣлъ на себя съ большимъ уваженіемъ, чѣмъ когда бы то ни было. Благодаря этому настроенію, ему казалось, что все вокругъ глядитъ какъ-то по новому: и ночь, и небо, и земля,— точно все радуется за него и поздравляетъ его съ побѣдой надъ самимъ собою. Даже снѣгъ, и тотъ подъ ногами хруститъ весело и ободряюще. У Петра такъ посвѣтлѣло на душѣ, что онъ, вдругъ, остановился и отъ полноты души широко перекрестился, почувствовавъ себя въ тишинѣ этой морозной, звѣздной ночи, словно въ храмѣ.

Городъ спалъ. Только кое-гдѣ въ окнахъ, сквозь расписанныя морозомъ стекла чуть-чуть свѣтились лампады, точно свѣчки въ рукахъ богомольцевъ, и это еще болѣе довершало торжественность его настроенія.

Но это настроеніе очень скоро было разрушено самымъ неожиданнымъ образомъ: Петръ услышалъ сначала звонъ бубенчиковъ далеко за собою и какіе-то неясные крики. Затѣмъ и крики, и звонъ стали яснѣе. Петръ оглянулся назадъ и увидѣлъ силуэтъ бѣшено мчавшейся по улицѣ тройки. Сани были полны народомъ. Все это гикало, свистѣло и орало въ пьяномъ возбужденіи. Петръ поспѣшилъ встать въ воротахъ, чтобы не быть замѣченнымъ сидѣвшими въ саняхъ. Онъ зналъ, что это кутитъ золотопромышленникъ Запаловъ, который поитъ лошадей шампанскимъ и творитъ всевозможныя безобразія. Нѣсколько дней тому назадъ онъ съ

оравой пьяныхъ прихлебателей развлекался тѣмъ, что, катаясь по улицамъ на тройкѣ, хваталъ прохожихъ, женщинъ и мужчинъ, силой сажалъ въ сани, а затѣмъ поступалъ съ невольниками и невольницами по своему усмотрѣнію. Строптивыхъ бросалъ въ степи, а одну дѣвушку раздѣлъ до нога и оставилъ за городомъ на морозѣ. Та успѣла добѣжать въ такомъ видѣ до жилья и къ удивленію не только осталась жива, но даже и не заболѣла. За эту штуку Запаловъ поплатился не одною тысячей, хотя дѣвушка была бѣдной смиренской мѣщаночкой. Петръ зналъ, что съ Запаловымъ кутитъ и Мисаилъ. Хотя Мисаилъ и не пилъ, но отъ безобразій былъ далеко не прочь, особенно когда это ему ничего не стоило.

Ужъ конечно, если бы Петръ попался ему въ лапы, онъ бы поглумился надъ нимъ и сумѣлъ бы выместить на немъ все зло, которое къ нему питалъ.

По счастью для Петра онъ остался незамѣченнымъ. Тройка пролетѣла мимо него, поднимая облака снѣжной пыли и будя сонныхъ городскихъ собакъ, которыя вдругъ, залились лаемъ и долго не могли успокоиться. Наконецъ, бубенцы и крики начали стихать. Петръ вышелъ изъ своей засады.

Боже мой, Боже мой! — подумалъ онъ съ сокрушеніемъ.— И для такихъ пакостей люди грабятъ народъ, входятъ въ сдѣлки со своей совѣстью.

Въ душѣ его поднялось ненавистническое чувство къ этимъ людямъ, но затѣмъ это чувство уступило мѣсто сожалѣнію. Какъ бы то ни было, но это все же несчастные люди. Деньги губятъ ихъ, деньги мстятъ имъ за тѣхъ, у кого они отняты, и эти угорѣвшіе отъ богатства люди не знаютъ ни одной минуты настоящей радости и душевнаго покоя.

И опять въ его умѣ встала Глафира, и въ то время, какъ Петръ шелъ, чтобы погубить ее, въ сердцѣ его шевелилось смутное, но протестующее чувство. Для че-

го онъ это дѣлаетъ? Неужели все дѣло въ томъ, чтобы возвратить обиженнымъ неправедно присвоенныя деньги? А кто поручится, что и эти деньги не принесутъ истиннымъ наслѣдникамъ зла? Вѣдь это не деньги, заработанныя кровнымъ трудомъ, на которыя только и имѣетъ право человѣкъ, а тоже свалившіяся, что называется, съ неба несчастнымъ и обездоленнымъ нищимъ. Черезъ эти деньги не мало тоже навѣрно пролилось слезъ и крови. Жестокія это должны быть деньги. Не лучше-ли оставить ихъ въ рукахъ Глафиры и Мисаила? Пусть эти жестокія деньги и будутъ сами мстителями за обворованныхъ. Что онѣ тяготятъ Глафиру,— онъ это хорошо зналъ, но по свойственной человѣку жадности она не можетъ съ ними разстаться. Отнять у нея эти деньги, не значитъ ли снять съ нея половину бремени, которую она должна нести за свое преступленіе?

Втайнѣ Петру хотѣлось бы дать утвердительный отвѣтъ на всѣ эти вопросы, но, не смотря на всю видимую справедливость этихъ доводовъ, онъ никогда не рѣшился бы громко повторить ихъ тѣмъ же самымъ Улыбышевымъ, такъ какъ сквозь ихъ хрустальную чистоту просвѣчивало что-то такое, отъ чего онъ не могъ сразу отрѣшиться, какъ отъ привычки, какъ отъ цѣпей, которыя онъ долго носитъ и безъ которыхъ ему нѣтъ-нѣтъ да и становилось какъ-то неловко, даже въ теченіе этихъ нѣсколькихъ минутъ.

Опустивъ голову и заложивъ одну руку въ карманъ, а другую за бортъ поддевки, Петръ довольно рѣшительно подвигался по улицѣ, снова ставшей пустынной и глухой послѣ промелькнувшей по ней тройки.

Вотъ онъ завернулъ за уголъ знакомой улицы и направился черезъ дорогу къ невысокому одноэтажному каменному дому съ большими зеркальными окнами, изъ которыхъ только три крайнихъ окна съ лѣвой стороны были освѣщены. Это и была квартира Улыбышева, а освѣщенныя окна принадлежали его кабинету и ком-

натѣ его дочери. Онъ остановился и сталъ всматриваться въ заиндивѣвшія отъ снѣга стекла оконъ, стараясь уловить за ними силуэтъ знакомой фигуры на бѣлой занавѣскѣ.

Но окна были свѣтлы, и Петръ ничего не могъ разглядѣть за ними кромѣ неподвижныхъ знакомыхъ тѣней, которыми являлись цвѣты, выхоленные Улыбышевой.

Петру, вдругъ, показалось, что въ дѣйствительности его никто, можетъ быть, и не ждетъ, что никто ему и не обѣщалъ ждать его, а все ему представилось во снѣ. Петръ снова сталъ вглядываться въ окна, взволнованный тоскою и воспоминаніями, словно онъ въ послѣдній разъ наслаждался этимъ зрѣлищемъ.

Сколько разъ передъ этими окнами онъ стоялъ ночью на противоположной сторонѣ. Случалось, что, простоявъ такимъ образомъ не одинъ часъ, онъ такъ и не видѣлъ знакомой тѣни, и нерѣдко послѣ такого безплоднаго ожиданія онъ, если было еще не поздно, звонилъ и входилъ къ Улыбышевымъ, смущаясь и краснѣя, изыскивая всевозможные предлоги, чтобы оправдать свой ночной визитъ.

Наконецъ, горничная отворила ему дверь, и не успѣлъ онъ еще разинуть ротъ, какъ она узнала его и поспѣшила сказать:

— Пожалуйте. Барышня ждутъ васъ.

Мысли Петра закружились и запрыгали, какъ его сердце, и онъ буквально чувствовалъ, какъ дрожатъ и подгибаются его ноги при переходѣ черезъ маленькую стеклянную галлерею. Уже у самой двери онъ, вдругъ, почувствовалъ, что силы оставляютъ его, и, чтобы собраться хоть нѣсколько съ духомъ, оперся о

косякъ и остановилъ горничную, готовую уже отворять ему дверь, вопросомъ:

— А баринъ?

— Они уѣхали въ клубъ, но приказали прислать за ними, если потребуется,— отвѣчала горничная.

Пока она докладывала это Петру, онъ успѣлъ перевести духъ и нѣсколько притти въ себя. Онъ разсчитывалъ застать отца и дочь непремѣнно дома и не безъ внутренняго умиленія уже представлялъ себѣ, какъ сразу до мелочей выложитъ передъ ними все, что необходимо было высказать. Отсутствіе отца измѣняло картину. А вдругъ Улыбышева отослала отца умышленно? На этотъ вопросъ Петръ еще не успѣлъ себѣ отвѣтить, какъ дверь растворилась передъ нимъ, и онъ увидѣлъ остановившуюся въ дверяхъ Ольгу.

Она стояла, держась правою рукою за ручку отворенной двери, въ простомъ, шерстяномъ сѣромъ платьѣ, легко и дружески охватывавшемъ ея тонкую, стройную фигуру. Лицо ея было серьезно и почти торжественно, и большіе глаза какъ бы пытались сразу заглянуть ему въ душу и понять, что въ ней происходитъ.

И, вдругъ, у Петра мгновенно отхлынуло волненіе, мгновенно угомонилась кровь, и душа почувствовала себя глубокой и ясной, что удивило даже его самого. Быстро сбросивъ съ себя верхнее платье, онъ провелъ рукою по волосамъ, нѣсколько спутавшимся при сниманіи шапки, и смѣло направился къ дѣвушкѣ, которая сказала только одно слово:

— Пришли.

— Да, пришелъ,— твердо отвѣтилъ Петръ, прямо заглянувъ ей въ глаза.— А развѣ вы могли сомнѣваться въ этомъ?

Онъ самъ не зналъ, откуда у него берется такая смѣ-

лость, самоувѣренность и спокойствіе, и повидимому его неожиданное поведеніе смутило Ольгу. По крайней мѣрѣ, при его отвѣтѣ въ ея глазахъ промелькнуло то выраженіе, за которое Глафира въ правѣ была бы назвать дѣвушку удивленышемъ.

Они молча стояли другъ противъ друга, прямо смотря другъ другу въ глаза.

— Ну!

Онъ понялъ ея вопросъ и сразу отвѣтилъ:

— Все кончилось благополучно.

— Она здорова?

— Здорова.

Только тогда съ лица Улыбышевой сошло выраженіе удивленія, и она попросила гостя итти за собою. Сначала она хотѣла провести его въ свою комнату, но у дверей ея почему-то раздумала и повернула въ отцовскій кабинетъ, приглашая Петра итти за собою.

Петръ покраснѣлъ. У него мелькнула догадка, что она считаетъ вѣроятно болѣе соотвѣтствующимъ характеру ожидаемаго разговора — строгій кабинетъ отца. А онъ-то несъ ей всю душу, какъ на исповѣдь. И ему стало и стыдно, и горько отъ этой незаслуженной обиды.

Между тѣмъ, она шла, не оборачиваясь, и говорила:

— Отца нѣтъ дома. Я нарочно просила уѣхать его, чтобы поговорить съ вами.

— Напрасно, — съ нескрываемой обидой произнесъ Петръ.

— Что напрасно? — удивилась дѣвушка, полуоборотясь къ нему.

— Напрасно — просили Николая Дмитріевича уѣхать.

— Вотъ какъ, — протянула она. — Но если онъ нуженъ вамъ, за нимъ можно послать. Онъ въ двухъ шагахъ, въ клубѣ.

Петръ ничего на это не отвѣтилъ, но они начинали понимать не только малѣйшіе намеки другъ друга, но и самое молчаніе, когда оно что-нибудь скрывало

за собою. Ольга какъ-то по-товарищески взяла его за руку и, точно въ видѣ извиненія, ласково произнесла:

— Я потому раздумала васъ вести къ себѣ, что у меня тамъ страшно холодно.

Если бы это была даже неправда, Петръ съ жадностью повѣрилъ бы ей. На душѣ его сразу прояснѣло, и на этотъ разъ онъ самъ виновато улыбнулся, несмѣло пожавъ тонкіе, нѣжные пальцы ея руки.

Она усадила его въ кресло около огромнаго, заваленнаго бумагами письменнаго стола, сама сѣла съ ногами на кушетку, облокотивъ руки на подушку и оперевъ на нихъ голову. Длинная рабочая лампа съ зеленымъ абажуромъ мягко обливала всю комнату, располагая къ тихой и мирной бесѣдѣ.

— Ну, говорите, — начала Ольга съ затаеннымъ любопытствомъ, ожидая услышать, наконецъ, объясненіе всей этой ужасной, поразившей ее исторіи, едва не окончившейся трагедіей.

Петръ сразу опѣшилъ передъ этимъ вопросомъ. Онъ никакъ не воображалъ, что ему будетъ такъ трудно разсказать все, что онъ желалъ разсказать. Да и можно ли разсказать то, что его томило, такъ, чтобы другіе поняли, не перетолковали по своему. Ему, вдругъ, пришли на умъ врѣзавшіеся нѣкогда въ памяти стихи:

„Какъ сердцу высказать себя?
Другому какъ понять тебя!
Пойметъ-ли онъ, чѣмъ ты живешь!
Мысль изреченная есть ложь“.

Ужъ разсказывать ли все? — мелькнулъ вопросъ въ его умѣ. Не ограничиться-ли сообщеніемъ только голыхъ фактовъ. Пусть сами судятъ по нимъ, какъ угодно, вѣрятъ, или не вѣрятъ. Онъ уже заикнулся, желая сказать что-то въ видѣ вступленія, но опять остановился. Вѣдь передъ нимъ сидѣла дѣвушка, свѣтлая и чистая душа которой, казалось, не должна была бы знать нѣкоторыхъ подробностей его разсказа.

Онъ закрылъ лицо руками и остался въ такомъ положеніи, стараясь собраться съ мыслями.

Она нетерпѣливо пожала плечами и, чтобы побудить его скорѣе къ разсказу, притворно равнодушнымъ тономъ сказала:

— Можетъ быть, вамъ дѣйствительно нуженъ отецъ, чтобы посовѣтоваться съ нимъ о чемъ-нибудь, тогда я пошлю за нимъ немедленно.

Она даже сдѣлала легкое движеніе, но Петръ опустилъ руки и остановилъ ее:

— Нѣтъ, подождите. Сначала слушайте вы, а потомъ, можно будетъ попросить и Николая Дмитріевича.

— Такъ онъ такъ-таки точно нуженъ вамъ?

— Да и даже очень! — съ удареніемъ выговорилъ Петръ.

— Онъ нуженъ вамъ какъ юристъ? — все еще недоумѣвала она.

— Да, какъ юристъ. Дѣло очень важное.

— Ради Бога, въ чемъ дѣло? — взволновалась она, видя его мрачно-серьезное и сосредоточенное выраженіе лица. — Это касается васъ?

— Да, отчасти и меня.

— Отчасти, — повторила она, нѣсколько успокоившись. — Ну, если дѣло, главнымъ образомъ, идетъ со стороны юридической о другихъ, — объ этомъ послѣ, а теперь говорите о чемъ надо.

Однако, чтобы онъ не осудилъ ее за легкомысленное отношеніе къ этому другому дѣлу и не приписалъ праздному любопытству ея торопливое желаніе услышать скорѣй интересующую ее повѣсть, она прибавила:

— Вы знаете, что если я интересуюсь такъ горячо другими обстоятельствами, касающимися очень близко васъ, то потому единственно, что это... это очень важно мнѣ знать... — едва докончила она начатую фразу, но не пожелала опустить глаза, а наоборотъ съ отчаянной храбростью подняла голову.

— Съ чего же начать?

— Ну, хотя бы съ того момента, какъ я оставила васъ. Только все говорите самымъ подробнѣйшимъ образомъ. Какъ вы поѣхали? Быстро-ли ѣхали? Когда она совсѣмъ очнулась? Какое ея было первое слово? Словомъ, все, все.

Петръ немного помолчалъ, какъ бы собираясь съ мыслями, и затѣмъ, взглянувъ на дѣвушку и встрѣтивъ ея ясный и умный взглядъ, остановилъ свои глаза на ручкѣ кресла и неловко и сначала довольно безсвязно повелъ свой разсказъ, порою совсѣмъ закрывая глаза какъ-будто для того, чтобы лучше вспоминать ту или другую сцену, ту или другую подробность.

Онъ ничего не объяснялъ и не отклонялся ни разу въ сторону для поясненій, словно она давно была посвящена въ тайну его отношеній съ Глафирой. Нѣсколько разъ она хотѣла перебить его въ самомъ началѣ, но онъ ни разу не взглянулъ на нее, и вопросъ замиралъ у ней на губахъ. Дойдя до того мѣста въ разсказѣ, гдѣ онъ выкрикнулъ Глафирѣ свое признаніе въ любви къ сидѣвшей передъ нимъ дѣвушкѣ, Петръ въ замѣшательствѣ прервалъ свой разсказъ. Ему, вдругъ, безумно захотѣлось выкрикнуть ей также то, что онъ выкрикнулъ Глафирѣ, выкрикнуть такъ, какъ-будто передъ нимъ сидѣла не она, не эта дѣвушка, къ которой относились слова о любви, а посторонняя слушательница. Но самъ испугался этой мысли и поспѣшилъ сдѣлать скачокъ и перейти къ дальнѣйшему повѣствованію. Въ этомъ разсказѣ меньше всего Петръ щадилъ себя, точно желалъ подчеркнуть жестокость, съ которой относился къ любившей его женщинѣ. Но опять встрѣтились подтвержденія опаснаго признанія, и опять онъ смѣшался и сдѣлалъ паузу.

Улыбышева точно догадывалась и сама въ лихора-

дочномъ безпокойствѣ боялась, что онъ вотъ-вотъ скажетъ что-то такое пугающее, но вмѣстѣ съ тѣмъ пріятное, что рано или поздно все-равно должно быть сказано между ними. Тогда она стискивала зубы, невольно задерживала дыханіе и, боясь взглянуть на Петра, закрыла глаза, точно готовясь съ головой погрузиться въ теплую, прозрачную воду. Когда разсказъ дошелъ до обнаруженія преступленія, Улыбышева вздрогнула и приподнялась на кушеткѣ, устремивъ на Петра испуганные глаза. Ей, вдругъ, показалось, что огромная бездна развернулась между ней и Петромъ, а когда онъ съ отчаяніемъ сообщилъ и послѣднее, чѣмъ пригрозила ему Глафира, то, что онъ живетъ на положеніи бродяги, кровь отлила у нея отъ сердца, и ей показалось, что сама она летитъ куда-то въ бездну. Передъ ней выросла, вдругъ, цѣлая трагедія, чего она никакъ не ожидала. Послѣ благополучно окончившейся катастрофы она ждала видѣть романическія пружины и только, а тутъ — трупы, жертвы, злодѣи, ужасы и, наконецъ, въ перспективѣ на первомъ планѣ тоже какъ невинно осуждаемая на страданіе жертва — онъ, этотъ красивый, честный, добрый, умный человѣкъ, за котораго мучительно сжалось ея сердце, когда онъ объявилъ, что его, какъ бродягу, вѣроятно будутъ сначала мыкать по тюрьмамъ, а потомъ сошлютъ въ Сибирь на поселеніе.

— Нѣтъ, этого нельзя допустить. Отецъ не допуститъ этого!

Въ волненіи она поднялась съ кушетки и, вся трепетъ и возмущеніе, изъ угла въ уголъ быстро переходила съ нахмуренными бровями, съ плотно стиснутыми зубами. Иногда она задѣвала ногой за бахрому огромнаго персидскаго ковра во всю комнату, уголъ ковра слегка завертывался, и она механически поправляла его ногой и продолжала снова свое движеніе.

Петръ сидѣлъ неподвижно въ креслѣ и только переводилъ глаза за мелькавшей передъ нимъ фигурой. Въ душѣ его была тишина и покой. Онъ точно снялъ съ нея всю накипь и муть, омрачавшую все, что въ нее входило извнѣ. Онъ былъ готовъ теперь на все и пожалуй палецъ о палецъ не ударилъ бы для того, чтобы предупредить грозившую ему опасность, если бы голосъ этой дѣвушки, ея стройная фигура и красивое, нѣжное лицо съ большими задумчивыми, сѣрыми глазами не будили въ немъ свѣтлой надежды на счастіе и неразрывно связанную съ нимъ свободу.

— Все это слишкомъ внезапно, слишкомъ неожиданно,— бормотала она.— Въ одинъ день столько ужасовъ. Это черезчуръ. Я сію минуту пошлю за отцомъ. Его присутствіе теперь необходимо. Онъ долженъ все знать. Онъ поможетъ намъ, — отожествляя Петра съ собой, проговорила она, но тотчасъ поправилась:— поможетъ вамъ. Я сію минуту пошлю за нимъ.

Она порывисто протянула руку къ звонку.

Явилась горничная.

— Бѣги сейчасъ же за бариномъ! — приказала ей Улышева,— и попроси его немедленно пріѣхать.

— Слушаю-съ, барышня.

Горничная проворно юркнула въ дверь и оставила ихъ опять вдвоемъ.

— Отецъ знаетъ все, что произошло сегодня. Я ему все разсказала,— особщила Петру дѣвушка. Петръ и безъ того былъ увѣренъ въ этомъ, зная отношенія отца и дочери.— Повторяю вамъ, онъ не допуститъ, чтобы вы пострадали изъ-за отсутствія паспорта и вообще всѣхъ этихъ бумагъ.

— Дѣло не во мнѣ,— возразилъ на это Петръ.— Дѣло въ справедливости. Я—послѣдняя спица въ этомъ страшномъ колесѣ, которое задавило уже не мало народа. Заботиться надо не обо мнѣ, а прежде все о тѣхъ

несчастныхъ сиротахъ, съ которыми такъ жестоко поступили.

Она сконфузилась при этихъ словахъ, и сама изумилась тому, что забыла о нихъ въ своихъ заботахъ и безпокойствѣ за его участь.

— Ну, да, да, конечно, — поспѣшила она подхватить его слова.— Конечно, о нихъ. Но вѣдь имъ покуда не грозитъ никакой опасности?

— Ахъ, что вы говорите! Имъ-то и грозитъ опасность именно теперь. Ни она, ни Мисаилъ не остановятся ни передъ чѣмъ, когда узнаютъ, что ихъ преступленіе открыто. Развѣ они пощадятъ ихъ, беззащитныхъ, безгласныхъ, забитыхъ! Прежде всего надо о нихъ позаботиться, надо ихъ оградить отъ опасности и чѣмъ скорѣе, тѣмъ лучше.

— Да, да! Сегодня же. Нѣтъ, завтра же надо сдѣлать что-нибудь въ этомъ направленіи! — горячо подтвердила она.— Но какъ вы могли до сихъ поръ молчать обо всемъ этомъ?!

— Самъ не знаю,— развелъ онъ горестно руками.— Сколько разъ собирался разсказать объ этомъ вамъ, Николаю Дмитріевичу и все не могъ, не смѣлъ.

— Вамъ было жаль ее? Вы ее щадили? Вы любили ее? — ревниво спрашивала она, краснѣя и останавливая на немъ свой смущенный, но открытый взглядъ.

— Нѣтъ, нѣтъ, повторяю, никогда я не любилъ ее. Это была не любовь. Это была болѣзнь какая-то. Мука! Точно я ненужную мнѣ вещь укралъ, а когда укралъ ужъ долго не могъ разстаться съ ней: все казалось, что если я укралъ, такъ значитъ, она нужна мнѣ была, да и избавиться отъ нея трудно было, тоже какъ отъ краденаго. Грѣхъ прилипчивъ. Отъ него не сразу отлипнешь. Простите, что грубо я очень выражаюсь. Но только я никогда не любилъ ее. Я хотѣлъ это сказать вамъ, чтобы вы вѣрили и не думали.

— Нѣтъ, нѣтъ, я вѣрю, — поспѣшила она радостно перебить Петра, видя его смущенное, растерянное лицо и глаза, не смѣвшіе глядѣть на нее, и тутъ же съ досадой осуждая себя за то, что перебила его.

Ужъ она нѣсколько разъ поймала себя на сознаніи, что сама вела разговоръ къ тому, чтобы услышать отъ Петра что-то важное, радостное для нея, но какъ только онъ приближался къ этому, она пугливо спѣшила прервать его рѣчь.

И Петръ словно понималъ это и тотчасъ же переводилъ разговоръ на другое. И теперь онъ снова возвратился къ своей мысли.

— Я чувствую себя виноватымъ за то, что такъ долго оставлялъ по своей слабости это преступленіе втайнѣ и за то долженъ первый понести наказаніе. Чтобы меня ни ожидало, я теперь ничего не боюсь.

— Почему же именно теперь? — спросила она, чувствуя жгучее желаніе встать опять на ту же скользкую почву, которая и манила, и пугала ее.

— Почему? — переспросилъ Петръ, останавливая на ней глубокій и долгій взглядъ. — Почему?

— Ну, да конечно, потому, — отвѣтила она за него, — потому, что вы исполняете свой долгъ. Не правда-ли?

— Да, именно поэтому, — послѣ небольшой паузы отвѣтилъ онъ ей и, отойдя къ окну, отвернулъ занавѣску и вдругъ, вздрогнулъ.

— Что съ вами? — бросилась къ нему дѣвушка.

— Она! — успѣлъ только выговорить Петръ, блѣднѣя и отскакивая отъ окна.

Улыбышева не спрашивала, кто это она. Догадаться было не трудно; она заглянула въ окно направо и налѣво и ничего не замѣтила, кромѣ сѣрой зимней мглы, противоположной стороны улицы, да узоровъ мороза на стеклѣ.

— Вамъ показалось, — возбужденно обратилась она къ Петру, который съ бьющимся сердцемъ стоялъ у стола.

— Вамъ показалось! — еще убѣжденнѣе повторила дѣвушка.— Выпейте воды.

Она быстро схватила съ круглаго столика графинъ съ водою и, проливая воду на коверъ, налила полный стаканъ воды и подала его Петру.

Петръ сдѣлалъ нѣсколько глотковъ и быстро заговорилъ:

— Нѣтъ, это была она, она несомнѣнно. Я не могъ ошибиться.

— Но какъ вы могли узнать ее? Вѣдь тамъ почти ничего не видно.

— Я видѣлъ ее, какъ тѣнь. Она стояла у окна, совсѣмъ у окна,— съ нервной дрожью говорилъ онъ.— Я не могъ ошибиться. Когда я открылъ занавѣску, она бросилась въ сторону. Я точно предчувствовалъ, что она здѣсь. Меня все время тянуло къ окну, но я удерживался отъ этого.

— У васъ нервы разстроены. Развѣ могла она подняться съ постели и бѣжать сюда, караулить васъ здѣсь?

— Да, да,— убѣжденно кивая головою, подтвердилъ Петръ. — Такъ именно должна была поступить она. Я знаю. Она захотѣла провѣрить, правду-ли я сказалъ ей, и прибѣжала сюда. Ее ничто не могло удержать. Если бы она не могла итти, она приползла бы какъ змѣя, но не притти не могла. О, я ее знаю хорошо. Это была она.

Она такъ же, какъ Петръ, чувствовала, что нервы ея напряжены до того, что все тѣло готово задрожать мелкой нервической дрожью. Горло слегка сдавливала спазма, дыханіе, замирая, холодило грудь и спину, и по лицу и тѣлу, казалось, проводили чьи-то воздушныя, но страшныя руки.

Однако она первая пришла въ себя и, подавляя свое нервное настроеніе, заговорила, стараясь быть разсудительной и холодной:

— Во-первыхъ, я еще разъ убѣждена, что это вамъ по-

мерещилось. Во-вторыхъ, если бы даже это была она, что же тутъ страшнаго? Вѣдь вы сами сказали ей, что идете ко мнѣ... къ намъ?..

— Сказалъ. Это была она.

— Ну и прекрасно. Чего же тутъ бояться? То, что она хотѣла продѣлать, уже не повторится.

— Ахъ, вы не знаете ее. Она способна на все.

Въ эту минуту за дверью послышались быстрые женскіе шаги. Оба вздрогнули и насторожились. Петръ даже сдѣлалъ шагъ впередъ, точно желая защитить собою дѣвушку: на порогѣ появилась запыхавшаяся горничная.

— Баринъ сію минуту будутъ. Уфъ... Такъ бѣжала! Такъ бѣжала!.. Страшно.

— Что же тебѣ страшно-то?..

— И сама не знаю. Мало-ли злого народа-то по улицамъ ходитъ. Я и то испугалась сейчасъ. Только за уголъ повернула, кто-то какъ шарахнется на меня, я индо завизжала.

— Кто же это былъ?

— Да баба какая-то. Въ платкѣ. Кажись, та самая, которую я у нашихъ оконъ замѣтила, когда въ клубъ за бариномъ бѣжала.

Улыбышева и Петръ молча переглянулись, и жуткое настроеніе опять охватило ихъ.

— Чего ты врешь! — прикрикнула на горничную барышня. — Кто тамъ еще стоялъ у окна?

— Не знаю, баба какая-то, въ теплой шали. А только, — провалиться мнѣ сквозь землю, — стояла! А какъ я, значитъ, вышла, она шасть отъ окошка-то въ сторону и притворилась, будто поджидаетъ у сосѣдней калитки-то кого-то. Меня и то сразу робь взяла. Думаю, не мужикъ-ли какой переодѣтый.

— А ты бы подошла, да спросила, — сказалъ Петръ.

— И то хотѣла, да страшно чего-то. Замѣсто того бѣжать пустилась, а, какъ добѣжала до клуба, огляну-

лась назадъ, а она за мною издали по забору крадется да крадется, крадется да крадется. Словно бы слѣдитъ!— съ испуганнымъ лицомъ наглядно показывала та, какъ незнакомая особа кралась издалека за нею.

— Ну, ладно, — взволнованно остановила ее Улыбышева.— Ступай. Тамъ, кажется, позвонили. Это, вѣрно, отецъ.

Горничная удалилась, и не успѣлъ еще Петръ сказать:

— Ну, что видите, я говорилъ вамъ!

Какъ въ залѣ послышались большіе, тяжелые шаги, и появилась крупная, слегка сутулившаяся фигура Улыбышева, въ черномъ сюртукѣ, въ мягкой шелковой рубахѣ, такъ какъ крахмальныхъ воротниковъ онъ совершенно не переносилъ, съ черной смѣлой головой и слегка щурившимися проницательными глазами. Ему было на видъ лѣтъ пятьдесятъ, но ни въ черныхъ, стоявшихъ вихромъ волосахъ его, ни въ большой запущенной бородѣ не было ни одного сѣдого волоска. Только подергивавшіеся отъ времени до времени отъ невралгіи мускулы лѣвой стороны его лица, да ласково-горькая усмѣшка въ уголкахъ губъ говорили о томъ, что этотъ человѣкъ хлебнулъ-таки въ свою жизнь горя не мало. Дочь совершенно была не похожа на него — ни одной чертой. Развѣ только усмѣшка ея порой также напоминала отцовскую, да въ голосѣ звучали нѣкоторыя общія нотки.

Улыбышевъ пристально взглянулъ сначала на дочь, лицо которой было для него открытой книгой, потомъ на Петра и, быстро двинувшись къ нему, заговорилъ своимъ добродушнымъ, мягкимъ голосомъ:

— Ну, вотъ и я. Здравствуйте, философъ.

Онъ пожималъ руку Петра своей широкой, сильной рукой, а самъ не спускалъ съ него глазъ.

— Садись, отецъ, — серьезно и строго сказала Улыбышеву дочь.— Ты услышишь сейчасъ ужасныя вещи.

— Ой, ой, не пугайте, а то со мной родимчикъ сдѣлается,— замахалъ тотъ съ комическимъ ужасомъ руками.

— Теперь не до шутокъ,— остановила она его.— Садись и слушай.

Видя ея взволнованное и блѣдное лицо, Улыбышевъ опустился въ кресло, но прежде, чѣмъ дочь успѣла начать свой разсказъ, онъ остановилъ ее:

— Подожди. Пусть сначала Даша содовой воды мнѣ принесетъ, а то безъ содовой воды со мной обморокъ можетъ случиться.

— Опять ты шутишь, отецъ,— почти оскорбленная воскликнула дочь, однако позвонила и приказала дѣвушкѣ подать содовой воды.

— Ну, ну, не буду, не буду,— поспѣшилъ онъ успокоить ее и, усѣвшись какъ можно удобнѣе, проговорилъ, принимая сифонъ съ содовой водой:

— Ну, теперь я готовъ слушать хоть разсказъ о землетрясеніи. Только условіе: разсказывать спокойно и связно, безъ лирическихъ интермеццо. Терпѣть не могу лирическихъ интермеццо. Кто будетъ разсказывать?

— Я.— Отозвалась дочь, замѣтивъ умоляющій взглядъ Петра. — Вы только поправляйте и дополняйте меня, — обратилась она къ Петру.

Тотъ кивнулъ головой.

Дѣвушка заложила за спину руки, оперлась на столъ и, стараясь сохранить спокойствіе, начала свой разсказъ совершенно неожиданнымъ и ошеломляющимъ вступленіемъ.

## XIV.

— Знаешь ли ты, отецъ, что Прасковья Ильинишна была отравлена нынѣшними наслѣдниками Похвистневыми съ цѣлью завладѣть не принадлежащимъ имъ наслѣдствомъ?

Улыбышевъ даже подпрыгнулъ въ креслѣ при этой фразѣ и, оглянувшись боязливо кругомъ, переводилъ пораженный взглядъ съ дочери на Петра, съ Петра на дочь. Лицо его, вдругъ, задергалось, и лѣвый глазъ сталъ нервно мигать, придавая ему недовѣрчивое выраженіе.

Дѣвушка осталась довольна произведеннымъ эффектомъ, и уже хотѣла продолжать свой разсказъ, какъ Петръ неловко и растерянно остановилъ ее.

— Если можно,— обратился онъ къ Улыбышеву,—Николай Дмитріевичъ, забудьте объ отравленіи. Я не утаилъ его передъ Ольгой Николаевной, но мнѣ бы не хотѣлось вводить его въ дѣло. За мертвыхъ что ужъ мстить! Можетъ, покойница-то тамъ простила имъ. Что же намъ въ это дѣло вступаться. И за живыхъ достаточно имъ придется вытерпѣть.

— Ну, ладно, ладно, философъ. Вы, кажется, ужъ на попятный пошли,—прервалъ его Улыбышевъ.

Петръ вспыхнулъ.

— Нѣтъ, я не на попятный пошелъ. Я вамъ сейчасъ расскажу все, и вы сами убѣдитесь, коли такъ. Но только прошу...

— Ну, ладно, ладно, тамъ увидимъ. А вы разсказывайте. Такія вещи...— обратился онъ къ дочери,— нашему брату всегда важно и даже необходимо изъ первоисточника слышать. Ну-съ.

Онъ выпилъ стаканъ содовой воды и, прищурясь, посмотрѣлъ на Петра, который собирался съ духомъ, чтобы начать длинный и страшный разсказъ.

Наконецъ, онъ, закрылъ глаза и потомъ, проведя медленно обѣими руками по лицу и волосамъ, смѣло и рѣшительно взглянулъ на Улыбышева и началъ свое повѣствованіе.

Какъ лѣтъ шесть тому назадъ, окапывая кустъ у окна Похвистневскаго флигеля ранней весною, услышалъ случайно разговоръ братьевъ Похвистневыхъ и

Глафиры съ врачомъ Минцевичемъ, а затѣмъ сообщилъ и все, что зналъ самъ, что повѣдала ему Глафира и что онъ думалъ о завладѣніи Похвистневыми наслѣдствомъ. Онъ не пропускалъ ни одной подробности, которая ему представлялась мало-мальски характерной въ этомъ дѣлѣ. Онъ не скрылъ отъ Улыбышева и своихъ отношеній съ Глафирой, хотя присутствіе здѣсь Ольги заставляло его говорить объ этомъ предметѣ вскользъ.

Улыбышевъ слушалъ эту повѣсть и только порою его глаза загорались негодованіемъ и гнѣвомъ подъ хмурыми бровями. Ольга жадно слѣдила за всѣми измѣненіями отцовскаго лица и повторяла ихъ часто невольными подражательными гримасами. Онъ взглядывалъ на Петра, который съ широкою искренностью велъ свой разсказъ, и она также взглядывала на него; онъ качалъ сумрачно головою, и качала головою она.

Изрѣдко только Улыбышевъ дѣлалъ Петру тѣ или другіе вопросы, на что Петръ спѣшно и нервно отвѣчалъ. Порою разсказчика охватывало волненіе, его голосъ дрожалъ, и слова замирали на губахъ. Тогда дѣвушка подавала ему торопливо воду. Онъ жадно дѣлалъ нѣсколько глотковъ и опять продолжалъ говорить, поддерживаемый ея ободряющими взглядами.

— Подождите! Отдохните. Можетъ быть, вы послѣ доскажете, — нѣсколько разъ пытался остановить его въ эти минуты Улыбышевъ.

— Нѣтъ, нѣтъ. Я ужъ разскажу лучше все сразу. Нельзя терять ни минуты. Чѣмъ скорѣе взяться за это дѣло, тѣмъ лучше. — И онъ опять говорилъ порывисто и нервно, то забѣгая впередъ, то возвращаясь назадъ къ какой-нибудь подробности, къ какой-нибудь мелочи, подчеркивающей такъ или иначе справедливость его словъ.

— Такъ-такъ, — срывалось порою съ языка Улыбышева. Онъ вѣрилъ теперь уже безусловно каждому сло-

ву разсказчика, и по мѣрѣ того, какъ тотъ говорилъ, въ умѣ адвоката уже развертывался и намѣчался опредѣленный планъ борьбы или, какъ онъ выражался про себя, «кампаніи противъ грабителей». Все дѣло всплывало передъ нимъ, какъ обломки затонувшаго нѣкогда послѣ крушенія корабля всплываютъ, когда сгніетъ удерживавшій его на днѣ грузъ, или подводная вулканическая сила выброситъ его наружу, вытряхнувъ вонъ изъ трюма этимъ толчкомъ балластъ, державшій его въ глубинѣ. Когда Петръ дошелъ въ своемъ повѣствованіи до предшествующей катастрофы, едва не окончившейся трагически для Глафиры, Улыбышевъ мелькомъ взглянулъ на дочь и, видя, какъ она смутилась въ присутствіи Петра, прервалъ его повѣствованіе снисходительно, деликатно и ласково.

— Не надо, не надо. Я все это знаю. Дальше.

Петру понадобилось еще не болѣе получаса, чтобы окончить свой разсказъ. Онъ уже договаривалъ, усталый и разбитый, и въ то время, какъ дѣвушка съ жаднымъ вниманіемъ ожидала, что скажетъ прежде всего объ ожидающей Петра участи ея отецъ, самъ Петръ почти забылъ объ этомъ вопросѣ и, сказавъ свое послѣднее слово, умолкъ, опустивъ на грудь голову.

Улыбышевъ всталъ съ своего мѣста и раза два прошелся по комнатѣ большими шагами; лицо его было возбуждено и сосредоточено.

Наконецъ, онъ остановился передъ Петромъ, заложивъ руки за спину, и, слегка наклонивъ къ нему корпусъ, внушительно и строго произнесъ:

— Все, что вы сообщили мнѣ, въ высшей степени важно. Дѣло для меня раскрылось, какъ книга. Я приступлю къ нему завтра же и выиграю его, долженъ выиграть, если на землѣ существуетъ истина, а въ законахъ — справедливость. Что отравленіе было, я ни минуты не сомнѣваюсь въ этомъ, иначе зачѣмъ бы имъ хлопотать о томъ, чтобы схоронить покойницу гдѣ-то

за тридевять земель. Но, «мертвые въ землю зарыты, дѣло осталось живымъ». Я уступаю вашему желанію и оставлю отравленіе втунѣ, тѣмъ болѣе что оно только затормозило бы развитіе другой стороны дѣла.

Лицо его дочери вспыхнуло румянцемъ, потомъ поблѣднѣло и затѣмъ вспыхнуло снова.

— Ну, хорошо, отецъ. А что же будетъ теперь съ нимъ? — безпокойно кивнула она на Петра, словно досадуя, что тотъ самъ не задалъ этого вопроса и вынудилъ сдѣлать это ее.

— Съ нимъ? Ахъ, да! — вспомнилъ Улыбышевъ. — У меня изъ головы вышло это обстоятельство. Его дѣло не важное. Я, конечно, похлопочу, чтобы отстоять его, но безъ тюрьмы все же дѣло не обойдется. Выдержутъ васъ, батюшка, въ тюрьмѣ, какъ въ карантинѣ, мѣсяцевъ шесть, а потомъ вѣроятно припишутъ къ какому-нибудь обществу.

— За вами вѣдь никакихъ грѣшковъ особенныхъ не числится? — продолжалъ онъ свой допросъ.

— Нѣтъ, не числится, — тихо отвѣтилъ Петръ.

— Ну, значитъ, надежда есть, что послѣ тюрьмы припишутъ.

— Но за что же тюрьма? — тономъ глубокаго возмущенія воскликнула дѣвушка.

— За то, что бумагой не обзавелся при вступленіи въ міръ.

— Неужели же никакъ нельзя будетъ избѣжать тюрьмы?

— Можно было бы, если бы Петръ Алексѣевичъ зналъ по крайней мѣрѣ, гдѣ его крестили.

— А вы не знаете? — съ слабой надеждой обратилась Улыбышева къ Петру.

— Нѣтъ, не знаю. Меня подкинули къ двери заводской конторы. Я былъ въ корзинкѣ въ шелковомъ одѣялѣ, съ золотымъ крестомъ на шеѣ, обернутымъ бумажкой, на которой было написано: «Крещенъ. Зовутъ

Петромъ Алексѣевичемъ. Незаконный сынъ». Мнѣ потомъ сообщили объ этомъ лѣтъ черезъ шесть. Разсказывали, что меня подкинула проѣзжавшая мимо на тройкѣ съ кучеромъ, который скорѣе напоминалъ барина, какая-то пышно одѣтая дама. Больше я ничего о своемъ рожденіи не знаю. Никто не позаботился тогда приписать меня къ обществу, такъ оно и осталось.

— Чортъ возьми! Да это цѣлый романъ,— засмѣялся Улыбышвъ.

— О, папа! — съ укоромъ воскликнула дочь.— И у тебя еще хватаетъ духа смѣяться!

— А что же мнѣ плакать, что ли? Я ничего тутъ ужаснаго не вижу. Ну, посидитъ мѣсяцевъ шесть въ тюрьмѣ, и баста, искупитъ тайну своего рожденія. Въ тюрьмѣ нерѣдко очень хорошіе люди сидятъ и притомъ гораздо дольше.

— Но за что же? За что? Развѣ онъ виноватъ, что у него нѣтъ бумагъ о крещеніи?

— О, мой ангелъ,— прервалъ ее отецъ.— Люди рѣже всего бываютъ сами виноваты въ своихъ преступленіяхъ и, если смотрѣть въ корень, какъ завѣщалъ Прутковъ, виновныхъ людей совсѣмъ не будетъ, или, въ концѣ-концовъ, ими окажутся невинные. Онъ виноватъ ужъ тѣмъ, что у него нѣтъ ни имени, ни отчества, ни фамиліи, ни религіи. Словомъ, онъ ничто, а для ничто мѣста среди людей нѣтъ.

— Но какже нѣтъ имени, фамиліи, и религіи?!—вознегодовала его дочь.

— Такъ и нѣтъ,— убѣждалъ отецъ.— У насъ человѣкъ существуетъ только тогда, когда онъ существуетъ на бумагѣ, а безъ паспорта, безъ свидѣтельства о крещеніи и т. п. человѣка нѣтъ. Есть только фикція, а человѣка нѣтъ.

— Но вѣдь извѣстно, что онъ христіанинъ?

— Откуда?

— У него на шеѣ нашли крестъ.

— А въ какой бумагѣ это написано?

— Опять бумага!

— Ну да, опять бумага.

— Но разъ онъ не крещеный, стало-быть, его можно вторично окрестить и бумаги будутъ.

— Нѣтъ, вторично крестить тоже нельзя, такъ какъ обрядъ крещенія два раза повторяться не можетъ.

— Но вѣдь его не захотятъ признать крещенымъ?

— Да, точно такъ же, какъ и некрещенымъ. Если мы будемъ говорить все на эту тему, получится сказка про бѣлаго бычка. Повторяю тебѣ только одно слово: *бумага*. Въ ней вся сила. Ея нѣтъ, о ней не позаботились, стало-быть и человѣка нѣтъ, а съ ничѣмъ можно обращаться какъ угодно.

Дѣвушка въ горѣ не выдержала, закрыла руками лицо и прошептала:

— Но вѣдь это ужасъ, ужасъ!

Петръ все сидѣлъ въ прежнемъ положеніи, не то убитый до отчаянія, не то усталый до апатіи. Улыбышевъ искоса бросилъ на него взглядъ, перевелъ на дочь, и въ глазахъ его мелькнула искорка состраданія и сочувствія.

— Ну, нечего тутъ стонать, — обратился онъ къ дочери.— Можетъ быть, еще все дѣло и благополучнѣе обойдется. Повторяю, я употреблю всѣ силы, чтобы избавить его отъ этого маленькаго неудовольствія.

— О, папа! — Она схватила отца за обѣ руки и умоляюще посмотрѣла ему въ глаза, смущаясь и стыдясь, но еще болѣе страдая за ставшаго ей дорогимъ человѣка.

— Утро вечера мудренѣе. Сейчасъ надо итти спать, а завтра мы примемся за дѣло, — ласково гладя волосы дочери, говорилъ отецъ. — Вы, конечно, ночуете у насъ, — обратился онъ къ Петру. — Вамъ постелятъ здѣсь, на этой тахтѣ. Вы, вѣроятно, очень устали?

Петръ поднялъ голову и сразу поразилъ ихъ обоихъ необыкновеннымъ свѣтлымъ и яснымъ выраженіемъ сво-

его лица, за минуту передъ тѣмъ какъ-будто утомленнаго и отчаявшагося.

Улыбышевъ сразу понялъ тайну этого превращенія.

— Да, вы, конечно, останетесь у насъ,— повторила и она. — Тѣмъ болѣе что вамъ все-равно нельзя уже возвращаться туда.

— Благодарю васъ,— съ счастливой улыбкой отвѣтилъ Петръ. — Благодарю васъ, но это невозможно.

— Почему?

— Потому что, если я останусь у васъ, изъ этого можетъ выйти большая непріятность. Нѣтъ сомнѣнія, что она завтра же донесетъ полиціи о томъ, что вы пріютили у себя бродягу, то-есть меня. Полиція нагрянетъ къ вамъ, заварится нелѣпая каша. Тогда и защищать меня Николаю Дмитріевичу, пожалуй, будетъ еще труднѣе.

— Но, однако, вѣдь вы у нея въ домѣ также жили въ такомъ же положеніи,— воскликнула дѣвушка.

— Нѣтъ, онъ правъ, — согласился и отецъ. — Полиція рада будетъ сдѣлать мнѣ какую-нибудь непріятность. Кромѣ того, когда на охотѣ встрѣчаешься съ медвѣдемъ, ни въ какомъ случаѣ бѣжать отъ него не слѣдуетъ, а надо итти ему навстрѣчу.

— Но куда же онъ пойдетъ?

— Туда,—просто отвѣтилъ Петръ.—Во-первыхъ, тамъ у меня кое-какія вещи есть, а во-вторыхъ, если и арестуютъ, то пусть ужъ арестовываютъ тамъ. У ней на глазахъ.

— А, вдругъ, она не велѣла васъ пускать?

— Ну, что-жъ. Утро ужъ недалеко. Свѣтаетъ. Промаячу часъ какой-нибудь, а тамъ все объяснится.

Дочь взглянула на отца, и тотъ сразу понялъ ее.

— Такъ зачѣмъ же вамъ рисковать этотъ часъ на морозѣ провести. Давайте лучше чай пить, ужинать. Мы вѣдь съ Олей полуночники, намъ это нипочемъ. Только, чтобы не будить прислугу, поставимъ сами самоваръ,

достанемъ изъ кладовой холодное мясо, вино и чокнемся за благополучный исходъ нашего дѣла. Конецъ — всему дѣлу вѣнецъ. Правда вѣдь, вѣнецъ? — многозначительно кивнулъ онъ головой дочери, но въ глазахъ у Ольги стояли слезы.

## XV.

Разрывъ съ Петромъ произвелъ на Глафиру потрясающее впечатлѣніе. Онъ, что называется, перевернулъ ее въ одну ночь и состарилъ сразу на нѣсколько лѣтъ. Почти не помня себя, она прослѣдила Петра, видѣла, какъ посылали въ клубъ за Улыбышевымъ, какъ Улыбышевъ пріѣхалъ, и такимъ образомъ убѣдилась, что Петръ не попусту угрожалъ ей. Ея мстительное, неудержимое чувство, облитое горькой и ревнивой злобой, съ этой минутой окрѣпло и обострилось еще болѣе. Она тутъ же ночью, какъ была въ платкѣ, хотѣла бѣжать въ полицію и донести на Петра, но во-время одумалась. Во-первыхъ, это было во многихъ отношеніяхъ неудобно, во - вторыхъ — безполезно. Все-равно Петръ уже успѣлъ разсказать все. Дѣло было сдѣлано, значитъ все-равно, арестуютъ его на нѣсколько часовъ позже или раньше. Однако въ эту ночь она ни на минуту не могла сомкнуть глазъ, хотя пыталась сдѣлать это, забившись въ постель и накрывшись теплымъ пуховымъ одѣяломъ. Ее била нервная дрожь, ей было холодно, и она тщетно пыталась согрѣться. Приливы злобы смѣнялись въ ней безнадежностью отчаянія. Ей хотѣлось то грызть въ бѣшенствѣ подушку, то зарыться живой въ землю.

Планы одинъ другого злѣе, одинъ другого хитрѣе лѣзли ей въ голову, но во всѣхъ ихъ преобладали не столько заботы о своей пользѣ, сколько желаніе насолить, дать почувствовать острые когти своимъ врагамъ, даже, если возможно, надругаться надъ ними, унизить ихъ, хотя бы для этого пришлось швырнуть всѣ завое-

ванныя ею съ такимъ ужасомъ деньги, а самой, нищей и одинокой, уйти куда-нибудь, куда глаза глядятъ, подальше отъ свѣта съ его безтолковой суетой и неожиданными ударами, куда-нибудь въ глушь, въ пустыню, въ дремучій лѣсъ, въ скитъ.

Она была довольна, что нѣтъ Мисаила дома, хотя конечно ему необходимо было сообщить о предполагаемой грозѣ. Но одна эта мысль заставляла самолюбіе Глафиры содрогаться.

Переворачиваясь съ одного бока на другой, ежась отъ внутренняго озноба и зарываясь головой въ подушки и подъ одѣяло, Глафира ждала утра, не будучи въ состояніи уснуть. Но она и не замѣтила, какъ утро подкралось къ ея окнамъ и заглянуло въ щели между створами ставень. Было уже часовъ шесть утра, когда въ сосѣднюю комнату явилась Агафья съ подносомъ и чайной посудой.

Глафира услышала звонъ чашекъ и окликнула Агафью.

— Аль ужъ утро?

— Знамо, утро.

Часы въ ея спальнѣ остановились часа за полтора передъ этимъ, она забыла ихъ завести наканунѣ, и не замѣтила этого.

— Посмотри скорѣй иди, дома ли Петръ?

— Сейчасъ приходилъ, да ушелъ.

— Какъ ушелъ? Куда ушелъ? — вскрикнула Глафира, поднимаясь на постели. Ее страшно напугала мысль, что онъ бѣжалъ куда-нибудь.

— Кто его знаетъ, — отвѣтила Агафья. — Взялъ свой чемоданъ; тутъ же и извозчикъ его дожидался. Сѣлъ и уѣхалъ. «Прощайте, говоритъ, — Богъ вѣсть, когда теперь увидимся».

— Такъ и есть, — прошептала Глафира. — Но что же никто не спросилъ его, куда онъ ѣдетъ?

— Нѣтъ, кучеръ спрашивалъ.

— Что же онъ сказалъ ему?

— А кто его знаетъ.

— Поди узнай сейчасъ! — крикнула Глафира.— Или нѣтъ, позови его лучше сюда. Да скорѣе! Скорѣе!

Глафира ударила кулакомъ по спинкѣ кровати и стала быстро одѣваться. Но руки у нея тряслись, не повиновались ей, и, прежде чѣмъ она успѣла завязать шнурки юбки, пришелъ кучеръ.

Растрепанная и полуодѣтая, она крикнула кучера къ себѣ.

Тотъ вошелъ въ спальню и замеръ въ дверяхъ полутемной комнаты, ставни которой все еще были закрыты.

— Что же ты, дура, ставни-то не догадалась открыть! Иди и открой! — топнула ногой Глафира.

Агафья ушла. Глафира набросилась съ вопросами на кучера.

— Онъ сказывалъ, что только завезетъ сундукъ къ знакомымъ, а тамъ въ полицію пойдетъ зачѣмъ-то. Такъ и вашей милости приказали передать.

Глафира въ досадѣ закусила губу.

Несомнѣнно, что Петръ повезъ свои вещи къ Улыбышеву, и Глафира пожалѣла, что не догадалась заблаговременно подбросить ему какую-нибудь свою вещь или хоть выигрышный билетъ. Этимъ можно было бы ловко оскандалить Улыбышевыхъ, не говоря уже о Петрѣ. Краденыя вещи, молъ, отъ бродягъ принимаютъ. Петръ отнялъ у нея возможность самой донести на него и съ злораднымъ торжествомъ взглянуть ему прямо въ глаза, когда по ея навѣту явится полиція, чтобы арестовать безпаспортнаго и безсильнаго передъ полицейской властью парня.

Скверный знакъ: суевѣрно подумала Глафира и подошла къ зеркалу, чтобы поправить растрепавшіеся волосы, — подошла и въ ужасѣ раскрыла глаза.

Перемѣна, происшедшая въ ея лицѣ, глубоко ее поразила. Изъ серебряной овальной рамы зеркала на нее

глянуло блѣдное, осунувшееся лицо съ впалыми глазами, тусклыми, какъ свинецъ, съ вялою кожей, обнаружившей рѣзкія морщины возлѣ глазъ, на шеѣ и осѣвшей внизу щекъ по обѣ стороны подбородка.

— Господи, да что же это такое? — пробормотала Глафира, не вѣря своимъ глазамъ и осматривая себя сверху внизъ, точно желая убѣдиться въ томъ, что это дѣйствительно она. — Господи!

Холодная волна прилила изъ груди къ ея головѣ и мелкими брызгами разлилась по всему тѣлу.

Это, вѣрно, оттого, что я не выспалась, не умылась, — хотѣла утѣшить себя Глафира. — Вотъ высплюсь, или даже освѣжусь только холодной водой и опять буду прежняя.

Она съ лихорадочной торопливостью приказала дать себѣ умыться и, умываясь, ощупывала кожу пальцами, точно старалась изслѣдовать, дѣйствительно-ли у нея есть на лицѣ морщины.

А вытираясь толстымъ мохнатымъ полотенцемъ, она усердно растирала кожу, чтобы разгладить и освѣжить ее притокомъ крови.

Но ужъ по кожѣ своихъ рукъ, тоже какъ бы одряблѣвшей за ночь, она почувствовала, что ея надеждамъ не суждено сбыться. Отчаяніе и злоба стали прокрадываться въ душу Глафиры. Она рѣшительно повернулась къ зеркалу и надолго остановила въ зеркалѣ свой взглядъ, только въ первое мгновеніе взглянувъ на свое отраженіе и убѣдившись, что ея вечерняя заря померкла и для нея наступаетъ ночь.

— Пусть, — вслухъ сказала себѣ она, сдвинувъ брови. — Пусть. Но я тебѣ не прощу этого, хотя бы для того пришлось еще разъ дьяволу душу заложить.

Она подошла къ чайному столу и стала пить чай, но, вдругъ, почувствовала, что чай страшно не вкусенъ и, очевидно, успѣвъ что-то надумать важное, поднялась и приказала позвать ей Анфису.

Черезъ минуту Глафира уже сидѣла въ креслѣ, принявъ равнодушный и спокойный видъ. Она рѣшила не дожидаться мужа и сдѣлать одинъ очень важный шагъ совершенно самостоятельно.

Послышались слабые неровные шаги, и въ дверяхъ показалась Анфиса.

Она растерянно поклонилась Глафирѣ, робко и мелькомъ только окинувъ ее своими большими глазами и затѣмъ, потупивъ ихъ не то въ страхѣ, не то въ предчувствіи надвигающагося страха.

Глафира не отвѣтила на ея поклонъ, но злымъ взглядомъ своимъ такъ и впилась въ ея лицо какъ змѣя, готовая проглотить свою жертву.

Тяжелое и долгое молчаніе давило Анфису и томило душу Глафиры. Наконецъ, Глафира медленно и внушительно заговорила, причемъ ей самой показалось, что и голосъ у нея постарѣлъ, какъ лицо, и даже какъ будто принялъ такой же цвѣтъ.

— Ну, красавица, проводила своего дружка?

— Какого дружка? — вспыхнула дѣвушка.

Она знала, на кого намекаетъ ей Глафира. Если бы та спросила ее: проводила ли ты Петра? Анфиса чистосердечно отвѣтила бы, что была у заутрени, когда Петръ уѣзжалъ, и, только вернувшись изъ церкви, узнала отъ Агафьи, что Петръ совершенно неожиданно выѣхалъ куда-то. Извѣстіе это поразило ее и поставило въ тупикъ передъ совершившимся фактомъ. Анфиса послѣ этого стала, что называется, сама не своя и, не смотря на то, что ей было тяжело и страшно идти къ Глафирѣ, она шла теперь съ тайной надеждой услышать что-нибудь о Петрѣ, смутно догадываясь, что причина его необычайнаго отъѣзда, почти бѣгства, отъ Похвистневыхъ находится въ тѣсной зависимости отъ самой Глафиры.

— Будто не знаешь, какого дружка? — прищурилась Глафира. — Не передо мной тебѣ святошу-то разыгры-

вать. Сама знаешь, что не о «Полканѣ» дружкѣ-то я говорю, а о Петрѣ. Ты съ нимъ всегда шушукалась, да книжки читала вмѣстѣ.

— Никогда я не шушукалась и книжки вмѣстѣ не читала, — тихо возразила Анфиса.

Глафиру взорвалъ этотъ смѣлый и твердый тонъ. Она почти вскочила съ кресла и закричала:

— Молчать. Знаю я тебя, святоша!

Но Анфиса на этотъ разъ даже не затрепетала, какъ всегда. Невыразимо сладостное ощущеніе охватило всю ея душу. Ей страстно хотѣлось, чтобы Глафира ее побила изъ-за Петра, предала какимъ-нибудь истязаніямъ, пыткамъ. Все это только доставило бы ей мучительную радость и отчасти потому, что убѣждало ее въ томъ, что Петръ покинулъ этотъ домъ своею волею, что слѣдовательно онъ не любитъ болѣе Глафиру.

Глафира почувствовала себя униженной спокойнымъ молчаніемъ своей мнимой соперницы, и ей захотѣлось какъ-нибудь уязвить ее.

— Ты, можетъ, не знаешь, куда онъ уѣхалъ? Такъ я скажу тебѣ. Къ Улыбышевой онъ уѣхалъ. Ты думаешь, тебѣ онъ вниманіе когда-нибудь оказывалъ? Очень ты ему нужна. Наплевать онъ на тебя хотѣлъ.

Анфиса глядѣла на нее съ сожалѣніемъ.

— Ну, да ладно! — оборвала сама себя Глафира. — Не затѣмъ я позвала тебя, чтобы твои чувства разбирать. Что они мнѣ? Я хотѣла тебѣ сказать, что довольно тебѣ баклуши-то бить. Пора и о судьбѣ своей подумать. Стыдно уже дармоѣдствовать-то.

— Я рада бы все дѣлать, да не умѣю. Помогаю на кухнѣ, какъ могу, мою полы, посуду...

— Подумаешь, какая помощь. Я надумала для тебя другое. Это тебѣ должно по душѣ приттись: вѣдь ты богомольница. Въ Сергіевскомъ монастырѣ игуменья моя знакомая. Можетъ, она согласится принять тебя

на послушаніе. Тамъ ты и рукодѣлію выучишься. Конечно, тебѣ тамъ всякія послабленія будутъ дѣлать, не то, что другимъ послушницамъ. Я даже сама для тебя келью куплю и платить за тебя буду, чтобы ты не корила, что тебя не научили ничему. Ты все думаешь, что тебѣ я зла желаю, а не добра. Ужъ больше этого добра и отъ родной матери нельзя требовать.

— Благодарю покорно, — почти беззвучно отвѣтила Анфиса.

— Только ужъ тамъ о чувствахъ-то своихъ забыть надо. Молода ты очень для нихъ. Не созрѣла еще ягодка, да и непристойно о грѣшныхъ дѣлахъ вблизи храма Господня думать. Ну, что-жъ, согласна ты?

— Позвольте мнѣ сегодня поразмыслить объ этомъ.

— Размышляй, — презрительно скривила губы Глафира, однако не стала настаивать на своемъ, а только рѣшила не выпускать весь этотъ день Анфису за ворота, чтобы она какъ-нибудь случаемъ не увидѣла Петра.

Между тѣмъ Анфиса только на то и надѣялась, Помимо этого, размышлять ей долго надъ предложеніемъ Глафиры не приходилось. Послушничество еще не есть отреченіе отъ свѣта. Она слышала отъ одной захожей послушницы, что хотя и трудно въ монастырѣ на работахъ, зато душѣ спокойно. Не то, что на міру, гдѣ суета и нечисть. Тамъ покой и миръ. Пѣніе клирное, рѣчи тихія, незлобивыя, лица кроткія, смиренныя. А если бы и не это, такъ все-равно хуже, чѣмъ здѣсь, не можетъ быть. Уже тогда, когда она просила отсрочки у Глафиры, она чувствовала, что скажетъ «согласна», хотя въ словахъ Глафиры ей и чуялось что-то зловѣщее. Будь вблизи глухонѣмой, она не замедлила бы обратиться за совѣтомъ къ нему прежде даже, чѣмъ къ Петру, хотя и видѣла глухонѣмого не больше двухъ-трехъ разъ въ годъ въ Смиренскѣ. У нея была вѣра въ него, какъ въ человѣка,

свыше одареннаго способностью постигать истину, какъ бы она ни была опутана, чѣмъ бы ни была прикрыта.

Но глухонѣмой былъ за нѣсколько сотъ верстъ, на пріискахъ, и о немъ доходили до Анфисы тяжелые слухи, что онъ началъ попивать и, даже хуже того, связываться то съ одной, то съ другой заводской бабой.

Анфиса пришла къ себѣ, въ свой уголокъ на кухнѣ, и стала горько-горько плакать о своемъ горемычномъ сиротствѣ. Агафья пробовала обращаться къ ней съ вопросами о причинѣ этихъ слезъ и даже утѣшать ее, но хотя дѣвушка и была благодарна кухаркѣ за сочувствіе къ своему затаенному горю, откровенничать передъ ней не стала.

Къ вечеру она открыла свой сундучекъ деревянный, обитый жестяными поясами кое-гдѣ и оклеенный внутри картинками съ конфетъ и изъ брошенныхъ журналовъ и книгъ, и стала перебирать тамъ свои вещи, обливая ихъ слезами. Многія изъ этихъ вещей напоминали ей ея счастливое раннее дѣтство и заставили не разъ сердце сжаться мучительной тоской и вспомянуть о покойницѣ Прасковьѣ Ильинишнѣ, которую она не забыла и ласки которой были ея почти единственными отрадными воспоминаніями.

Наряду съ этими ласками, представлявшимися ей въ смутномъ золотомъ туманѣ, она вспоминала и еще что-то, похожее на сонъ, какого-то старика-священника у одра умирающей благодѣтельницы, рядомъ глухонѣмого, Глафиру. Священникъ что-то читаетъ, и Глафира клянется въ чемъ-то и плачетъ.

Это воспоминаніе почему-то невольно усиливало зловѣщее предчувствіе Анфисы, и она сквозь слезы смотрѣла на открытую крышку сундука, гдѣ на первомъ мѣстѣ красовалась раскрашенная картинка, изображающая старуху, безобразную, склонившуюся надъ кот-

ломъ, откуда валитъ паръ. Въ сторонѣ такой же безобразный котъ, а внизу надпись:

«Варись, варись, зелье,
На гибель людей».

Эта картина и подпись еще усугубляли настроеніе дѣвушки, и она, не выдержавъ, уронила руки на край сундука и зарыдала, тихо и безнадежно всхлипывая.

На другой день Петръ былъ арестованъ, Анфиса отвезена въ монастырь.

Ту и другую новость Мисаилъ принялъ довольно равнодушно, но, когда Глафира сообщила ему о надвигающейся на нихъ грозѣ, онъ задумался.

— Любопытно знать, съ какой стороны Улыбышевъ подойдетъ къ этому дѣлу,—гадалъ Мисаилъ.

— А на что это тебѣ знать надо?

— Чтобы съ этой стороны оградиться.

— Будетъ языкъ-то попусту чесать. Какая тутъ ограда съ одной стороны. Надо сразу со всѣхъ сторонъ ограду сдѣлать, попросту адвоката нанять, половчѣе, да побезстыднѣе; вотъ хоть Лощилова. Отца родного за деньги продастъ.

— Дорого выйдетъ это.

— А все потерять не дорого? Деньги что! Деньги—вздоръ. Плохо, что придется въ наше дѣло чужого человѣка путать.

— А ежели другой манеръ испробовать?

— Какой это?

— Дать Улыбышеву отступного, и все тутъ.

— Не на таковскаго напалъ, хотя попытка не пытка. Попытаться можно. Если бы это выгорѣло, лучше и выдумать ничего нельзя. Я бы сразу двухъ зайцевъ убила.

— Какихъ это двухъ? Одного-то понятно, а кто же другой?

— Петръ, — не стѣсняясь, заявила Глафира, сверкнувъ глазами.—Ужъ отмстила бы я ему за его неблагодарность.

— Раскусила, значитъ. То-то. Давно бы пора.

— Что раскусила-то?— съ презрительной досадой возразила Глафира.— Ничего не раскусила, а ты еще меньше. Не тебѣ о немъ судить.

— Не поймешь тебя,—развелъ руками Мисаилъ. — Сейчасъ одно, а сейчасъ другое...

Глафира поморщилась.

— Ну, ладно, ладно. Не объ томъ рѣчь. Я говорю,— возвратилась она къ прежней темѣ.—Я говорю, не купишь Улыбышева.

— Чего-жъ его не купить-то? Чай, онъ не ангелъ. Денежки-то тоже, чай, любитъ. А у него ихъ не жирно. Въ карты все проигрываетъ. Та-та-та! — осѣнило вдругъ Мисаила.—Семъ-ка я сяду съ нимъ за зеленое поле, да «волка» натравлю. Въ послѣднее время мнѣ здорово везетъ въ карты. Игрокъ онъ азартный. Нагрѣю его. Ужъ не пощажу, а тогда дѣло смазано будетъ.

— А если проиграешься самъ?

— Нынче проиграю, завтра выиграю. Въ картахъ всегда тѣ, кто богаче, выигрываютъ. Это ужъ правило такое. Нынче же приступлю.

Однако Мисаилъ ни въ этотъ день, ни на другой не видѣлъ въ клубѣ Улыбышева, и пока онъ выжидалъ счастливаго случая, Улыбышевъ началъ энергично дѣйствовать.

Прежде всего онъ проѣхалъ къ родственникамъ Похвистневыхъ, братьямъ Глафиры, которые жили на нижнегурскомъ пріискѣ и держали тамъ мелочную лавочку. Улыбышевъ сначала позондировалъ почву и только, когда убѣдился, что съ ними можно безбоязненно вести дѣло и что они не выдадутъ ни Мисаилу, ни Глафирѣ своихъ интересовъ, сообщилъ имъ о томъ, что они, какъ родственники Прасковьи Ильинишны по

мужу, могутъ требовать оглашенія наслѣдства по двумъ оставленнымъ завѣщаніямъ.

Однако, получивъ отъ нихъ довѣренность на веденіе дѣла, онъ взялъ съ нихъ слово держать покуда это дѣло въ тайнѣ и принялся дѣятельно устанавливать родственную связь Прасковьи Ильинишны съ Молотковымъ.

Требовалось документально установить, что покойный Молотковъ былъ единственный братъ Прасковьи Ильинишны и въ случаѣ, если Похвистневы тѣмъ или другимъ путемъ воспрепятствуютъ явкѣ завѣщанія, наслѣдство должно будетъ перейти по закону къ глухонѣмому, какъ ближайшему единственному законному наслѣднику Похвистневой, урожденной Молотковой. Это же обстоятельство давало ему возможность продолжать войну съ Похвистневыми, въ случаѣ, если бы братья вошли съ ограбившими ихъ родственниками въ мировую сдѣлку.

Улыбышевъ поѣхалъ къ глухонѣмому, но глухонѣмой ничего не могъ помочь ему въ этомъ дѣлѣ. Въ эти нѣсколько лѣтъ, которые ему пришлось прожить на пріискѣ, онъ сильно огрубѣлъ, успѣлъ забыть все, чему учился, и съ горя сталъ пить и пропивать въ пріисковыхъ кабакахъ послѣдніе гроши, заработанные тяжкимъ трудомъ. Все, что могъ выпытать отъ него адвокатъ, это что въ Москвѣ есть священникъ, фамилію котораго онъ назвалъ, тотъ самый священникъ, который присутствовалъ при чтеніи завѣщанія у одра умиравшей Прасковьи Ильинишны. Этотъ священникъ зналъ ихъ семью и могъ сообщить всѣ необходимыя свѣдѣнія ему.

Для Улыбышева и этого было вполнѣ достаточно; онъ немедленно послалъ справку въ Москву объ этомъ священникѣ, но священникъ оказался умершимъ за нѣсколько мѣсяцевъ передъ тѣмъ.

Задача, такимъ образомъ, усложнилась и прежде все-

го требовала времени. Между тѣмъ на очереди стояло дѣло Петра, принимавшее для него, благодаря давленію Похвистневыхъ, гораздо худшій оборотъ, чѣмъ это можно было предположить, и грозившее ему чуть не ссылкой въ Сибирь. Однако, Улыбышевъ не допустилъ такого конца, на что потребовалось не только его личное вліяніе, но и вліяніе кое-кого изъ его знакомыхъ среди петербургской знати. Была удостовѣрена самая личность Петра, и, какъ предсказывалъ опытный юристъ, несчастному пришлось поплатиться за преступленіе своихъ родителей десяти-мѣсячнымъ тюремнымъ заключеніемъ, послѣ чего его обѣщали приписать къ обществу смиренскихъ мѣщанъ.

Похвистневымъ пришлось пригласить уже не одного Лощилова, а нѣсколькихъ повѣренныхъ. Надѣяться на то, чтобы выиграть дѣло, было нельзя. Важно было оттянуть его какъ-нибудь за предѣлы десятилѣтней давности, и Глафира съ мужемъ не жалѣли на это денегъ и не гнушались никакими средствами. Опьяненіе борьбы охватило Глафиру, и она сама сравнивала себя мысленно съ лошадью, которая не ради приза, а ради самолюбія желаетъ обогнать свою соперницу на скачкахъ, хотя бы пришлось грохнуться замертво съ пѣной у рта, дойдя до желанной цѣли.

Приходилось подкупать чиновниковъ, которые выкрадывали нужные документы; противъ Улыбышева возбуждались нелѣпыя обвиненія и вымышленныя уголовныя дѣла. Обвиненія, конечно, поднимались и падали, но тѣмъ не менѣе, на борьбу съ ними приходилось тратить силы и время. Всѣ лица, оказывавшія Улыбышеву хоть малѣйшее законное содѣйствіе, были немедленно увольняемы со службы.

Борьба шла не на жизнь, а на смерть.

Ольга, дочь Улыбышева, также помогала отцу, какъ могла.

Улыбышеву надо было во что бы-то ни стало, между

прочимъ, добыть довѣренность Анфисы на веденіе ея дѣла о завѣщанномъ ей наслѣдствѣ.

Проникнуть въ монастырь Улыбышеву не представлялось никакой возможности, и вотъ дочь его вызвалась помочь отцу.

Заранѣе составивъ вмѣстѣ съ отцомъ опредѣленный планъ, она рѣшительно принялась его приводить въ исполненіе.

Это было ровно черезъ годъ послѣ описанной катастрофы въ отношеніяхъ Глафиры съ Петромъ.

Ольга подъѣхала къ монастырю въ простыхъ извощичьихъ саняхъ, какъ всегда скромно одѣтая и попросила свиданія съ игуменьей.

Поздняя обѣдня въ праздничный день отошла.

Хоръ монахинь дружно пропѣлъ «Спаси Господи люди Твоя», и молящіеся стали расходиться.

Монахини и послушницы одна за другой чинно подходили къ игуменьѣ, низко въ поясъ кланялись, сложивши на груди руки, и тихо уходили.

Ольга старалась угадать среди нихъ Анфису и не могла: среди послушницъ не мало было молодыхъ лицъ, кроткихъ и печальныхъ, и каждое лицо останавливало на себѣ вниманіе дѣвушки.

— Она, — то и дѣло говорила себѣ Улыбышева. — Нѣтъ, вѣроятно вонъ та. Нѣтъ, вонъ эта.

Сердце ея билось. Она давно уже не была въ храмѣ, со школьной скамьи. А прежде была очень религіозна. Улыбышева смотрѣла на богатое убранство монастыря, на строгія иконы, передъ которыми монахини гасили плачущія воскомъ свѣчи, и ей непріятно было думать, что она должна лгать и играть передъ игуменьей комедію здѣсь, при этихъ безмолвныхъ свидѣтеляхъ, взирающихъ со стѣнъ и изъ серебрянныхъ и золотыхъ ризъ, украшенныхъ тамъ и сямъ драгоцѣнными каменьями.

Порой она ловила на себѣ украдкой брошенный изъ-

подъ опущенныхъ рѣсницъ взглядъ то одной, то другой монахини.

Взгляды молодыхъ монахинь казались порой завистливы, старыхъ—недоброжелательны, но и тѣ и другіе, казалось, молча спрашивали ее: чего же ты остаешься въ храмѣ? Твое мѣсто не здѣсь. Твое мѣсто тамъ, гдѣ царитъ молодость, красота и страсти, а не отреченіе отъ нихъ.

— Могу-ли я говорить съ игуменьей? — спросила Ольга одну изъ немногихъ, оставшихся въ храмѣ монахинь, проходившую мимо нея.

— Съ мать-игуменьей, — строго поправила монахиня, почти не глядя на Ольгу и не поднимая своего блѣднаго, худого, очевидно, рано состарившагося лица.

— Да, да, именно, — съ мать-игуменьей.

Монахиня подошла съ поклономъ къ мать-игуменьѣ и тихо прошептала ей что-то.

Игуменья перестала перебирать четки и оглянулась въ ту сторону, гдѣ стояла Ольга.

Въ ту же минуту монахиня подошла къ Ольгѣ и передала ей соизволеніе игуменіи.

Ольга двинулась къ ней и, не смотря на то, что она ступала легко мягкими подошвами своихъ калошъ, ей казалось, что она стучитъ въ храмѣ до неприличія громко по этимъ гладкимъ каменнымъ плитамъ пола, въ то время, какъ игуменья, казалось, не шла, а скользила къ ней безшумно, какъ черная тѣнь.

— Что вамъ угодно? — коснулся слуха Ольги тихій, но твердый голосъ.

Ольга взглянула въ спокойное, словно высѣченное изъ сѣраго камня лицо игуменьи, на которомъ нельзя было прочесть лѣтъ, и проговорила:

— Мнѣ необходимо серьезно поговорить съ вами.

Игуменья внимательно взглянула на нее и ни слова не сказала.

— Я бы хотѣла поступить въ монастырь, — краснѣя до корней волосъ, пролепетала дѣвушка.

— Постричься, или только на послушаніе?

— Пока только на послушаніе.

Не выразивъ и тѣни изумленія на своемъ лицѣ, игуменья попросила ее слѣдовать за собою и вступила боковымъ входомъ въ садъ.

Въ этотъ день уже Ольга не вышла изъ воротъ монастыря, она осталась тамъ вольной послушницей, то-есть обязалась вносить каждый мѣсяцъ сто рублей и жить въ монастырской кельѣ съ правомъ покинуть монастырь когда угодно.

Въ первую недѣлю своего пребыванія въ монастырѣ Улыбышева совсѣмъ не видѣла Анфисы. Чтобы не навлекать на себя никакихъ подозрѣній, она даже не спрашивала никого объ этой послушницѣ. Монастырская жизнь совершенно поглотила ее своей новизной и оригинальностью, и она безъ всякаго принужденія отдавалась тѣмъ правиламъ, которыя требовали съ ея стороны подчиненія. Ольга увлекалась своей ролью и, такъ-сказать, входила въ нее всѣмъ своимъ существомъ, какъ юная и впечатлительная артистка.

Ея отецъ и Петръ въ это время усердно дѣйствовали въ Москвѣ и слѣдовательно ей некуда было спѣшить и рваться изъ монастыря. У ней была своя келья, принудительной власти она надъ собою не чувствовала, а порядокъ, тишина и смиреніе монастырской жизни дѣйствовали на ея приподнятое настроеніе до того успокоительно, что порою ей начинало казаться, будто она здѣсь находится не изъ-за корыстныхъ побужденій, а единственно изъ желанія отдохнуть душой отъ суетной мірской жизни.

Ровно черезъ недѣлю, въ воскресенье, она выходила отъ поздней обѣдни вмѣстѣ съ прочими монахинями и послушницами и обратила вниманіе на одно новое лицо, которое она не видѣла до сей поры ни въ церкви,

ни на послушаніи. Это была лѣтъ шестнадцати молодая дѣвушка съ забитымъ и испуганнымъ лицомъ, блѣднѣвшая и измѣнявшаяся каждый разъ, какъ къ ней обращалась игуменья, или сестра Смарагда, у которой была эта дѣвушка въ подчиненіи.

— Я до сихъ поръ ни разу не видѣла здѣсь васъ,— обратилась къ ней Ольга на церковной паперти.

Дѣвушка вздрогнула и быстро отвѣтила:

— А я въ прядильнѣ была.

— А развѣ прядильня не здѣсь?

— Нѣтъ, она въ двухъ верстахъ отсюда,—тихо и какъ бы сконфуженно отвѣтила дѣвушка.

Ольга слышала, что въ прядильню обыкновенно ссылали провинившихся въ чемъ-нибудь, такъ какъ работа тамъ была очень тяжела и вредна для здоровья. Но она не подала молодой послушницѣ вида, что знаетъ это и спросила:

— Что же, вы тамъ всегда работаете?

— Да... часто.

— То-то я не видѣла васъ здѣсь.

Дѣвушка молчала. Ольга сказала:

— Я сама здѣсь недавно. Всего недѣлю.

— А-а... Съ воли?

— Да, съ воли. А вы?

Дѣвушка сдѣлала видъ, что не слышитъ вопроса и потупилась.

— А теперь вы здѣсь будете на послушаніи?—спросила Ольга.

— Да, покуда здѣсь.

— Гдѣ-же ваша келья?

Дѣвушка показала на крошечную келейку, стоявшую особнякомъ вдали около самаго кладбища. Всѣ послушницы жили въ одномъ помѣщеніи съ монахинями, причемъ у каждой монахини была особо отгороженная келейка съ общимъ для всѣхъ корридоромъ. Монахини спали на жесткихъ кроватяхъ, а послушницы на

полу, часто безъ всякой даже подстилки и только платныя имѣли особыя кельи, какъ Ольга.

— Что это вамъ пришло въ голову нанять келью почти на самомъ кладбищѣ?—полюбопытствовала Ольга.

Дѣвушка снова промолчала. Только взглядъ ея сѣрыхъ глазъ блеснулъ не то испугомъ, не то недовѣріемъ.

— Неужели вамъ не страшно?

— Ахъ, зачѣмъ вы обо всемъ этомъ спрашиваете меня?—вырвалось у молоденькой послушницы.—Зачѣмъ? И кто вы такая сами?

— Меня зовутъ Ольга. Я здѣсь временно.

— Вы такъ не похожи на другихъ. У васъ такой добрый голосъ,—быстро заговорила дѣвушка, несмѣло притрогиваясь къ рукаву Ольги.—Со мной здѣсь такъ никто не разговариваетъ. Я измучилась вся.

Голосъ ея дрогнулъ, и почти дѣтское лицо перекосилось жалостной гримасой; она едва удержалась отъ слезъ.

— У васъ и лицо совсѣмъ другое, чѣмъ у здѣшнихъ. Вы барышня. Я вижу, что вы не съ дурной цѣлью спрашиваете меня. Ну, да, да, я сама вижу это. Мнѣ хочется все высказать. Я вамъ все скажу, только не здѣсь, идите куда-нибудь. До трапезы еще долго.

— Хотите къ вамъ?

— Нѣтъ, нѣтъ, тамъ сестра Смарагда. Да и не хорошо у меня. Окно на самое кладбище выходитъ: все кресты, да могилы. Я по ночамъ не сплю, покойниковъ боюсь. Ахъ, Господи, Господи!—вырвалось у ней, и долго накипавшія слезы хлынули изъ глазъ.

Ольга поспѣшила взять ее за руку, сама испуганная этой неожиданной и печальной сценой.

— Пойдемте, пойдемте,—заторопила она дѣвушку.— Пойдемте ко мнѣ. Я здѣсь помѣщаюсь одна.

Они вошли на крыльцо маленькаго деревяннаго домика, уютнаго даже снаружи.

— Я не знаю, какъ васъ звать, — проговорила на ходу Ольга, смутно угадывая, что дѣвушка именно та, кого ей нужно.

— Меня зовутъ Анфиса, — прошептала ея гостья, робко оглядываясь назадъ: не слѣдитъ-ли кто за нею. — Я отъ Похвистневыхъ. Слышали, чай, про нихъ.

— Да, да, мнѣ именно васъ и нужно. А моя фамилія Улыбышева. Ольга Улыбышева.

Анфиса широко открыла глаза, словно ей въ лицо ударилъ снопъ свѣта, и остановилась, пораженная, держась за косякъ двери. Вдругъ, она сдѣлала движеніе, какъ будто хотѣла убѣжать назадъ, но Ольга схватила ее за талію и почти силой ввела въ свою скромную каморку.

— Милая моя! Голубка моя, дѣточка, — ласково говорила она, усаживая на постель Анфису, какъ старшая сестра и отирая платкомъ ея худое и блѣдное личико, по которому струились обильныя слезы.— Успокойтесь, успокойтесь. Я — вашъ другъ. Я пришла къ вамъ съ хорошими вѣстями.

Но Анфиса по-дѣтски всхлипывала и только выпивъ нѣсколько глотковъ холодной воды, успокоилась и забормотала:

— Простите. Это я сама не знаю почему. Можетъ быть, отъ радости. Больше не буду. Благодарю васъ. Благодарю.

Она хватала руки Ольги, желая ихъ поцѣловать, но Ольга обняла ее и сама заплакала вмѣстѣ съ нею.

Такъ плакали онѣ, какъ два ребенка, охваченныя тяжелыми, но скорѣе радостными, чѣмъ грустными чувствами, почти не зная другъ друга, но полныя взаимнаго довѣрія и любви.

Анфиса разсказала ей, какъ больше года тому назадъ, ее, еще дѣвочку, Глафира Похвистнева помѣстила

въ этотъ монастырь. Бѣдная дѣвушка, имѣя врожденный страхъ къ кладбищу и покойникамъ, должна была жить возлѣ могилъ. Долго плакала и терзалась несчастная Анфиса, нѣсколько разъ порывалась бѣжать куда глаза глядятъ изъ монастыря, но ее каждый разъ возвращали и жестоко наказывали. Анфиса стала смирнѣе и, наконецъ, поняла, что ей, бездомной сиротѣ, бороться съ такими сильными людьми, какъ Похвистневы, невозможно, такъ-какъ она безъ паспорта, неизвѣстно кто, гдѣ родилась, какого званія, нигдѣ не прописана и каждый разъ при бѣгствѣ ее ожидало шествіе этапнымъ порядкомъ.

Понявъ все свое безсиліе, Анфиса покорилась страшной неизбѣжности и изъявила согласіе исполнить желаніе Похвистневыхъ, постричься. Предполагалось, что Похвистневы исходатайствуютъ разрѣшеніе на постриженіе и что недостатокъ лѣтъ такимъ образомъ не будетъ служить препятствіемъ.

Покуда же, чтобы окончательно убить въ ней волю и даже разсудокъ, ее запугивали мертвецами и другими ужасами, употребляли на черныя работы, такъ-какъ никакого ремесла она не знала. Вся эта жизнь, похожая на бредъ, въ связи съ монастырскими постами и наказаніями за малѣйшія провинности, надорвала ее. Она превратилась въ совершенно безвольное и безгласное существо и покорно исполняла самыя тяжелыя монастырскія работы, работала въ полѣ, мыла полы.

Въ такомъ состояніи нашла ее Ольга и не сразу рѣшилась передать ей причины этого гоненія, но даже и послѣ того, какъ Анфиса значительно успокоилась и пришла въ себя, сообщеніе Ольги объ истинномъ положеніи дѣлъ прежде всего до того испугала бѣдную и запуганную полумонахиню, что она не въ состояніи ничего была выговорить и только, глядя на Ольгу, повторяла все одно и то же:

— Нѣтъ, нѣтъ, не надо. Что вы! Какія деньги!

Не надо. Мнѣ ничего не надо. Я ничего не хочу. Если они узнаютъ, они замучаютъ меня.

Она, дрожа всѣмъ тѣломъ, оглядывалась кругомъ, точно боялась, что и самыя стѣны могутъ услышать ее и выдать ея тайну гонителямъ.

Ольгѣ стоило много труда уговорить Анфису согласиться на то, чтобы вызвать на помощь Улыбышева и обѣщать ему выдать довѣренность на веденіе дѣла, а покуда все хранить въ тайнѣ.

— Ахъ, Господи, Господи, — вся трепеща отъ внутренняго безпокойства, шептала дѣвушка. — Гдѣ же мнѣ бороться съ ними? Горе! Только одно горе изъ этого выйдетъ. Ахъ, Господи, Господи! И зачѣмъ это вы сказали мнѣ. Не принесетъ это мнѣ радости. Не принесетъ. Погубитъ только.

— Да нѣтъ же, нѣтъ. Дѣло это вѣрное. Вѣдь я же объяснила вамъ, — горячо убѣждала ее Ольга. — Вы, безъ сомнѣнія, получите все, что вамъ слѣдуетъ, а если бы и не получили, все равно, хуже того, что есть теперь, съ вами ничего уже случиться не можетъ. Я, сама я буду охранять васъ.

— Да, да, не покидайте меня. Не отходите. А то я умру здѣсь со страха безъ васъ. Со мной страхомъ все могутъ сдѣлать. На четвереинькахъ ходить и по кошачьи мяукать. Не своя я, а чужая стала. Кто и какъ хочетъ можетъ помыкать мной. Вотъ вы сказали, я и васъ слушаю. Знаю, знаю, что вы не хотите мнѣ зла, добрая вы, хорошая. Позвольте мнѣ любить васъ. Я васъ уже съ тѣхъ поръ полюбила, какъ онъ васъ полюбилъ!—вырвалось у нея помимо воли, и она сама испугалась своей смѣлости и ушла въ себя вся вмѣстѣ съ своими большими, сѣрыми испуганными глазами.

Ольга тоже покраснѣла и смутилась. Она никакъ не ожидала, что объ этомъ знала эта чистая и несчастная дѣвушка, которая, вдругъ, ей стала еще дороже послѣ

этихъ словъ, и она даже почувствовала къ ней что-то вродѣ благоговѣнія, какъ къ святой мученицѣ.

— Клянусь вамъ, что я не допущу никогда васъ обидѣть!—торжественно и твердо проговорила Ольга, оборачиваясь къ иконѣ Богоматери, передъ которой теплилась лампада.—Клянусь, что бы ни случилось, вы всегда будете имѣть во мнѣ старшую сестру и свою защитницу.

— Ахъ, нѣтъ, не клянитесь. Не надо. Я и такъ вѣрю, — смущенно забормотала Анфиса, довѣрчиво и ясно глядя въ глаза заступницы своимъ тихимъ и ласковымъ взглядомъ.

Только черезъ три мѣсяца пріѣхалъ, вызванный телеграммой Ольги изъ Москвы, Улыбышевъ. Повидавшись съ дочерью и узнавъ отъ нея все, онъ явился къ игуменьѣ и на чистоту объяснилъ, что Анфисѣ слѣдуетъ большое наслѣдство, что Похвистневы ей совсѣмъ чужіе (въ монастырѣ было извѣстно, что Анфиса — племянница Похвистневымъ и ее даже называли Анфиса Похвистнева), что Похвистневы завладѣли имѣніемъ Анфисы. Наконецъ, онъ заявилъ, что игуменья, замѣняя ей мать, должна заступиться за сироту и помочь ей получить наслѣдство. Ольга во время этихъ переговоровъ была ни жива, ни мертва. Игуменья, будучи въ затруднительномъ положеніи, собрала монастырскій совѣтъ, который выразилъ сомнѣніе въ существованіи наслѣдства и высказалъ, что процессъ съ Похвистневыми лишитъ Анфису кельи, стоющей триста рублей, а монастырь — ста рублей за годъ, а можетъ быть еще и по сто рублей за будущіе года.

Тогда Улыбышевъ предложилъ оставить въ монастырской кассѣ тысячу рублей на келью и обязательство выдавать по сто рублей въ мѣсяцъ впредь до окончанія дѣла. Совѣтъ, видя, что процессъ, даже и при проигрышѣ, выгоденъ Анфисѣ, посовѣтывалъ ей начать процессъ.

Однако мать Смарагда, приставленная къ Анфисѣ не столько игуменьей, сколько Глафирой, получавшая отъ Глафиры за свои строгости и наблюденія надъ дѣвушкой солидныя подачки и послѣ совѣта стала смущать игуменью. Дѣло кончилось тѣмъ, что рѣшено было послать къ Похвистневымъ мать-казначейшу, чтобы выспросить все относительно наслѣдства, но выспросить тайно, не упоминая объ адвокатѣ и обѣщанной ему довѣренности Анфисы на веденіе дѣла противъ нихъ.

Какъ ни наивно было это рѣшеніе, но игуменья разсчитывала на то, что если Похвистневы дѣйствительно владѣютъ имуществомъ Анфисы, они, можетъ быть, согласятся добровольно уступить если не все это наслѣдство, то хоть часть его—наслѣдницѣ.

Бороться съ милліонерами Похвистневыми боялся даже богатый и нисколько независимый отъ нихъ монастырь.

Но Глафира не желала дѣлать никакихъ уступокъ и очень высокомѣрно отвѣтила матери-казначейшѣ:

— Что такое? Наслѣдство! Ха-ха-ха... Анфисѣ наслѣдство! Не съ дохлой-ли суки наслѣдство ей въ руки! Никакого наслѣдства и въ поминѣ даже нѣтъ. Гроша ломанаго ни съ кого не приходится. Откуда пришли, туда и идите. А изъ милости къ сиротѣ я, пожалуй, десять цѣлковыхъ жертвую ей на одежонку и обувь. Износилась небось.

Мать-казначейша смиренно приняла подачку, но Глафира ошиблась, что напугала монахиню и что та, въ свою очередь, напугаетъ весь монастырь отвѣтомъ Глафиры. Мать-казначейша была до глубины души оскорблена и возмущена этимъ пріемомъ, особенно же грубой и непристойной прибауткой Глафиры и передала все дословно игуменьѣ.

Только тогда игуменья рѣшила спросить обо всемъ Анфису въ присутствіи Улыбышева.

— Желаешь ты поручить дѣло о своемъ наслѣдствѣ вотъ этому господину адвокату? — спросила ее игуменья въ присутствіи всѣхъ членовъ совѣта.

Дѣвушка запнулась было и даже по привычкѣ хотѣла взглянуть на мать-Самарагду, но встрѣтила повелительный взглядъ Ольги и отвѣтила:

— Желаю. Да только мнѣ страшно, страшно. А ну какъ они пріѣдутъ. Вѣдь у меня никакихъ бумагъ нѣтъ. Никакого вида на жительство.

— Монастырскія стѣны защитятъ, — ободрила ее игуменья, которую тоже стала прельщать эта выгодная для монастыря сдѣлка.

— Согласна!—твердо повторила дѣвушка.—Только... Только...— нерѣшительно прибавила она.—Все же было бы лучше, если бы какой-нибудь чиновникъ меня защищалъ въ случаѣ, если они пріѣдутъ. А то и такъ боюсь ихъ, что на мѣстѣ умру, если ихъ увижу.

— Но вѣдь мы здѣсь. Мы не дадимъ тебя въ обиду, — возразили монахини.

— Ахъ, и все-таки я буду бояться. Пріѣдутъ, умру, умру, умру, — блѣднѣя, говорила она.

— Но вѣдь я буду тутъ, — сказала на это Ольга.

— Нѣтъ, тебѣ уже здѣсь оставаться нельзя,—остановилъ ее тихо, но рѣшительно отецъ.

Анфиса тогда испугалась еще болѣе. Чтобы какънибудь успокоить ее, тутъ же предложено было монастырскому священнику, который также участвовалъ въ совѣтѣ, принять дѣвушку подъ свою охрану, но священникъ не согласился.

— Куда намъ... Мы люди маленькіе, — отнѣкивался онъ.—Похвистневы захотятъ, въ бараній рогъ согнутъ меня.

Тогда совѣтъ сталъ придумывать, къ кому бы изъ чиновниковъ обратиться. Выборъ остановился на податномъ инспекторѣ, человѣкѣ честномъ и прямомъ. И вотъ мать-казначейша, Анфиса и Улыбышевъ явились

къ податному инспектору, который, выслушавъ дѣло, совѣтовалъ Анфисѣ немедленно заключить съ Улыбышевымъ условіе, но въ охраненіи Анфисы отъ Похвистневыхъ отказалъ, въ виду того, что собирается уѣзжать изъ Смиренска и ожидаетъ лишь прибытія другого на свое мѣсто и совѣтовалъ обратиться къ судебному слѣдователю.

На другой день Анфиса, мать-игуменья и мать-казначейша объявили Улыбышеву, что они уполномочили судебнаго слѣдователя Топорова заключить съ нимъ договоръ и что Топоровъ согласился принять подъ свою охрану Анфису отъ Похвистневыхъ, а потому и просили Улыбышева явиться съ документами къ Топорову.

Послѣ этого Улыбышевъ уже не видѣлъ ни игуменьи, ни казначейши, ни Анфисы и велъ переговоры съ Топоровымъ.

Вдругъ, онъ получилъ письмо отъ дочери, въ которомъ та съ отчаяніемъ писала, что черезъ мѣсяцъ послѣ его отъѣзда судебный слѣдователь Топоровъ, «опекунъ» Анфисы, отослалъ ее къ Похвистневымъ.

Улыбышевъ бросился въ Смиренскъ, но было уже поздно: Анфиса въ день пріѣзда къ Похвистневымъ нотаріальнымъ договоромъ, совершеннымъ у смиренскаго нотаріуса, продала все свое милліонное наслѣдство Похвистневымъ за три тысячи рублей, подала въ уральское правленіе и горянскую палату прошеніе объ уничтоженіи данной ею Улыбышеву довѣренности, а горянскому губернскому прокурору—о привлеченіи Улыбышева къ уголовной отвѣтственности за то, что онъ будто бы путемъ угрозы принудилъ Анфису выдать договоръ, который она и просила вытребовать для уничтоженія.

Улыбышевъ пришелъ въ бѣшенство, получивъ столь неожиданный сюрпризъ. Губернскій прокуроръ потребовалъ отъ него объясненія, которое тотъ далъ черезъ полицію и, выяснивъ всю суть дѣла присово-

купилъ, что во время выдачи договора не былъ даже въ Смиренскѣ, гдѣ не видѣлъ ни Анфисы, ни игуменьи, ни ихъ знакомыхъ. Прокуроръ, конечно, дѣло прекратилъ и посовѣтовалъ Улыбышеву привлечь Анфису къ отвѣтственности за ложный доносъ. Но Улыбышевъ не могъ сомнѣваться, зная Анфису, что жалобу писала не она и подписала ужъ, конечно, не по доброй волѣ и преслѣдовать ее,—значило бы бить не виновнаго, а одинаково пострадавшаго.

Похвистневы на время восторжествовали, но Улыбышеву нѣкогда было разбивать это торжество, и онъ обратилъ всѣ свои силы въ сторону глухонѣмого и, отчасти, сонаслѣдниковъ его. Но и тутъ Улыбышеву пришлось натолкнуться на сюрпризъ со стороны Похвистневыхъ, хотя этотъ сюрпризъ былъ сдѣланъ Похвистневыми слишкомъ спѣшно и опрометчиво и только повредилъ имъ.

Пріѣхавъ на пріискъ къ глухонѣмому Молоткову, Улыбышевъ уже не засталъ его въ той конурѣ, гдѣ онъ пребывалъ еще такъ недавно въ одиночествѣ. Ему указали на сносный деревянный флигель, куда переселился его довѣритель, и это обстоятельство показалось ему нѣсколько зловѣщимъ.

— Тутъ опять какая-нибудь гадость, — сказалъ онъ Петру, сопровождавшему его во всѣхъ почти путешествіяхъ въ качествѣ личнаго секретаря и умнаго, дѣльнаго помощника.

— Да, пожалуй.

На крыльцѣ этого флигелька ихъ встрѣтила рябая, скулистая баба съ мокнущими злыми глазами, старообразная и довольно грязная.

— Чего вамъ? — не особенно привѣтливо остановила она гостей.

— А намъ бы, красавица, надо Василія Парфеновича Молоткова повидать, — насмѣшливо отвѣтилъ Улыбышевъ.

— А для чего онъ вамъ понадобился?

— Ну, ужъ это не ваше дѣло.

— Какъ же это не мое, коли онъ мужъ мой.

Оба посѣтителя опѣшили и быстро переглянулись другъ съ другомъ.

— Вотъ какъ! — Давно ли онъ женился? — уже болѣе мягкимъ тономъ спросилъ Улыбышевъ.

— Почитай что недѣлю.

— Недавно. Ну, честь имѣю поздравить! — снявъ шляпу, изыскано раскланялся Улыбышевъ.—Да только что же это мы въ сухую-то поздравляемъ. Не позволите ли послать за водочкой и выпить за ваше здоровье.

Новобрачную очевидно подкупило такое обращеніе и она пригласила гостей въ горницу, забывъ завѣтъ Похвистневыхъ не допускать никого къ глухонѣмому.

Они застали Василія врасплохъ. Онъ сидѣлъ за столомъ и передъ нимъ стояла бутылка водки съ солеными огурцами въ видѣ закуски и двѣ рюмки. Очевидно, съ нимъ раздѣляла компанію подруга его жизни. Этотъ большого роста парень съ туповатымъ, унылымъ лицомъ и подернутыми хмѣльнымъ туманомъ глазами, мало напоминалъ того вдумчиваго, робкаго мальчика, который нѣкогда лѣпилъ дѣвочкѣ ангеловъ изъ воска. Нищета, униженіе и роковые физическіе недостатки сдѣлали свое дѣло. Приниженность и забитость сказывались во всемъ его существѣ.

При видѣ Улыбышева и Петра онъ сильно смутился и очевидно радъ былъ убѣжать куда ни попало, чтобы скрыться отъ нихъ. Его большая непричесанная голова какъ-то странно замоталась, не то кивая гостямъ, не то выражая помимо воли свое смущеніе и даже испугъ.

Петръ и Улыбышевъ переглянулись: оба еще болѣе увѣрились, что дѣло не ладно.

— Что же ты не больно ласково гостей-то встрѣчаешь? — уперши правую руку въ бокъ, съ насмѣш-

ливой развязностью спросила глухонѣмого жена, поглядывая то на него, то на гостей.

Глухонѣмой словно разслышалъ ея слова и засуетился подставляя стулья гостямъ.

— Испугался,—продолжала баба, подмигнувъ имъ глазомъ.— Испугался, чтобы не вышло какого камуфлета. А какой тутъ камуфлетъ! Каждый своимъ добромъ какъ хочетъ, такъ и распоряжается.

Она вызывающе поглядѣла на Улыбышева, словно хотѣла показать ему, что она баба умная, бой и, какъ говорится, не лыкомъ шита.

— Натурально,—подтвердилъ съ серьезнымъ лицомъ Улыбышевъ и совершенно неожиданно для Петра прибавилъ.—Такъ-то оно такъ, да продешевили вы ужъ больно. Сами себя нагрѣли.

— А откуда это вамъ извѣстно?—подозрительно спросила баба.

— Это ужъ наше дѣло. Ну, да я вѣдь не ссориться пришелъ. Лучше давайте-ка вотъ сядемъ рядкомъ, да потолкуемъ ладкомъ.

Онъ первый сѣлъ на стулъ, а за нимъ сѣли и всѣ остальные.

Появилась водка и завязалась бесѣда. Улыбышевъ, еще ничего не зная, а только подозрѣвая, что Похвистневы и тутъ успѣли отрѣзать пути къ борьбѣ съ ними, осторожно сталъ наводить на эту тему жену Василія. Въ то же самое время Петръ въ сторонѣ повелъ бесѣду съ глухонѣмымъ на его подвижномъ языкѣ, которому успѣлъ уже выучиться давно. Глухонѣмой боязливо поглядывалъ сначала на жену, а затѣмъ быстро и откровенно разсказалъ, какъ женили его Похвистневы въ пьяномъ видѣ и какъ заставили подписать мировую сдѣлку съ ними, пообѣщавъ за все десять тысячъ.

То же самое удалось узнать и Улыбышеву съ тою только разницею, что адвокатъ узналъ всѣ условія,

которыми сопровождалась эта сдѣлка. Это скорѣе было отреченіе и продажа будущаго еще не открывшагося наслѣдства: Молотковъ уступалъ Похвистневымъ все, могущее открыться имущество, въ чемъ бы таковое не состояло, и отъ него отказывался навсегда, за то и получалъ десять тысячъ рублей.

Похвистневы попали тутъ въ просакъ. Только злѣйшій врагъ могъ посовѣтывать имъ совершить такую сдѣлку, такъ-какъ условіе не было даже подписано свидѣтелями, что въ виду глухонѣмоты Василія разрушало договоръ. Мало того, сдѣлка эта была недѣйствительна еще и потому, что глухонѣмой находился подъ попечительствомъ и слѣдовательно былъ неправоспособенъ, и подобный договоръ еще преслѣдуется закономъ. Наконецъ, отреченіе отъ наслѣдства производится на судѣ и никакого другого способа отреченія законъ не предусматриваетъ. Значитъ, Молотковъ, будучи даже нормальнымъ человѣкомъ, имѣлъ бы право предъявить искъ о наслѣдствѣ. Эта сдѣлка, являясь безусловно недѣйствительною, вполнѣ характеризовала положеніе дѣла. Улыбышеву не понадобилось много труда, чтобы доказать глухонѣмому и его женѣ, насколько невыгодно для нихъ это отреченіе и только тогда, когда жадная баба, всплеснувъ руками, сама выкликнула въ отчаяніи:

— Такъ что-жъ теперь подѣлаешь... Оплели они насъ, проклятые!

Улыбышевъ поспѣшилъ увѣрить ее, что наоборотъ, всѣ козыри въ ея рукахъ и пріобрѣлъ въ ней вѣрную союзницу себѣ.

— Вы женщина умная, — прибавилъ онъ, уходя, — и сами понимаете, что это въ вашихъ интересахъ. Но за дверью не выдержалъ и, топнувъ въ досадѣ ногою, воскликнулъ, когда они очутились вдвоемъ съ Петромъ:

— Проклятіе имѣть дѣло съ такими идіотами! Ну,

да нѣтъ худа безъ добра. Теперь мы почти у пристани. И вы тоже съ Олей, — добавилъ онъ съ привѣтливой улыбкой.

За это время онъ успѣлъ еще болѣе узнать и полюбить Петра и, если у него прежде было кое-какое сомнѣніе относительно предстоящаго брака, теперь онъ ни на минуту не сомнѣвался, что обоимъ молодымъ людямъ этотъ бракъ принесетъ счастье, а ему дастъ возможность не разлучаться съ дочерью, имѣя въ Петрѣ своего ближайшаго помощника, очень начитаннаго и уже въ достаточной степени образованнаго въ той области, гдѣ ему приходилось теперь работать.

## XVI.

По ходатайству Улыбышева правительствующій сенатъ учредилъ надъ Молотковымъ попечительство. Улыбышевъ теперь меньше, чѣмъ когда бы то ни было, сомнѣвался въ томъ, что выиграетъ дѣло, такъ-какъ эта сдѣлка представляла наглядно и неоспоримо Молоткову упомянутыя въ ней права на наслѣдство. Улыбышевъ, боясь новыхъ подвоховъ и даже преступленій со стороны Похвистневыхъ, преступленій, направленныхъ противъ Молоткова, перевезъ его въ свое имѣніе въ Саратовской губерніи, гдѣ учредилъ надъ нимъ строгій надзоръ впредь до окончанія дѣла.

Узнавъ о своемъ промахѣ и готовившемся имъ ударѣ, Похвистневы вздрогнули. Однако они и не думали сдаваться. Наоборотъ Глафирой овладѣло бѣшенство. Она какъ бы опьянѣла отъ многолѣтней борьбы и скорѣе готова была сжечь себя живою, чѣмъ уступить своимъ врагамъ. Деньги были для нея теперь дѣломъ второстепеннымъ. Важно было мстительное чувство. Она готова была все, что имѣла, употребить на подкупъ, лишь бы насытить, удовлетворить это чувство, разъѣдавшее

ея сердце, какъ ядъ. По цѣлымъ днямъ она совѣтывалась съ адвокатами и принимала разныхъ чиновниковъ, бросая деньги направо и налѣво, чтобы только измыслить какую-нибудь ловушку для своихъ враговъ. Мисаилъ почти не вмѣшивался въ ея дѣйствія. При послѣднемъ извѣстіи, угрожавшемъ большою опасностью, онъ совсѣмъ растерялся и опустилъ руки.

Помимо этихъ средствъ, Глафира прибѣгала еще къ другимъ, которыя, конечно, оставляла втайнѣ. Такъ она заставляла своихъ странницъ молиться объ ея успѣхѣ и сама призывала всякое зло на головы ненавистныхъ ей людей, особенно же Улыбышевой и Петра. Какъ-то до нея дошелъ слухъ, что они повѣнчались въ Петербургѣ, и эта вѣсть, какъ выразилась про себя Глафира, укусила ее въ сердце, какъ бѣшеная сообака. Эти два образа, дразнящіе ее своимъ счастіемъ, преслѣдовали ее и на яву и во снѣ. Она хотѣла всѣми силами избавиться отъ нихъ и не могла. Она пробовала напиваться, но тогда чувства ея доходили до галлюцинацій. Эта ненависть грозила ей обратиться въ манію. Глафира сама боялась такого исхода больше всего. Ужасающій образъ безумнаго Кирилла въ его послѣдніе дни не выходилъ у нея изъ памяти. Она не могла спать въ комнатѣ одна и безъ свѣта. Сны ея были тревожны и похожи на бредъ.

Однажды Глафира, утомленная особенно тревожнымъ днемъ, заснула и увидѣла съ поразительной яркостью, со всѣми его мелочами когда-то видѣнный ею сонъ. Этотъ сонъ потрясъ ее до глубины души. Глафира проснулась въ невыразимомъ испугѣ.

Въ первое мгновенье ей показалось, что она впервые видитъ этотъ сонъ, точно послѣ него ничего и не было, но тѣмъ страшнѣе показался онъ ей, когда она окончательно очнулась. Глафира задрожала и дикимъ, испуганнымъ взоромъ оглянулась вокругъ. Такъ же, какъ тогда, за старинной образницей горѣла большая

неугасимая лампада. Свѣтъ и тѣни точно обнимались кругомъ и дремали въ углахъ и углубленіяхъ, какъ тихія привидѣнія, сторожащія покой. Какъ и тогда, на полу, въ ногахъ у ней, простиралась чья-то фигура, прикрытая байковымъ одѣяломъ вплоть до подбородка, но только это уже была другая странница, по имени Виталія, представлявшая полную противоположность по характеру той старушкѣ, которой нѣкогда Глафира разсказывала свой сонъ. Виталія была сильная и властная натура, которую Глафира не только уважала, но и боялась, даже находилась подъ ея вліяніемъ.

Глафира вспомнила все и едва сдержала крикъ ужаса и душевной боли, который разрывалъ ея сердце. Она съ поразительной ясностью поняла только теперь, только въ этотъ мигъ, что боролась такъ долго не съ внѣшними врагами, а съ собою, и что, въ концѣ-концовъ, она побѣждена ими.

Пусть теперь побѣдитъ она тѣхъ враговъ. Побѣда не принесетъ ей покоя, а, пожалуй, наоборотъ еще сильнѣе придавитъ ее. Два злѣйшихъ врага ея, съ которыми она тщетно боролась, которыхъ она носила неизмѣнно въ себѣ и поила своею кровью, два злѣйшихъ врага ея,— совѣсть и любовь,—оказались побѣдителями и грозно сказали ей о побѣдѣ этимъ мучительнымъ, туманнымъ сномъ.

— Виталія,—прошептала она воспаленными губами.— Виталія!

Черная голова съ жидкими, выбившимися изъ подъ повойника волосами, поднялась на подушкѣ и обратилась лицомъ къ Глафирѣ.

— Виталія, — умоляюще повторила Глафира. — Ты спишь?

— Да, спала,—отвѣтилъ сухой горловой голосъ.—А ты что не спишь?

— Тяжко мнѣ! — простонала Глафира. — Тяжко.

— Молись.

— Не услышитъ Богъ. Грѣшна. Охъ, грѣшна.

— Кайся передъ Нимъ. Онъ любитъ кающихся. Тебѣ давно каяться надо было. Въ тинѣ смрадной погрязла. Въ грѣхахъ закорузла...

— Правда. Правда. Жизни не хватитъ грѣхи эти замолить, покаянія слезами очистить.

— Жаркія слезы горячѣй огня. Разбойника покаявшагося простилъ Богъ, и теперь, видно, часъ твой насталъ.

— Да, да, — торопливо подхватила Глафира, приподымаясь на постели и съ напряженіемъ глядя въ лицо странницы своими глубоко-впалыми, сухими глазами.— Иди, садись сюда. Я все тебѣ разскажу.

— Не мнѣ разсказывай.

— Кому-же?

— Знамо, не попу. У насъ въ писаніи сказано: Сами себя освящайте, сами себѣ священники бывайте. Благодать-то Божія взята на небо. Нѣтъ больше ни священства, ни освященія, и не будетъ его до конца міра, онъ-же не закоснитъ.

— Ахъ, разучилась я молиться и каяться! Разучилась.

Длинная, костлявая, бѣлая фигура поднялась съ своего ложа. При блѣдномъ свѣтѣ лампады она казалась призракомъ. Худое, вытянутое лицо съ острымъ подбородкомъ и мрачными неопредѣленнаго цвѣта глазами въ костлявыхъ орбитахъ было неподвижно и строго. Руки то подымались, то опускались, тонкія, какъ вѣтки. Она говорила своимъ сухимъ и жесткимъ голосомъ:

— Всѣ вы осквернились въ разныхъ великихъ ересяхъ антихристовыхъ. Писано бо есть: изыдите изъ среды сихъ нечестивыхъ человѣкъ. Не прикасайтеся имъ. Бойтесь змія, гонящагося за женою...

Глафира почти не понимала того, что говорила ей странница, но эти мало понятныя ей слова и голосъ

дѣйствовали на нее устрашающе, а слово «изыдите» запало ей въ душу, точно горячая искра.

— Но куда же итти-то? Куда? — спросила невнятно Глафира. — Развѣ уйдешь отъ себя-то куда-нибудь?

— Изъ міра изыди. Легче со дьяволомъ часто срѣтатися, нежели съ мірянами-искусителями. Преложнобо есть существо человѣческое, и удобо на зло прилагается посему. Въ безмолвіе гряди отъ суеты. Иже возлюбиша безмолвіе и вся добродѣтели исправиши всѣмъ сердцемъ, и Богъ ихъ возлюби и хранитъ ихъ, яко зеницу ока, и покры ихъ дланью незримою своею, иже достойне и праведне тому припадающихъ. Не того убо не похотѣвъ отцы наши, но паче желаютъ житія на небесѣхъ, ниже богатствъ тлѣнныхъ.

— Правда, правда, — отвѣтствовала Глафира, ловя каждое слово начетчицы, какъ жаждущая каплей дождя, падающаго съ неба. — Уйти, уйти отъ міра, отъ зла, отъ прелюбодѣянія...

— Проклята будь любодѣйница, еже кается, но не отлучается любодѣйства своего, иже въ мысляхъ обрѣтошеся. Вси-бо отъ мала и до стара въ любодѣяніи погрязли, оные дѣломъ, другіе мыслью, и всѣ уготовилися дьяволу въ пріятнѣйшую жертву. Мало прелюбодѣянія тайнаго, изобрѣли себѣ новую и отъ начала вѣковъ въ концѣхъ вся вселенныхъ неслыханную женитву. Тьфу!

Виталія даже плюнула при этомъ и раздраженно махнула рукой.

— Горе вамъ, еретицы, сопротивно мыслящe! — грозно и пророчески воскликнула Виталія, поднявъ правую руку надъ Глафирой. — Адъ вамъ уготованъ.

Глафира затрепетала. Ей показалось, что сейчасъ передъ нею развернется бездна и поглотитъ ее пылающимъ зѣвомъ своимъ геенна огненная.

— Близокъ судъ страшный. Близко торжество анти-

христово, — мрачно шипѣла Виталія и вдругъ нараспѣвъ заговорила уныло и тихо, такъ что у Глафиры мурашки забѣгали по тѣлу.

Деревянъ гробъ сосновый
Ради мене строенъ,
Въ немъ буду лежати,
Трубна гласа ждати.
Ангелы вострубятъ,
Изъ гробовъ возбудятъ.
Я, хоть и грѣшна,
Пойду къ Богу на судъ.
Къ суду двѣ дороги,
Широкія, долги:
Одна-то дорога
Во царство небесно,
Друга-то дорога
Во тьму кромѣшну.

— Что же мнѣ дѣлать? Что же дѣлать, чтобы спастись? — въ отчаяніи, ломая руки, снова простонала Глафира.

— Иди за мной, — коротко сказала Виталія. — Брось вси земныя сокровища, отщепись отъ суеты мірской и соблазна и иди въ безмолвіе, азъ же укажу тебѣ. Нѣсть бо счастія въ прелюбодѣяніи, нѣсть-бо услады въ богатствѣ.

Властный горящій взоръ странницы пронизывалъ ей сердце. Глафира поднялась съ постели и стала быстро набрасывать на себя платье.

— Иже возлюбиши безмолвіе и вси добродѣтели исправиши, всѣмъ сердцемъ и Богъ ихъ возлюби, — звучали въ ея ушахъ пророчества странницы.

Она полѣзла было въ шкатулку свою, чтобы взять оттуда деньги и драгоцѣнности, но Виталія остановила ее.

— Не надо. Сокровища земныя, яко камни на водѣ; отъ нихъ же гибель и искушеніе. Нищетой-бо и униженіемъ возвыси и очисти душу свою. Идемъ.

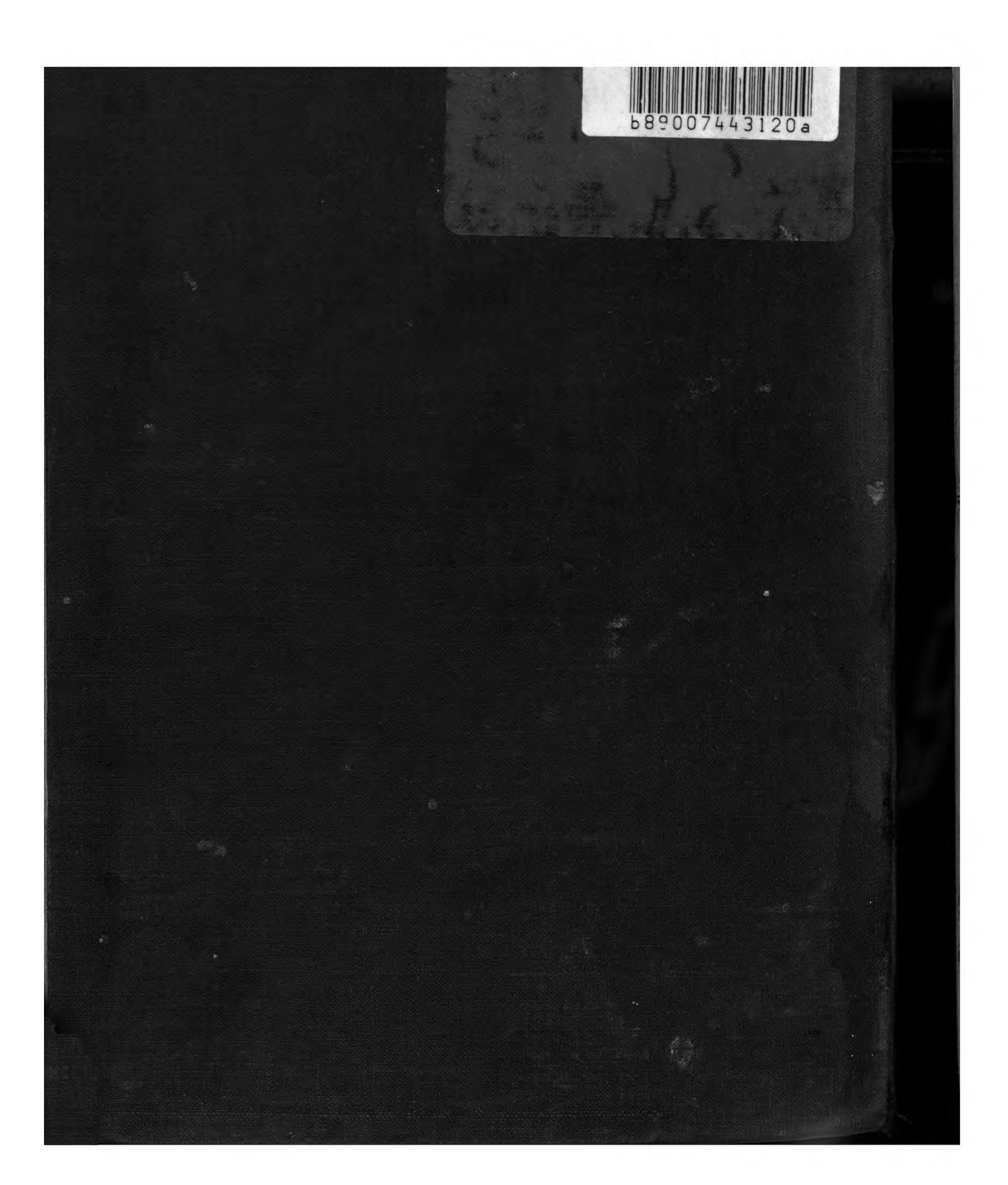
Разсвѣтало, когда двѣ женскія фигуры почти одного роста, бѣдно и просто одѣтыя, вышли изъ воротъ похвистневскаго дома, гдѣ творилось столько зла, гдѣ еще спалъ Мисаилъ, ничего подобнаго не подозрѣвая, ничего подобнаго не видя во снѣ.

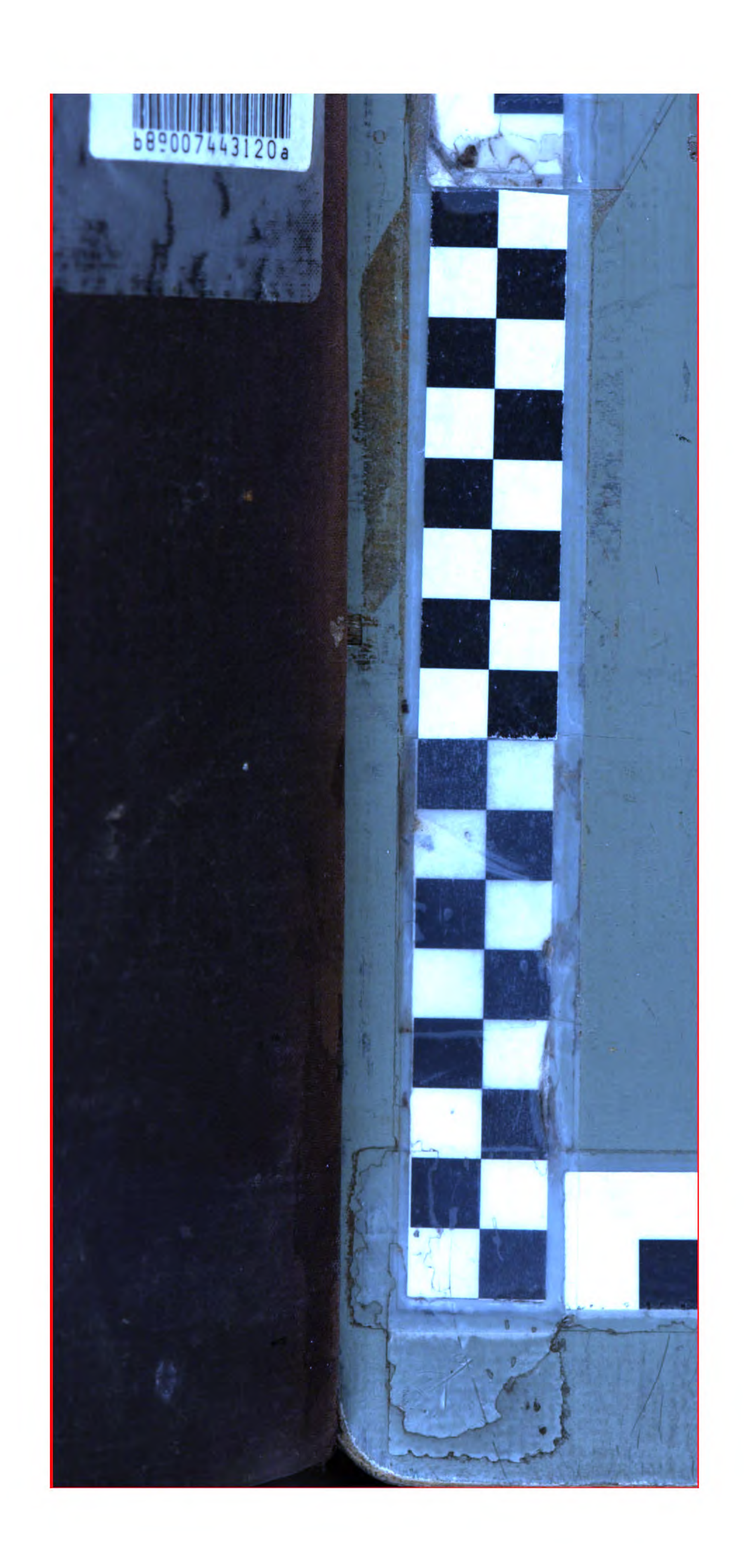
Ни одна изъ женщинъ даже не оглянулась на это гнѣздо ужаса и преступленія. Теплая весенняя заря обводила вдали своимъ факеломъ горизонтъ, и небо ожидало солнца, но крупная предразсвѣтная звѣзда дрожала еще на востокѣ, какъ слеза тихой и грустной ночи.

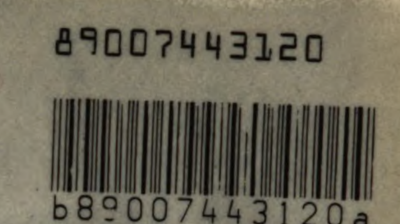
---






b89007443120a


b89007443120a


89007443120
b89007443120a